Цена 90 коп. Индекс 73293

МОСКОВСКИЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ДРУЖБА»

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ И ВЫСЫЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ (без предварительной оплаты) АЛЬБОМЫ ПО ИСКУССТВУ, ИЗДАННЫЕ В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА:

Балке Л., Ланге А. **Народная лужицкая одежда.** Баутцен, «Домовина», 1985. Ц. 4 р. 86 к.— В альбоме 170 цв. и черно-бел. фотографий, знакомящих с оригинальной народной одеждой немецко-лужицкой области в округе Котбус — Дрезден.

Вит Ствош. Варшава, «Аркады», 1985. Ц. 10 р. 80 к. Текст на пол. яз.— В альбоме из серии «Мир искусства» 9 цв. таблиц и 43 черно-бел. репродукции, знакомящих с творчеством польского художника (резьба по дереву) XV—XVI вв.

Биатова К. **Деревянный пантеон.** Братислава, «Татран», 1980. Ц. 6 р. 13 к. Текст на неск. яз., в т. ч. на рус. яз.— В альбоме 81 цв. и 10 черно-бел. репродукций памятников деревянного зодчества XIV—XV вв. в Словакии.

Кюрт Х. **Искусство модели.** Лейпциг, «Эдицион», 1981. Ц. 9 р. 66 к. Текст на нем. яз.— Альбом посвящен старинному искусству изготовления деревянных форм моделей, применяемых для производства изразцов, предметов прикладного искусства, детских игрушек. В альбоме 110 цв. и черно-бел. репродукций экспонатов из западноевропейских музеев.

Моде Х., **Субодх Чандра.** Народное искусство Индии. Лейпциг, «Эдицион», 1984. Ц. 23 р. 81 к. Текст на нем. яз.— В альбоме 396 цв. и черно-бел. репродукций, знакомящих с образцами искусства Индии от древних времен до настоящего времени.

Народная живопись на стекле в Румынии. Бухарест, «Меридиане», 1982. Ц. 3 р. 24 к. Текст на фр. яз.— Книга иллюстрирована цв. и черно-бел. репродукциями.

Пееш Р. **Орнамент в народном искусстве Европы.** Лейпциг, «Эдицион», 1984. Ц. 20 р. 47 к. Текст на нем. яз.— В альбоме 231 цв. и черно-бел. илл. экспонатов из различных музеев мира.

Ханджийский А. **Монастыри в пещерах.** София, «Септември», 1985. Ц. 2 р. 88 к. Текст на болг. яз.— В альбоме более 100 цв. и черно-бел. репродукций произведений архитектуры и средневековой стенной росписи.

Адрес магазина: 103784, Москва, ул. Горького, 15.

«Октябрь», 1988, № 3, 1—208.

Октябрь 3 1988

ISSN 0132-0637

Октябрь

3

1988



ОКТЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

3

1988

МАРТ

МОСКВА, ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Белла АХМАДУЛИНА

Два рассказа

Бабушка

Чаще всего она вспоминается мне большой неопределенностью, в которую мягко уходят голова и руки, густым облаком любви, сомкнувшимся надо мной, но не стесняющим моей свободы,— бабушка, еще с моего младенчества, как-то робко, восхищенно, не близко любила меня, даже ласкать словно не смела, а больше смотрела издалека огромными, до желтизны посветлевшими глазами, пугавшими страстным выражением доброты и безумия, навсегда полупротянув ко мне руки. Только теперь они успокоились в своей застенчивой, неутоленной алчности прикоснуться ко мне.

Я вообще в детстве не любила, чтобы меня трогали. Гневный, капризный стыд обжигал мою кожу, когда взрослые привлекали меня к себе или видели раздетой. Особенно жестоко стыдилась я родных — к немногим людям одной со мною крови, породившим меня, я навсегда сохранила неловкую, больную, кровавую корявость, мукой раздирающую организм. Даже Рома, собака моя, тесно породнившийся со мной за долгое время моей одинокой, страстной близости к нему, повторяющий мои повадки, очень известный мне, умеющий глянуть на меня взором бабушкиного прощения, подлежит в какой-то мере этой тяжелой сложности, мстящей за физическое единство.

К чужим у меня не было такой резкости ощущений, такой щепетильности тела. Однажды дурной, темный человек, попавший в дом, когда никого не было, кроме домработницы Кати, нечистой своею рукою попытался погладить мою детскую голову. Я брезгливо, высокомерно оттолкнула его. Но стыда во мне не было, даже когда вошла Катя и кокетливо улеглась животом на подоконник, открыв безобразные, закованные в синие штаны ноги.

Зато, когда мать захотела сняться в море со мной, восьмилетней и голой на руках, я бросилась бежать от нее, оступаясь на камнях гудаутского пляжа, и долго еще смотрела на нее восточным, исподлобным способом, которым очень хорошо владела в детстве.

Но бабушка, может быть, именно из-за безумия, кротко жившего в ней, своей влюбленной в меня слепотой чутко провидела кривизну моих причуд и никогда не гневила моего гордого и придирчивого детского целомудрия. Казалось, ей было достаточно принять в объятия воздух, вытесненный мной из пространства, еще сохраняющий мои, только для нее заметные, контуры.

Степень моего физического доверия к родным установилась обратно моей к ним причастности: бабушка, тетка моя Христина, потом мама.

В баню я ходила только с бабушкой, но и тогда я не испытывала непринужденности моющегося ребенка, снисходительно выставляющего под мочалку руку и ногу. Предубежденным глазом злого начальника, ищущего желанного изъяна, я сквозь боль мыла косилась на бабушку, на ее маленькое, жалкое тело с большой подрагивающей головой, на белую седину которой нанесена трудно смывающаяся пестрота,— она всегда пачкалась о Христинины краски, на нетвердые беленькие ноги. И, злорадно заметив ее бедно поникший живот с уголком козье-седых слабых волос, в каком-то злобном отчаянье толкала его серым острием шайки.

По двум старым, чудом уцелевшим фотографиям можно судить, что бабушка была очень высокая — много выше мужчины в нарядных праздничных усах, запечатленного рядом с ней, сильно и угрюмо стройная, с мощно-свободной теменью итальянских волос, с безмерными глазами, паническая об-

ширность которых занесена в недоброе предвидение какого-то тщетного и гибельного подвига. В крупном смуглом лице — очевидная сокрытость тайны. В наклоне фигуры, подавшейся вперед, ощущается привольное неудобство, как если бы она стояла на высоком и узком карнизе.

У нее было четыре мужа, трое детей — девочка Елена умерла в младенчестве — и одна внучка. Может быть, из-за этой все упрощающей единственности моей бабушка, холодком осенившая мужей, неточно делившая любовь между дочерьми, с болью и скрипом резкого торможения свою летящую, рассеянную, любвеобильную душу остановила на мне. Ее разум, тесный для страстного неразумия, которым она захворала когда-то, мятущийся, суматошный, не прекративший своего ищущего бега даже перед преградой лечения, неопределенно тоскующий о препятствиях, замер наконец и угомонился под спасительным шоком моего появления на свет. Бабушкины разнонаправленные нервы, легко колеблемые жалостью, любопытством, вспыльчивостью переживаний, влюбчивостью во все,— конически, конечно, сосредоточились на мне, и это не было моей заслугой,— бабушка заранее, за глаза, неистово, горько и благоговейно полюбила меня 10 апреля 1937 года.

В детстве я знала, что бабушка родилась давно, в Казанской губернии. Ее девичью фамилию внес в Россию ее дед, шарманщик и итальянец. Я думаю теперь: что привело его именно в эту страну мучиться, мерзнуть, уморить обезьяну, южной мрачностью дикого взора растлить невзрачную барышню, случайно родить сына Митрофана — и все там, близко к Казани, где его чужой, немыслимый брат по скудному небу, желтый и раскосый, уже хлопотал, трудясь и похохатывая, уже вызывал к жизни сына Ахмадуллу, моего прадеда по отцовской линии. Какой долгий взаимный подкоп вели они сквозь непроглядную судьбу, чтобы столкнуться на мне, сколько жертв было при этом. Отец бабушки был доктор, в Крымскую кампанию врачевавший раненых, мать смелым и терпеливым усилием практичного и тщеславного ума обрела дворянство и некоторое состояние. У них, сколько я помню по моим детским слушаниям, было шестеро детей обоего пола поровну. Старшие сыновья, своевольные и дерзкие, дырявили из рогаток портреты не очень почтенных предков, привязывали бабушку за ногу к столу и учились в кадетском корпусе. Что с ними, бедными, любимыми мной, плохими, дальше случилось в этом мире, я не знаю. Младший, несколько флегматичный и очень честный и добрый, стал известным революционером. Бабушка только с ним, до его смерти, держалась в родстве, восхищалась им, и мне казалось, что в ней навсегда задержалась нежная благодарность к нему за то, что он не привязывал ее за ногу. Мне и от других людей доводилось слышать, что он всегда был честен и добр, но его точной яркости я не усвоила. Старшие сестры бабушки Наталия и Мария Митрофановны были красавицы, певшие прекрасно, сильно итальянского облика и нрава, надолго заключенные в девичество корыстью матери и вступившие обе в трагический брак. Они жили какими-то порывами несчастий и умерли в сиротстве, украшенном глубоким психическим недугом. Моя мать помнит одну из них, еще прекрасную, но уже казненную болезнью, жадной судорогой тонких рук собирающую, выпрашивающую, ворующую разные ничтожные вещицы. Видимо, тяжело оскорбленная в своей красоте и бескорыстии павшей на нее тенью великих светил: Жизни, Любви, Надежды,— она доверяла только маленьким и безобидным солнышкам мира: жестяным баночкам, стекляшкам, конфетному серебру, осколкам зеркал, утешаясь их кротким, детским блеском. У бабушки, хотя болезнь давно оставила ее, тоже сохранилась страсть к пустяковым предметам, но она строго выбирала из них только те, которые казались ей отмеченными милостью моего следа: мои коробки, обертки моих конфет, обрывки моих рисунков, благодарности и письма печатными буквами многим животным моего детства. Все это и посейчас цело или исчезло вместе с ней, копившей их так скаредно и любовно...

Бабушка была младшим, некрасивым и нелюбимым ребенком в семье. Вероятно, мать ее к тому времени уже устала бороться, терпеть тяжелое хозяйство, принимать в себя острую, ранящую ее тело итальянскую кровь и разводить ее своей негустой российско-мещанской кровью, чтобы смягчить черноглазие и безумие будущих детей, которые все разочаровывали и охладили ее своими неудачами. Я думаю, что ей властным и равноправным участием скудного организма кое-как удалось полуспасти, полуисправить судьбы всех ее потомков: благодаря ее трезвому здоровью безумие в нашей семье

всегда было неокончательным, уравновешенным живой скудостью быта, страшная чернота зрачков подкрашена ленивой желтизной, неимоверному, гибельному запросу глаз отвечают бесплодность и скука существования. Но я все же надеюсь — может быть! — свежее азиатство отца, насильным подарком внесенное в путаницу кровей, освободит меня от ее опрометчиво-осторожного полуколдовства, даст мне жить и умереть за пределами тусклости, отвоеванной ею у трагедии!

Будучи маленькой гимназисткой, бабушка всей страстью сиротливой замкнутости полюбила старшую воспитанницу, которая оказывала ей снисходительное покровительство, звала «протежешкой» и потом осмеяла во всеуслышание бабушкины детские дневники, доверенные ей порывом признательности. Подобные истории случаются со всеми детьми, но бабушке никогда не удавалось вырасти из тихой, почти юродивой безобидности, непременно вызывающей злые проявления старших и сильных характеров. Уже в конце бабушкиной жизни чем фантастичнее, карикатурнее становились ее доброта и кротость, тем яростнее они гневили и смешили соседей и прохожих, передразнивавших ее сбивчиво-возвышенную речь, брезгующих разведенным ею зверинцем, презирающих даже ее бескорыстие к еде, которую бабушка пробовала укрощать на кухне, но всегда выходила побежденной из неравной схватки с кастрюлей или сковородкой.

В какое-то время юности бабушка была в гувернантках в семье Залесских, людей богатых, веселых, забывавших ее обижать. И только младшая их дочь Зинаида немного терзала бабушку резкостью нрава и неожиданностями рано и дерзко созревшего организма. Бабушка однажды вспомнила об этом, но почему-то и мне запомнилась их фамилия, беззаботный дом и большой сад, с горы впадающий в реку, и то, как они на лодках отправились на пикник, не взяв с собой бабушку и Зинаиду, и Зинаида, стоя на ветру горы, кричала им вслед: «Я, Зинаида Залесская, пятнадцати лет, желаю кататься на лодке!»; а когда, не вняв ей, они скрывались из виду, воскликнула с веселым высокомерием, дернув крючки, соединяющие батист: «Дураки! Смотрите! У меня грудь и все остальное взрослее и лучше, чем у мадемуазель Надин!» Бабушка отчетливо помнила и любила все, что противостояло ее скромной тишине, видимо, тоскуя по бурности, которую велел ей шальной юг шарманщика и возбраняла жесткая умеренность матери. А я не забыла этого пустяка потому, что он жил там, где я хотела бы жить: в том доме, в том саду, в той единственной стране, осенившей меня глубоким ностальгическим переживанием, которую я любимой литературой не узнаю, а будто вспоминаю — как древнюю до-жизнь в колыбели, откуда меня похитили кочевники.

Под влиянием доброго брата, поддерживающего ее в семейной одинокой угнетенности, бабушка резко рассталась с семьей и уехала в Казань на фельдшерские курсы. (Я перечисляю, сколько помню, ее жизнь не потому, что ее события представляются мне эффектными и замечательными, а скорее из уважения к ореолу многозначительной жалкости, бледно взошедшему над всеми нами, над скудной полутьмой наших драм, а также пробуя объяснить, чем образ бабушки, лишенный яркого острия, остро и больно поразил мое зрение и не раз мягко одернул меня в самонадеянности или начале бесполезного зла.) Она увлеклась идеями свободы и равенства, участвовала в сходках и маевках, хранила за корсетом прокламации и возглавляла недолгий революционный кружок. Две товарки по этому кружку более полувека спустя отыскали и проведали бабушку в ее узкой, длинной, холодной комнате, имеющей в виду закалить человека перед неудобствами кладбища. Чопорные, черно-нарядные, вечно живые старухи с брезгливым ужасом переступили порог бабушкиного беспорядка, подхватив юбки над опасным болотом пола, населенного нечистью наших зверей. Рассерженные глубиной ее падения, словно и на них бросавшего обидную тень, они строго и наставительно говорили с бабушкой, грозно убеждали ее добиться увеличения пенсии, сияя лакированными револьверами черных ботинок. Она безбоязненно летала вокруг них на нечистых бумазейных крыльях, умиленно лепеча и не слушая, всему поддакивая непрочным движением головы, совала им белый чай, конфеты, слипшиеся в соты, ливерную колбасу, предназначенную коту, тут же отнимала все это, освобождая их руки для моих детских рисунков и стихов. И в довершение всего сначала объявила — чтобы подготовить их к счастливому потрясению, а затем уже привела маленькую и угрюмую меня как лукаво скрытый от них до времени, но все объяснивший наконец довод ее ослепительного

и чрезмерного благополучия. Они холодно и без восхищения уставились на мой бодающе-насупленный лоб и одновременно пустили в меня острые стрелы ладоней. Это, видимо, несколько повредило им в глазах бабушки, потому что вдруг она глянула на них утемнившейся желтизной зрачков с ясным и веселым многознанием высокого превосходства. Мы вышли провожать их на лестницу, и бабушка снова радостно лепетала и ветхо склонялась им вслед, туманно паря над двумя черными и прямыми фигурами, сложенными в зонты.

Молодую бабушку то и дело сажали в тюрьму: по чьим-то оговоркам и оговорам, по неспособности охранить себя от расплохов слежки и обысков, по склонности, радостно и отвлеченно увеличив глаза, принять на себя всеобщую вину революционных проступков. Жандармы упорно и лениво, как спички у ребенка, постоянно отбирали у бабушки саквояжи с двойным дном и привычным жестом — пардон, мадемуазель,— извлекали папиросную бумагу, адресованную пролетариям всех стран, из горячей тесноты ворота.

Последним, некрасивым и нелюбимым ребенком родилась и росла бабушка и в этой же неказистой, несмелой осанке прожила долгую жизнь. Детский страх перед собственной нежеланностью и обременительностью и в старости сообщал ее облику неуверенное, виноватое, стыдливое выражение.

Более всего и ужасно, до своевольного хода подрагивающих головы и рук, бабушка суетливо боялась принять на себя даже мельк чьего-нибудь внимания, худобой своей, округленной в спине, загромоздить пространство, нужное для движения других людей. Старея, бабушка становилась все меньше и меньше, словно умышленно приближала себя к заветной и идеальной малости, уж никому не нужной и не мешающей, которую обрела теперь, нищей горсточкой пыли уместившись в крошечный и безобразный уют последнего прибежища.

Несмотря на грозные скандалы моей матери, бабушка настойчиво и тайком почти ничего не ела, словно стыдясь обделить вечно открытый, требующий, ненасытный рот какого-то неведомого птенца, и, чтобы задобрить алчность чьего-то чужого голода, угнетающего ее, она подкармливала худых железных котов, со свистом проносящихся над мрачной помойкой нашего двора, и прожорливую птичью толчею на подоконнике.

К маминому неудовольствию и стыду перед соседями, бабушка одевалась в неизменный гномий неряшливый бумазейный балахон, в зимнее время усиленный дополнительной ветошью, и спала на застиранной, свято и смело оберегаемой серенькой тряпице — восемьдесят лет искупая вину изношенных в детстве пеленок и рубашек, угрюмо пересчитанных ее матерью, страстно боявшейся смерти своего добра, в муках порожденного ею.

Ее суровая, непреклонная мать все чаще покидала гаснущее имение на произвол пьяных и сумасшедших людей, чей хоровод жутко смыкался вокруг подвига ее здравомыслия, и падала ниц, смущая немилосердные начальственные ноги, чтобы прижать к груди большую голову нелюбимого ребенка.

Бабушка вступила в фиктивный брак с молодым революционером, нужный ему для разрешения на выезд, и навсегда сохранила фамилию, дарованную ей этим бедным условным венчанием. Бабушка увезла его за границу, но Швейцария только усугубила его болезнь, выбирающую легкие исступленных людей; им надлежало срочно вернуться, но здесь имела место смутная, нечистая история с растратой денег, нужных для этого, какими-то товарищами, на счастливые десятилетия пережившими жертву своей неаккуратности,— бабушка никогда не говорила об этом. Наконец они попали на юг России как неблагонадежные люди, по случаю проезда царя были на три дня заключены в тюрьму, где иссякла не знавшая удержу кровь первого бабушкиного мужа.

Это было в самом начале века, еще до революции пятого года, и с этого времени, во всяком случае, по моим детским представлениям, начался несердцебиенный, полусонный провал бабушкиной жизни. Но, вероятно, я недооценивала его горестной остр ч: бабушка в Нижнем Новгороде родила Христину, была окончательно отвергнута семьей и, оставшись без средств, отправилась в Донбасс на эпидемию холеры. Там она долгое время работала и жила во флигеле на больничном дворе, подвергая постоянной опасности старшую дочь и спустя несколько лет родившуюся маму (мама болела в лад со всеми, кто болел под бабушкиным присмотром). Четвертый муж бабушки, тот, украшенный усами, тяжело любил ее, теряя достоинство скромного мещанина, удочерил ее детей и был им добрым отцом, пока и его не скрыл туман, завершавший все линии бабушкиной судьбы. Бабушка по мере сил воспитывала

дочерей, учила их рисованию, языкам и музыке, к которым они обе не были расположены. Христина так и не научилась ничему, даже живописи, которую она всю жизнь любила так безответно, а мама, усилием маленького поврежденного болезнями тела,— всему. Но только Христина умеет любить, жалеть и прощать. Разумеется, и жизнь на скучном, нищем руднике не обошлась без неизлечимо-буйной женщины, вырывавшейся подчас на гадкий простор больничного двора: нагая, в нечистом вихре великих волос являлась она на пыльное солнце мгновенной свободы, чтобы диким криком «Изыди, сатана!» огласить детство мамы и тетки, даже меня напугать воспроизведением страшного ыканья этой мольбы, предупреждающего о мучительном и непосильном гнете: «Изы-ы-ди!..»

То, что бабушка была «милосердной сестрой» — «чьей» — «всех, кому нужно»,— в раннем детстве было понято и использовано мной. К ней, к ее сестринскому милосердию, тащила я многочисленных слабых уродцев, отвергнутых моей мамой: белого щенка с огромным розовым животом, слепую морскую свинку, кролика с перебитыми ногами, кошек, бескрылых птиц и других убогих животных, чьи мелкие тела оказались огромно-лишними в избытке мира и униженно существовали вне породы. Бабушка всех их принимала в свое темное гнездо, равно воздавая им почести, заслуженные рождением. От нее, ныне мертвой, научилась я с нежным уважением выговаривать удивленно и нараспев: «Ж и в о е...» — стало быть, хрупкое, беззащитное, нуждающееся в помощи и сострадании. Однажды, когда тиканье малых пульсов, населивших ее комнату, грозило перерасти в сокрушительный гул, я купила и принесла домой только что вылупившегося инкубаторного цыпленка, и мама, не допустив меня к бабушке, будто навсегда захлопнула передо мной дверь в той непобедимой строгости, которая подчас овладевала ею и с которой ничего нельзя было поделать. Поникнув плачущей головой, я медленно спустилась по лестнице и уселась на пол за дверью, охраняя ладонью крошечную желтизну, осужденную и проклятую великим миром. Я слышала, как мимо прошел наверх отец, другие матери звали других детей, и мне страшно представилось, что я буду сидеть здесь всегда, заключенная в тюрьму между стеной и дверью. Двадцать лет спустя я помню, что мне пришла сложная, горячая мысль убить маленькое вздыхающее горло, и я примерила круг двух пальцев к узкому ручейку крови и воздуха, беззащитно текущему сквозь него. Но пальцы мои не сомкнулись — раз и навсегда, я радостно, свежо заплакала над своим и всеобщим спасением, и в благодарность бога мне надо мной тут же склонилась отыскавшая меня бабушка и немедленно вознесла меня и цыпленка в спасительный рай своей любви, пахнущий увядшим тряпьем и животными.

Мы все очень боялись крыс после того, как, вернувшись из эвакуации, долго выпрашивали у них возможность жить в своем доме, по ночам чувствуя на себе острый двухогоньковый взор, не предвещающий добра, но и их нам с бабушкой повелось простить. Военный, охраняющий соседнее учреждение, смеясь испугу детворы, вышвырнул носком сапога большую, рыжую, в кровь полуубитую крысу. Оставшись наедине с ней на мостовой переулка, исподлобья оглянувшись на веселого военного, я торжественно пересилила содрогание тела, близко нагнулась и взяла ее в руки. Крыса ярко глядела на меня могучим взглядом ненависти, достойным красивого сильного животного, как будто именно отвращение ко мне было причиной ее смерти. Я повлекла ее все в том же единственном направлении, где моя свобода была безгранична, и, наверно, моя чистая жалость к живому укреплялась злорадным измывательством над собой и — в отношении бабушки — некоторой ядовитостью, желавшей подразнить и испытать ее вседоброту. Но бабушка, не знавшая такой сложности, без гнева и удивления увидела меня с умирающей крысой в руках, осенив нас ясным, односмысленным вздохом сострадания.

Еще и теперь плывет, доплывает бедный бабушкин ковчег, уже покинутый ею, не управляемый рассеянной старенькой Христиной, спасающей бледного, розового кота Петю и целое племя некрупных лепечущих голубей.

Бабушка не то что была щедра — просто организм ее, легкий, простой, усеченный недугом странности, уместил в своем ущербном полумесяце только главное: любовь и добро, не усвоив вторых инстинктов — осторожности, бережливости, зависти или злобы.

Она суеверно тяготилась всяким довольством, даже нищую пенсию вкладывала для меня и для Христины в толстую книгу о детских болезнях, лежавшую на виду,— как помнится мне эта книга, привыкшая открываться на од-

ной странице, изображающей больного, засохшего ребенка с упавшей головой и нескрытым обилием ребер и костей, не сумевших помочь его прочности. Там-то и хранилось бабушкино богатство, словно принесенное в жертву маленькому нездоровому богу, достойному всей жалости мира. (Ключа у бабушки и подавно не было, и однажды кто-то насмешливо ограбил этого хилого заветного младенца.)

Как-то летом на все свои праздничные деньги я приобрела дюжину серебряных елочных слонов — меня почему-то до беспокойного, сводящего с ума ощущения щекотки поражало большое количество одинаковых предметов. Порицаемая и осмеянная всеми, я с одиноким ревом уткнулась в бабушку, и она, подыгрывая то ли моему детскому безумию, то ли безумию старших сестер, восхищенно воззрилась на тупое, дикое слоновье серебро, сбивчиво прославляя мою удачу. Мы купили еще восемь слонов, обеднив рахитичного бога,— у меня засвистело, засверкало в мозгу,— и, захлебываясь смехом, стали всех их раздавать или тихонько подсовывать детям в Ильинском сквере, почти никто не брал, и бабушка испуганно улепетывала вместе со мной, шаркая обширной рванью обуви.

И, вероятно, не моя доброта велит мне спьяну или всерьез освобождаться от легкой тяжести имущества, а веселая бабушкина лень утруждать себя владением.

Бабушка до предпоследнего времени много и живо читала, просто и точно различая плохие и хорошие книги слабым, помноженным на стекла зрачком, много раз изменившимся в цвете, уже поголубленным катарактой. Она не умом рассуждала чтение или слушание, а все той же ограниченностью в добре, не знающей грамоты зла. Вообще она ведала и воспринимала только живые, означающие слова, чья достоверность известна ощупи, всякое пустое, отвлеченное многословие обтекало ее, как чужая речь. Когда с маминой работы явилась комиссия проверять и осуждать мое воспитание, бабушка долго, почтительно, натужно подвергала ухо красноречию, трудному для нее, как не-музыка, и вдруг, поняв телом реальный смысл моего имени, мигом разобралась во всем и, страшно тряся головой, возобновив болезнь голоса, крикнула: «Вон!»

Бабушка восхищалась мной непрестанно, но редким моим удачам удивлялась менее других — уж она-то предусмотрела и преувеличила их заранее. Что бы ни сталось со мной, уж никому я не покажусь столь прекрасной и посильной для зрения, только если притупить его быстрым обмороком любви, влажно затемняющим веки.

Последний раз, после долгого перерыва, я увидела бабушку уже больную предсмертием, поровну поделившим ее тело между жизнью и смертью, победившим наконец все ее привычки: чистая, на чистом белье, с чистой маленькой успокоенной головой лежала бабушка и с ложечки ела протертые фрукты, о которых прежде думала, что они для меня лишь полезны и съедобны.

— Подожди,— прошептала Христина, заслоняя меня собой,— я сначала предупрежу ее.

Но она долго не могла решиться, боясь, что имя мое, всегда потрясавшее бабушку, теперь причинит ей вред.

— Мама,— осторожно и ласково сказала Христина,— только ты не волнуйся... к тебе Беллочка пришла...

— А,— равнодушно отозвалась бабушка половиной губ и голоса.

И вдруг я узнала свой худший, невыносимый страх, что Христина сейчас отойдет, и я увижу, и у меня уже не будет той моей бабушки, которая не позволит мне увидеть эту мою бабушку, как никогда не позволяла ничего, что может быть болью и страхом.

Все же я присела на край ее чистой постели и слепым лицом поцеловала ее новый чистый запах.

— Скоро умру,— капризно и как будто даже кокетливо сказала бабушка, но мне все уже было безразлично в первой, совершенной полноте беды, каменно утяжелившей сознание.

На мгновенье живая сторона бабушкиного тела, где сильно, предельно умирало ее сердце, слабо встрепенулась, сознательно прильнула ко мне неполной теплотой, и один огромный, бессмертно любовный глаз вернулся ко мне из глубины отсутствия.

— Иди, я устала,— словно со скукой выговорила бабушка и добавила: —

Убери,— имея в виду тоскующего, потускневшего Петьку, жавшегося к ней. Видимо, все, что она так долго любила и жалела, теперь было утомительным для нее, или, наоборот, она еще не утомилась любить и жалеть нас и потому отстраняла от себя сейчас.

Много собак и Собака

...Смеркалось на Диоскурийском побережье...— вот что сразу увидел, о чем подумал и что сказал слабоумный и немой Шелапутов, ослепший от сильного холодного солнца, айсбергом вплывшего в южные сады. Он вышел из долгих потемок чужой комнаты, снятой им на неопределенное время, в мимолетную вечную ослепительность и так стоял на пороге между тем и этим, затаившись в убежище собственной темноты, владел мгновением, длил миг по своему усмотрению: не смотрел и не мигал беспорядочно, а смотрел, не мигая, в близкую преграду сомкнутых век, далеко протянув разъятые ладони. Ему впервые удалась общая бестрепетная недвижимость закрытых глаз и простертых рук. Уж не исцелился ли он в диоскурийском блаженстве? Он внимательно ранил тупые подушечки (или как их?..) всех пальцев, в детстве не прозревшие к черно-белому Гедике, огромным ледяным белым светом, марая его невидимые острия очевидными капельками крови, проницательной ощупью узнавая каждую из семи разноцветных струн: толстая фиолетовая басом бубнила под большим пальцем, не причиняя боли. Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан. Отнюдь нет—не каждый. Шелапутов выпустил спектр из взволнованной пятерни, открыл глаза и увидел то, что предвидел. Было люто светло и холодно. Безмерное солнце, не умещаясь в бесконечном небе и бескрайнем море, для большей выгоды блеска не гнушалось никакой отражающей поверхностью, даже бледной кожей Шелапутова, не замедлившей ощетиниться убогими воинственными мурашками, единственно защищающими человека от всемирных бедствий.

Смеркалось на Диоскурийском побережье — не к серым насморочным сумеркам меркнущего дня — к суровому мраку, к смерти цветов и плодов, к сиротству сирых — к зиме. Во всех прибрежных садах одновременно повернулись черные головы садоводов, обративших лица в сторону гор: там в эту ночь выпал снег.

Комната, одолженная Шелапутовым у расточительной судьбы, одинокая в задней части дома, имела независимый вход: гористую ржаво-каменную лестницу, с вершины которой он сейчас озирал изменившуюся окрестность. С развязным преувеличением постоялец мог считать своими отдельную часть сада, заляпанного приторными дребезгами хурмы, калитку, ведущую в море, ну, и море, чья вчерашняя рассеянная бесплотная лазурь к утру затвердела в непреклонную мускулистую материю. Шелапутову надо было спускаться: в предгорьях лестницы, уловив возлюбленное веяние, мощную лакомую волну воздуха, посланную человеком, заюлила, затявкала, заблеяла Ингурка.

Но кто Шелапутов? Кто Ингурка?

Шелапутов — неизвестно кто. Да и Шелапутов ли он? Где он теперь и был ли на самом деле?

Ингурка же была, а может быть, и есть лукавая подобострастная собака, в детстве объявленная немецкой овчаркой и приобретенная год назад за бутыль (из-под виски) бешеной сливовой жижи. Щенка нарекли Ингуром и посадили на цепь, дабы взлелеять свирепость, спасительную для сокровищ дома и плодоносящего сада. Ингур скромно рос, женственно вилял голодными бедрами, угодливо припадал на передние лапы и постепенно утвердился в нынешнем имени, поле и облике: нечеткая помесь пригожей козы и неказистого волка. Цепь же вопросительно лежала на земле, вцепившись в отсутствие пленника. На исходе этой осени к Ингурке впервые пришла темная сильная пора, щекотно зудящая в подхвостье, но и возвышающая душу для неведомого порыва и помысла. В связи с этим за оградой сада, не защищенной сторожевым псом и опутанной колючей проволокой, теснилась разномастная, разноликая толпа кобелей: нищие горемыки, не все дотянувшие до чина дворняги за неимением двора, но все с искаженными чертами славных собачьих пород, опустившиеся призраки предков, некогда населявших Диоскурию. Один был

меньше других потрепан жизнью: ярко-оранжевый заливистый юнец, безукоризненный Шарик, круглый от шерсти, как шпиц, но цвета закатной меди.

Несмотря на сложные личные обстоятельства, Ингурка, по своему обыкновению, упала в незамедлительный обморок любви к человеку, иногда — деловой и фальшивый. Шелапутов, несомненно, был искренне любим, с одним изъяном в комфорте нежного чувства; он не умещался в изворотливом воображении, воспитанном цепью, голодом, окриками и оплеухами. Он склонился над распростертым изнывающим животом, усмехаясь неизбежной связи между почесыванием собачьей подмышки и подергиванием задней ноги. Эту скромную закономерность и все Ингуркины превращения с легкостью понимал Шелапутов, сам претерпевший подобные перемены, впавший в обратность тому, чего от него ждали и хотели люди и чем он даже был еще недавно. Но поврежденным умом, ныне различавшим лишь заглавные смыслы, он не мог проследить мерцающего пунктира между образом Ингурки, прижившимся в его сознании, и профилем Гете над водами Рейна. Он бы еще больше запутался, если бы умел вспомнить историю, когда-то занимавшую его, о внучатой племяннице великого немца, учившейся возить нечистоты вблизи северных лесов и болот, вдали от Веймара, но под пристальным приглядом чистопородной немецкой овчарки. То-то было смеху, когда маленькая старая дама в неуместных и трудно достижимых буклях навострилась прибавлять к обращению «Пфердхен, пфердхен» необходимое понукание, непонятное ей, но заметно ободряющее лошадь. Уже не зная этой зауми, Шелапутов двинулся в обход дома, переступая через слякоть разбившихся о землю плодов. Ингурка опасалась лишний раз выходить из закулисья угодий на парадный просцениум и осталась нюхать траву, не глядя на обожателей, повисших на колючках забора.

Опасался бы и Шелапутов, будь он в здравом уме.

Безбоязненно появившись из-за угла, Шелапутов оценил прелесть открывшейся картины. Миловидная хозяйка пансиона мадам Одетта, сияя при утреннем солнце, трагически озирала розы, смертельно раненные непредвиденным морозом. Маленькая нежная музыка задребезжала и прослезилась в спящей памяти Шелапутова, теперь пребывавшей с ним в двоюродной близости, сопутствующей ему сторонним облачком, прозрачной вольнолюбивой сферой, ускользающей от прикосновения. Это была тоска по чему-то кровно родимому, по незапамятному праотечеству души, откуда ее похитили злые кочевники. Женщина, освещенная солнцем, алое варенье в хрустале на белой скатерти, розы и морозы, обреченные друг другу божественной шуткой и вот теперь совпавшие в роковом свадебном союзе... Где это, когда, с кем было? Была же и у Шелапутова какая-то родина — роднее речи, ранящей рот, и важности собственной жизни? Но почему так далеко, так давно?

Некоторое время назад приезжий Шелапутов явился к мадам Одетте с рекомендательным письмом, объясняющим, что податель сего, прежде имевший имя, ум, память, слух, дар чудной речи, временно утратил все это и нуждается в отдыхе и покое. О деньгах же не следует беспокоиться, поскольку в них без убытка воплотилось все, прежде крайне необходимое, а теперь даже неизвестное Шелапутову.

Он действительно понес эти потери, включая не перечисленное в их списке обоняние. В тот день и час своей высшей радости и непринужденности он шел сквозь пространный многолюдный зал, принятый им за необитаемую Долину Смерти, если идти не в сторону благодатного океана, а иметь в виду расшибить лоб и тело о неодолимый Большой Каньон. Прямо перед ним, на горизонте, глыбилось возвышение, где за обычным длинным столом двенадцать раз подряд сидел один и тот же человек, не имевший никаких, пусть даже невзрачных, черт лица: просто открытое пустое лицо без штрихов и подробностей. Слаженным дюжинным хором громко вещающего чрева он говорил что-то, что ясно и с отвращением слышал Шелапутов, взятый на предостерегающий прицел его двенадцати указательных пальцев. Он шел все выше и выше, и маленький бледный дирижер, стоящий на яркой заоблачной звезде головой вниз, к земле и Шелапутову, ободрял его указующей палочкой, диктовал и молил, посылал весть, что нужно снести этот протяжный миг и потом уже предаться музыке. Шелапутов вознесся на деревянное подобие парижского уличного писсуара, увидел свет небосвода и одновременно графин и недопитый стакан воды, где кишели и плодились рослые хищные организмы. Маленький дирижер еще тянул к нему руки, когда Шелапутов, вернее, тот

человек, которым был тогда Шелапутов, упал навзничь и потерял все, чем ведал в его затылке крошечный всемогущий пульт. Его несбывшаяся речь, хотя и произвела плохое впечатление, была прощена ему как понятное и добродетельное волнение. Никто, включая самого оратора, никогда не узнал и не узнает, что же он так хотел и так должен был сказать.

И вот теперь, не ощущая и не умея вообразить предсмертного запаха роз, он смотрел на мадам Одетту и радовался, что она содеяна из чего-то голубовато-румяного, хрупкого и пухлого вместе (из фарфора, что ли? — он забыл, как называется), оснащена белокурыми волосами и туманными глазами, склонными расплываться влагой, посвященной жалости или искусству, но не отвлекающей трезвый зрачок от сурового безошибочного счета. Что ж, ведь она была вдова, хоть и опершаяся стыдливо на прочную руку Пыркина, но не принявшая вполне этой ищущей руки и чужой низкородной фамилии. Ее муж, скромный подвижник французской словесности, как ни скрывал этого извращенного пристрастия, вынужден был отступать под всевидящим неодобрительным прищуром — в тень, в глушь, в глубь злоключений. Когда он остановился, за его спиной было море, между грудью и спиной — гнилостное полыхание легких, а перед ним — магнолия в цвету и Пыркин в расцвете сил, лично приезжавший проверять документы, чтобы любоваться страхом мадам Одетты, плачущим туманом ее расплывчатых глаз и меткими твердыми зрачками. Деваться было некуда, и он пятился в море, впадающее в мироздание, холодея и сгорая во славу Франции, о чем не узнал ни один соотечественник Орлеанской девы (инкогнито Шелапутова родом из других мест). Он умер в бедности в хижине на пустыре, превращенных умом и трудом вдовы в благоденствие, дом и сад. «Это все — его»,— говорила мадам Одетта, слабым коротким жестом соединяя портрет эссеиста и его посмертные владения, влажнея глазами и сосредоточив зрачки на сохранности растения фейхоа, притягательного для прохожих сластен. При этом Пыркин посылал казнящий каблук в мениск ближайшего древесного ствола, или в безгрешный пах олеандрового куста, или в Ингурку, забывшую обычную предусмотрительность ради неясной мечты и тревоги. Но как женщине обойтись без Пыркина? Это всегда трудно и вовсе невозможно при условии неблагополучного прошлого, живучей красоты и общей системы хозяйства, не предусматривающей процветания частного пансиона с табль-д-отом. Да и в безукоризненном Пыркине, честно и даже с некоторой роскошью рвения исполнявшем свой долг вплоть до отставки и пенсии, были трогательные изъяны и слабости. Например: смелый и равнодушный к неизбежному небытию всех каких-то остальных, перенасытившему землю и воздух, он боялся умереть во сне и, если неосторожно слабел и засыпал, кричал так, что даже невменяемый Шелапутов слышал и усмехался. Кроме того, он по-детски играл с непослушанием вещей. Если складной стул, притомившись или распоясавшись, разъезжался в двойной неполный «шпагат», Пыркин, меняясь в лице к худшему, орал: «Встать!» — стул вставал, а Пыркин усаживался читать утреннюю почту. По возрасту и общей ненадобности отстраненный от недовершенных дел, Пыркин иногда забывался и с криком: «Молчать!» — рвал онемевшую от изумления неоспоримую газету в клочки, которые, опомнившись, надменно воссоединялись. Но обычно они не пререкались и не дрались, и Пыркин прощался с чтением опять-таки непозволительно фривольно, но милостиво: Одобряю. Исполняйте». Затем Пыркин вставал, а отпущенный стул вольно садился на расхлябанные ноги. И была у него тайна, ради которой, помрачнев и замкнувшись, он раз в декаду выезжал в близлежащий городок, где имел суверенную жилплощадь,— мадам Одетта потупляла влажную голубизну, но зрачок сухо видел и знал.

Непослушная глухонемая вещь Шелапутов понятия не имел о том, что между ним и Пыркиным свищет целый роман, обоюдная тяга ненависти, подобной только любви неизъяснимостью и полнотой страсти. Весь труд тяжелой взаимной неприязни пал на одного Пыркина, как если бы при пилке дров один пильщик ушел пить пиво, предоставив усердному напарнику мучиться с провисающей, вкривь и вкось идущей пилою. Это небрежное отлынивание от общего дела оскорбляло Пыркина и внушало ему робость, в которой он был неопытен. В присутствии Шелапутова заколдованный Пыркин не лягал Ингурку, не швырял камней в ее назревающую свадьбу, не хватался за ружье, когда стайка детей снижала крылышки к вожделенному фейхоа.

В ямбическое морозно-розовое утро, завидев Шелапутова, Пыркин за

спиной мадам Одетты тут же перепосвятил ему ужасные рожи, которые корчил портрету просвещенного страдальца и подлинного хозяина дома.

Но Шелапутов уже шел к главному входу-выходу: за его парадными копьями золотилась девочка Кетеван. Узкая, долгая, протянутая лишь в высоту, не имеющая другого объема, кроме продолговатости, она продлевала себя вставанием на носки, воздеванием рук, удлиняя простор, тесный для бега юной крови, бесконечным жестом, текущим в пространство. Так струилась в поднебесье, переливалась и танцевала, любопытствуя и страшась притяжения между завороженными псами и отстраненно-нервной Ингуркой. Девочка была молчаливей безмолвного Шелапутова; он иногда говорил и сказал:

— Ну что, дитя? Кто такая, откуда взялась? Легко ли состоять из ряби и зыби, из непрочных бликов, летящих прочь, в родную вечность неба, и моря, и снега на вершинах гор?

Он погладил сплетение радуг над ее египетскими волосами. Она отвечала ему вспышками глаз и робкого смеющегося рта, соловьиными пульсами запястий, висков и лодыжек, и уже переместилась, и сияла в отдаленье, ничуть не темней остального воздуха, его сверкающей дрожи.

Сзади донесся многократный стук плодов о траву, это Пыркин заехал инжировому дереву: он ненавидел инородцев и лучшую пору жизни потратил на выдворение смуглых племен из их родных мест.

Шелапутов пошел вдоль сквозняка между морем и далекими горами, глядя на осеннее благоденствие угодий. Мир вам, добрые люди, хватит скитаний, хватит цинги, чернящей рот. Пусторукий и сирый Шелапутов, предавшийся проголоди и беспечности мыслей, рад довольству, населившему богатые двухэтажные дома. Здравствуй, Варлам, пляшущий в деревянной выдолбине по колено в крови на время убитого винограда, который скоро воскреснет вином. Здравствуй, Полина, с мокрым слитком овечьего сыра в хватких руках. Соседи еще помнят, как Варлам вернулся из долгой отлучки с чужеродной узкоглазой Полиной, исцелившей его от смерти в дальних краях, был отвергнут родней и один неистово гулял на своей свадьбе. Полина же заговорила на языке мужа — о том о сем, о хозяйстве, как о любви, научилась делать лучший в округе сыр и оказалась плодородной, как эта земля, без утайки отвечающая труду избытком урожая. Смиренные родные приходили по праздникам или попросить взаймы денег, недостающих для покупки автомобиля,— Полина не отказывала им, глядя поверх денег и жалких людей мстительным припеком узкоглазья. Дети учились по разным городам, и только первенец Гиго всегда был при матери. Здравствуй и ты, Гиго, втуне едящий хлеб и пьющий вино, Полине ничего не жаль для твоей красоты, перекатывающей волны мощи под загорелой цитрусовой кожей. А что ты не умеешь читать — это к лучшему, все книги причиняют печаль. Да и сколько раз белотелые северянки прерывали чтение и покидали пляж, следуя за тобой в непроглядную окраину сада.

На почте по чьей-то ошибке, из которой он никак не мог выпутаться, упирающемуся Шелапутову вручили корреспонденцию на имя какой-то Хамодуровой и заставили расписаться в получении. Он написал: «Шелапутов. Впрочем, если Вам так угодно,— Хамов и Дуров». Терзаемый тревогой и плохими предчувствиями, утяжелившими сердцебиение, вдруг показавшееся неблагополучным и ведущим к неминуемой гибели, он не совладал с мыслью о подземном переходе, вброд пересек мелкую пыльную площадь и вошел в заведение «Апавильон».

Стоя в очереди, Шелапутов отдыхал, словно, раскинув руки, спал и плыл по сильной воде, знающей путь и цель. Числившийся членом нескольких союзов и обществ и почетным членом туманной международной лиги, он на самом деле был только членом очереди, это было его место среди людей, краткие каникулы равенства между семестрами одиночества. Чем темней и сварливей было медленное течение, закипающее на порогах, тем явственнее он ощущал нечто схожее с любовью, с желанием жертвы, конечно, никчемной и бесполезной.

Он приобрел стакан вина, уселся в углу и стал, страдая, читать. Сначала — телеграмму: «Вы срочно вы зываетесь объявления вы говора занесением личное дело стихотворение природе итог увяданья подводит октябрь». Эта заведомая бессмыслица, явно нацеленная в другую мишень, своим глупым промахом приласкала и утешила непричастного уцелевшего Шелапутова. Если бы и дальше все шло так хорошо! Но начало вскрытого письма: «Дорогая дочь, я призываю тебя, более того, я требую...» — хоть и не могло иметь к

нему никакого отношения, страшно испугало его и расстроило. Его затылок набряк болью, как переспелая хурма, готовая сорваться с ветки, и он стиснул его ладонями, спасая от забытья и падения. Так он сидел, укачивая свою голову, уговаривая ее, что это просто продолжение нелепой и неопасной путаницы, преследующей его, что он ни при чем и все обойдется. Он хотел было отпить вина, но остерегся возможного воспоминания о нежном обезболивании, затмевающем и целующем мозг в обмен на струйку души, отлет чего-то, чем прежде единственно дорожил Шелапутов. Оставался еще пакет с-прежде-запиской, звавшей его скорее окрепнуть и вернуться в обширное покинутое братство... Уж не те ли ему писали, с кем он только что стоял в очереди, дальше которой он не помнил и не искал себе родни: ибо есть основания надеяться на их общее выступление на стадионе. «Как — на стадионе? Что это? С кем они все меня путают?» — неповоротливо подумал Шелапутов и увидел каменное окружье, охлестнувшее арену, белое лицо толпы и опустившего голову быка, убитого больше, чем это надо для смерти, опустошаемого несколькими потоками крови. К посланию был приложен бело-черный свитер, допекавший Шелапутова навязчивыми вопросами о прошлом и будущем, на которые ему было бы легче ответить, обладай он хотя бы общедоступным талантом различать запахи. Брезгливо принюхавшись и ничего не узнав, он накинул свитер на спину и завязал рукава под горлом, причем от очереди отделился низкорослый задыхающийся человек и с криком: «Развяжи! Не могу! Душно!» — опустошил забытый Шелапутовым стакан.

Шелапутов поспешил развязать рукава и пошел прочь.

Вещь, утепляющая спину, продолжала свои намеки и недомолвки, и близорукая память Шелапутова с усилием вглядывалась в далекую предысторию, где неразборчиво брезжили голоса и лица, прояснявшиеся в его плохие ночи, когда ему снился живой горючий страх за кого-то и он просыпался в слезах. Все расплывалось в подслеповатом бинокле, которым Шелапутов пытал былое, где мерещилась ему мучительная для него певичка или акробатка, много собравшая цветов на полях своей неопределенной деятельности. Уж не ее ли был его свитер? Не от нее ли с омерзением бежал Шелапутов, выпроставшись из кожи и юркнув в расщелину новой судьбы? Ужаснувшись этому подозрению, он проверил свои очертания. К счастью, все было в порядке: бесплотный, бесполый силуэт путника на фоне небосвода, легкая поступь охотника, не желающего знать, где сидит фазан.

Возвращаясь, Шелапутов встретил слоняющегося Гиго, без скуки изживающего излишек сил и времени. Сохато-рослый и стройный, он объедал колючие заросли ежевики и вдруг увидел сладость слаще ягод: бело-черный свитер, вяло обнимавший Шелапутова.

— Дай, дай! — заклянчил Гиго.— Ты говорил: «Гиго, не бей собак, я тебе дам что-нибудь». Гиго не бьет, он больше не будет. Дай, дай! Гиго наденет, покажет Кетеван.

— Бери, бери, добрый Гиго,— сказал Шелапутов.— Носи на здоровье, не бей собак, не трогай Кетеван.

— У! Кетеван! У! — затрубил Гиго, лаская милую обнову.

Шелапутов сделал маленький крюк, чтобы проведать двор писателя, где его знакомый старый турок плел из прутьев летнюю трапезную, точное подражание фольклорной крестьянской кухне с открытым очагом посредине, с крюком над ним для копчения сыра и мяса. Прежде чем войти, Шелапутов, вздыбив невидимую шерсть, опушившую позвоночник, долго вглядывался в отсутствие хозяина дома. Прослышав о таинственном Шелапутове, любознательный писатель недавно приглашал его на званый ужин, и перепуганный несостоявшийся гость нисколько не солгал, передав через мадам Одетту, что болезнь его, к сожалению, усугубилась.

— Здравствуй, Асхат,— сказал Шелапутов.— Позволь войти и посидеть немного?

Старик приветливо махнул рукой, покореженной северным ревматизмом, но не утратившей ловкости и красоты движений. Ничего не помнил, все знал Шелапутов: час на сборы, рыдания женщин и детей, уплотнившие воздух, молитвы стариков, разграбленная серебряная утварь, сожранная скотина, смерть близких, долгая жизнь, совершенство опыта, но откуда в лице этот покой, этот свет? Именно люди, чьи бедствия тоже пестовали увеличивающийся недуг Шелапутова, теперь были для него отрадны, успокоительны и целебны. Асхат плел, Шелапутов смотрел.

Подойдя к своей калитке, он застал пленительную недостижимую Ингурку вплотную приблизившейся к забору: она отчужденно скосила на него глаза и условно пошевелила хвостом, имеющим новое, не относящееся к людям выражение. Собаки в изнеможении лежали на земле, тяжко дыша длинными языками, и только рыжий голосистый малыш пламенел и звенел.

И тогда Шелапутов увидел Собаку. Это был большой старый пес цвета львов и пустынь, с обрубленными ушами и хвостом, в клеймах и шрамах, не скрытых короткой шерстью, с обрывком цепи на сильной шее.

— Се лев, а не собака,— прошептал Шелапутов и с воспламенившимся и уже тоскующим сердцем напрямик шагнул к своему льву, к своей Собаке, протянул руку, и сразу совпали выпуклость лба и впадина ладони.

Пес строго и спокойно смотрел желтыми глазами, нахмурив для мысли темные надбровья. Шелапутов осторожно погладил зазубрины обкромсанных ушей — тупым ножом привечали тебя на белом свете, но ничего, брат мой, ничего. Он попытался разъединить ошейник и цепь, но это была сталь, навсегда прикованная к стали,— ан ничего, посмотрим.

Шелапутов отворил калитку, с раздражением одернув оранжевого крикуна, ринувшегося ему под ноги: «Да погоди ты, ну-ка — пошел». Освобожденная Ингурка понеслась вдоль моря, окруженная усталыми преследователями. Сзади медленно шел большой старый пес.

Так цвел и угасал день.

Пристанище Шелапутова, расположенное на отшибе от благоустройства дома, не отапливалось, не имело электрического света и стекла в зарешеченном окне. Этой комнатой гнушались прихотливые квартиранты, но ее любил Шелапутов. Он приготовился было уподобиться озябшим розам, как вдруг, в чепчике и шали, кокетливо появилась мадам Одетта и преподнесла ему бутылки с горячей водой для согревания постели. Он отнес эту любезность к мягкосердечию ее покойного мужа, сведущего в холоде грустных ночей: его робкая тень и прежде заметно благоволила к Шелапутову.

Красное солнце волнующе быстро уходило за мыс, и Шелапутов следил за его исчезновением с грустью, превышающей обыденные обстоятельства заката, словно репетируя последний миг существования. Совсем рядом трудилось и шумело море. Каждую ночь Шелапутов вникал в значение этого мерного многозвучного шума. Что знал, с чем обращался к его недалекости терпеливый гений стихии, монотонно вбивавший в каменья суши одну и ту же непостижимую мысль?

Шелапутов возжег свечу и стал смотреть на белый лист бумаги, в котором не обитало и не проступало ничего, кроме голенастого шестиногого паучка, резвой дактилической походкой снующего вдоль воображаемых строк. Уцелевшие в холоде ночные насекомые с треском окунали в пламя слепые крылья. Зачем все это? — с тоской подумал Шелапутов. И чего хочет эта ненасытная белизна, почему так легко принимает жертву в муках умирающих, мясистых и сумрачных мотыльков? И кто волен приносить эту жертву? Неужто вымышленные буквы, приблизительно обозначавшие страдание, существеннее и драгоценней, чем бег паучка и все мелкие жизни, сгорающие в чужом необязательном огне? Шелапутов, и всегда тяготившийся видом белой бумаги, с облегчением задул свечу и сразу же различил в разгулявшемся шелесте ночи одушевленно-железно крадущийся звук. Шелапутов открыл дверь и сказал в темноту: «Иди сюда». Осторожно ступая, тысячелетним опытом беглого каторжника умеряя звон цепи, по лестнице поднялась его Собака.

Шелапутов в темноте расковырял банку тушенки — из припасов, которыми он тщетно пытался утолить весь голод Ингурки, накопленный ею к тому времени. И тут же в неприкрытую дверь вкатился Рыжий, повизгивая сначала от обиды, а потом — как бы всхлипывая и прощая. «Да молчи ты по крайней мере»,— сказал Шелапутов, отделяя ему часть мясного и хлебного месива.

Наконец улеглись: Собака возле постели, Шелапутов — в теплые, трудно сочетаемые с телом бутылки, куда вслед за ним взлетел Рыжий и начал капризно устраиваться, вспыльчиво прощелкивая зубами пушистое брюхо. «Да не толкайся ты, несносное существо,— безвольно укорил его Шелапутов.— Откуда ты взялся на мою голову?» Он сильно разволновался от возни, от своего самовольного гостеприимства, от пугающей остановки беспечного гамака, в котором он дремал и качался последнее время. Он опустил руку и сразу встретил обращенную к нему большую голову Собаки.

Странно, что все это было на самом деле. Не Хамодурова, не Шелапутов, или как там их зовут по прихоти человека, который в ту осень предписанного ликования, в ночь своей крайней печали лежал на кровати, теснимый бутылками, Рыжим и толчеей внутри себя, достаточной для нескольких жизней и смертей, не это, конечно, а было: комната, буря сада и закипающего моря, Собака и человек, желавший все забыть и вот теперь положивший руку на голову Собаки и плачущий от любви, чрезмерной и непосильной для него в ту пору его жизни, а может быть, и в эту.

Было или не было, но из главной части дома сквозь проницаемую каменную стену донеслось многоточие с восклицательным знаком в конце: это мадам Одетта ритуально пролепетала босыми ногами из спальни в столовую и повернула портрет лицом к обоям. Рыжий встрепенулся спросонок и залился пронзительным лаем. Похолодевший Шелапутов ловил и пробовал сомкнуть его мягко обороняющиеся челюсти. После паузы недоумения в застенной дали стукнуло и грохнуло: портрет повернулся лицом к неприглядной яви, а Пыркин мощно брыкнул изножие кровати. Уже не впопыхах, удобно запрокинув морду, Рыжий предался долгой вдохновенной трели. Шелапутов больше не боролся с ним. «Сделай что-нибудь, чтоб он наконец заткнулся»,— безнадежно сказал он Собаке, как и он, понимавшей, что он говорит вздор. Рыжий тявкнул еще несколько раз, чтобы потратить возбуждение, отвлекающее от сна, звонко зевнул, и все затихло.

За окном медленно, с неохотой светало. Из нажитого за ночь тепла Шелапутов смотрел сквозь решетку на серый зябкий свет, словно в темницу, где по обязанности приходил в себя бледный исполнительный узник. Пес встал и, сдержанно звякая цепью, спустился в сад. Рыжий спал, иногда поскуливая и часто перебирая лапами. Уже было видно, какой он яркий франт, какой неженка — по собственной одаренности, по причуде крови, заблудшей в том месте судьбы, где собак нежить некому. Успел ли он поразить Ингурку красотой оперения, усиленной восходом,— Шелапутов не знал, потому что проснулся поздно. Сад уже оттаял и сверкал, а Шелапутов все робел появиться на хозяйской половине. Это живое чувство опять соотносило его с забытой действительностью, с ее привычным и когда-то любимым уютом.

Вопреки его опасениям, мадам Одетта, хоть и посмотрела на него очень внимательно, была мила и легка и предложила ему кофе. Шелапутов, подчеркнуто чуравшийся застольного и всякого единения, на этот раз заискивающе согласился. Пыркин фальшивой опрометью побежал на кухню, вычурно кривляясь и приговаривая: «Кофейник, кофейник, ау! Скорее иди сюда!» — но тут же умолк и насупился: сегодня был его день ехать в город.

Мадам Одетта, построив подбородку грациозную подпорку из локотка и кулачка, благосклонно смотрела, как Шелапутов, отвыкший от миниатюрного предмета чашки, неловко пьет кофе. Ее губы округлялись, вытягивались, складывались в поцелуйное рыльце для надобности гласных и согласных звуков — их общая сумма составила фразу, дикий смысл которой вдруг ясно дошел до сведения Шелапутова:

— Помните, у Пруста *это* называлось: совершить катлею?

Он не только понял и вспомнил, но и совершенно увидел ночной Париж, фиакр, впускающий свет и тьму фонарей, борьбу, бормотание, первое объятие Свана и его Одетты, его жалкую победу над ее податливостью, столь распростертой и недостижимой, возглавленной маленьким спертым умом, куда не было доступа страдающему Свану. При этом действительно была повреждена приколотая к платью орхидея, чьим именем стали они называть безымянную безысходность между ними.

Шелапутов прекрасно приживался в вымышленных обстоятельствах и в этом смысле был пронырливо практичен. Малым ребенком, страдая от войны и непрерывной зимы, он повадился гулять в овальном пейзаже, врисованном в старую синюю сахарницу. По изогнутому мостику блеклого красного кирпича, лаская ладонью его нежный мох, он проходил над глухим водоемом, вступая в заросли купалы на том берегу, и навсегда причислил прелесть желто-зеленых цветов в молодой зелени луга к любимым радостям детства и дальнейшей жизни. Он возвращался туда и позже, смелея от возраста и удлиняя прогулки. Из черемухового оврага по крутой тропинке поднимался на обрыв парка, увенчанный подгнившей беседкой, видел в просвете аллеи большой,

бесформенно-стройный дом, где то и дело кто-то принимался играть на рояле, бросал и смеялся. Целомудренный зонтик прогуливался над стриженым кустарником. Какой-то господин, забывшись, сидел на скамье, соединив нарядную бороду и пальцы, оплетшие набалдашник трости, недвижно глядя в невидимый объектив светлыми, чуть хмельными глазами. Шелапутов хорошо знал этих добрых, беспечных людей, расточительных, невпопад влюбленных, томимых благородными помыслами и неясными предчувствиями. Он, крадучись, уходил, чтобы не разбудить их и скрыть от них, что ничего этого нет, что обожаемый кружевной ребенок, погоняющий обруч, давно превратился в прах и тлен.

Годы спустя, незадолго до постыдного публичного обморока, затаившись в руинах чьей-то дачи, он приспособился жить в чужеземстве настенного гобелена. Это было вовсе беспечальное место: с крепостью домика, увитого вечным плющом, с мельницей над сладким ручьем, с толстыми животными, опекаемыми пастушкой, похожей на мадам Одетту, но, разумеется, не сведущей в Прусте. Там бы ему и оставаться, но он затосковал, разбранился с пастушкой, раздражавшей его шепелящими ласкательными суффиксами, и бежал.

Вот и сейчас он легко променял цветущую Диоскурию на серую дымку Парижа, в которой и обитал палевый, голубой и лиловый фазан.

Две одновременные муки окликнули Шелапутова и вернули его в надлежащую географию. Первая была — маленькая месть задетой осы, трудящейся над красным вздутием его кисти. Вторая боль, бывшая больше его тела, коряво разрасталась и корчилась вовне, он был ею и натыкался на нее, может быть, потому, что шел вслепую напрямик, мимо дорожки к воротам и ворот, оставляя на оградительных шипах клочья одежды и кожи.

Бессмысленно тараща обрубки антенн, соотносящих живое существо с влияниями и зовами всего, что вокруг, он опять втеснился в душную темноту, достаточную лишь для малой части человека, для костяка, кое-как одетого худобою. Какие розы? Ах да. Читатель ждет уж... Могила на холме и маленький белый монастырь с угловой темницей для наказанного монаха: камень, вплотную облегающий стоящего грешника, его глаза, уши, ноздри и губы...

Потайным глубинным пеклом, загодя озирающим длительность предшествующего небытия, всегда остающимся про запас, чтобы успеть вглядеться в последующую запредельность и погаснуть, Шелапутов узнал и впитал ту, что стояла перед ним. Это и была его единственная родимая собственность: его жизнь и смерть. Ее седины развевались по безветрию, движимые круговертью под ними, сквозь огромные глаза виден был ад кипящей безвыходной мысли. Они ринулись друг к другу, чтобы спасти и спастись, и, конечно, об этом было слово, которое дымилось и пенилось на ее губах, которое здраво и грамотно видел и никак не мог понять Шелапутов.

Как мало оставалось мученья: лишь разгадать и исполнить ее заклинающий крик и проникнуть к, проникнуть в, вновь обрести блаженный изначальный уют, охраняемый ее урчащей когтистой любовью. Но что она говорит? Неужели предлагает мне партию на бильярде? Или все еще хуже, чем я знаю, и речь идет о гольфе, бридже, триктраке? Или она нашла мне хорошую партию? Но я же не могу всего этого, что нам делать, как искуплю я твою нестерпимую муку? Ведь я — лишь внешность раны, исходящей твоею бедною кровью. О, мама, неужели я умираю!

Они хватали и разбрасывали непреодолимый воздух между ними, а его все больше становилось. Какой маркшейдер ошибся, чтобы они так разминулись в прозрачной толще? Вот она уходит все дальше и дальше, протянув к нему руки, в латах и в мантии, в терновом венце и в погонах.

Шелапутов очнулся оттого, что опять заметил свою руку, раненную осою: кисть болела и чесалась, ладонь обнимала темя Собаки.

Опираясь о голову Собаки, Шелапутов увидел великое множество моря с накипью серебра, сад, обманутый ослепительной видимостью зноя и опять желавший цвести и красоваться. На берегу ослабевшая Ингурка, вяло огрызаясь, уклонялась от неизбежной судьбы. Уже без гордости и жеманства стряхивала она то одни, то другие объятья. Рыжий всех разгонял мелким начальственным лаем. И другая стайка играла неподалеку: девочка Кетеван смеялась и убегала от Гиго.

Под рукой Шелапутова поднялся загривок Собаки, и у Шелапутова обострились лопатки. Он обернулся и увидел Пыркина, собравшегося в город. Он совсем не знал этого никакого человека и был поражен силою его взгляда, чья траектория отчетливо чернела на свету, пронзала затылок Шелапутова, взрывалась там, где обрывок цепи, и успевала контузить окрестность. Он сладострастно посылал взгляд и не мог прервать этого занятия, но и Шелапутов сильно смотрел на Пыркина.

Следуя к автобусной станции, Пыркин схватил каменья гор вместе с домами и огородами и запустил ими в иноплеменную нечисть собак и детей, во всю дикоязыкую прустову сволочь, норовящую бежать с каторги и пожирать фейхоа.

— Вот что, брат,— сказал Шелапутов.— Иди туда, не уступай Рыжему прощальной улыбки нашего печального заката. А я поеду в город и спрошу у тех, кто понимает: что делать человеку, который хочет уехать вместе со своею Собакой?

Пес понуро пошел. Шелапутов не стал смотреть, как он стоит, опустив голову, пока Рыжий, наскакивая и отступая, поверхностно кусает воздух вокруг львиных лап, а Ингурка, в поддержку ему, морщит нос и дрожит верхней губой, открывая неприязненные мелкие острия при одобрении всех второстепенных участников.

Не стал он смотреть и на то, как Гиго ловит смеющуюся Кетеван. Разве можно поймать свет, золотой столбик неопределенной пыли? — а вот поймал же и для шутки держит над прибоем, а прибой для шутки делает вид, что возьмет себе. Но она еще отбивается, еще утекает сквозь пальцы и свободно светится вдалеке—ровня лучу, не отличимая от остального солнца.

Престарелый автобус с брезентовым верхом так взбалтывал на ухабах содержимое, перемешивая разновидности, национальности, сорта и породы, что к концу пути все в нем стало равно потно, помято и едино,— кроме Пыркина и Шелапутова. Вот какой город, какой афинно-белый и колоннадный, с короной сооружения на главе горы; ну, не Парфенон, я ведь ни на что и не претендую, а ресторан, где кончились купаты, но какой любимый Шелапутовым город — вот он ждет, богатый чужеземец, владелец выспренних излишеств пальм, рододендронов и эвкалиптов, гипса вблизи и базальта вдали. Лазурный, жгучий, волосатый город, вожделеющий царственной недоступной сестры: как бы смял он ее флердоранж, у, Ницца, у!

Шелапутов, направляясь в контору Кука, как и всегда идучи, до отказа завел руки за спину, крепко ухватившись левой рукой за правую. Зачарованный Пыркин некоторое время шел за ним, доверчиво склонив набок голову для обдумывания этой особенности его походки, и даже говорил ему что-то поощрительное, но Шелапутов опять забыл замечать его.

Сподвижники отсутствующего Кука, до которых он доплыл, на этот раз без удовольствия, по извилинам очереди, брезгливо объяснили ему, что нужно делать человеку, который хочет уехать вместе со своею Собакой. Все это не умещалось во времени, отведенном Шелапутову, а намордник, реставрация оборванной цепи и отдельная клетка для путешествия и вовсе никуда не умещались.

Устав и померкнув, Шелапутов пошел вдоль набережной, тяготясь неподъемной величиной неба, гор и снующей жизни. Море белесо отсутствовало, и прямо за парапетом начиналось ничто. Урожденный близнец человеческой толчеи, слоняющейся, торгующей, настигающей женщин или другую добычу, он опять был совсем один и опирался лишь на сцепленные за спиною руки.

Усевшись в приморской кофейне, Шелапутов стал смотреть, как грек Алеко, изящный, поджарый, черно-седой, ведает жаровней с раскаленным песком. Никакой болтливости движений, краткий полет крепкого локтя, скошенный блеск емкого глаза, предугадывающий всякую новую нужду в черном вареве, усмехающийся кофейным гадателям: ему-то не о чем спрашивать перевернутую чашку, он прозорливей всеведущей гущи.

Ничего не помнил, все знал Шелапутов: тот же мгновенный — пошевеливайся, чучмек! — час на сборы, могилы — там, Алеко — здесь.

Почуяв Шелапутова, Алеко любовно полыхнул ему глазом: обожди, я иду, не печалься и здравствуй во веки веков. Есть взор между человеком и человеком, для которого и следует жить в этом несказанном мире, с блистающим морем и хрупкой гигантской магнолией, держащей на весу фарфо-

ровую чашу со светом. Совладав с очередной партией меди в песке, Алеко подошел, легкой ладонью приветил плечо Шелапутова. Про Собаку сказал:

— Иди по этому адресу, договорись с проводником. Он приедет завтра вечером, послезавтра уедет, и вместе с ним ты со своею Собакой.

Потом погасил глаза и спросил:

— Видел Кетеван?

— Езжай туда, Алеко,— внятно глядя на него, ответил Шелапутов.— Не медли, езжай сегодня.

Алеко посмотрел на простор дня, на Грецию вдали, коротко сыграл пальцами по столу конец какой-то музыки и сказал с вольной усмешкой:

— Я старый бедный грек из кофейни. А она — ты сам знаешь. Пойду-ка я на свое место. Прощай, брат.

Но как ты красив, Алеко, все в тебе. Ты все видел на белом свете, кроме высшей его белизны — возлюбленной родины твоей древней и доблестной крови. С тобою Самофракийская Ника! Смежим веки и станем думать, что море и море похожи, как капля и капля воды. И что так стройно белеет на вершине горы? Не храм же в честь начала и конца купат, а мысль без просчета, красота без изъяна: Парфенон.

Шелапутов обнял разрушенную колонну, вслушиваясь лбом в шершавый мрамор. Внизу подтянуто раскинулся Акрополь, ниже и дальше с достоинством суетился порт Пирей, совсем далеко, за маревом морей, в кофейню вошли двенадцать человек, не отличимых один от другого. Кто такие? Должно быть, негоцианты, преуспевшие в торговле мускусом, имбирем и рабами, допировывающие очередную сделку. Но где уже видел их Шелапутов? Влюбленная прислуга сдвигала столы, тащила бутылки и снедь. Виктория — их, несомненно, но разве мало у них драхм, чтобы подкупить руку, смазавшую черты их лиц, воздвигшую больной жир животов, опасный для их счастливой жизни? Бр-р, однако, как они выглядят.

— Пошевеливайся, грек! — Но он уже идет с чашкой и медным сосудом, безупречно статный, как измышленье Лисиппа, весело глядя на них всезнающими глазами.

— На, грек, выпей!

С любезным поклоном берет он стакан, пристально разглядывает влагу, где что-то кишит и плодится, смеется дерзкими свежими зубами и говорит беспечно:

— Грязно ваше вино.

Больше он ничего не говорит, но они, беснуясь, слышат:

— Грязно ваше вино, блатные ублюдки. Проклятье тому, кто отпил его добровольно, горе тому, чью шею пригнули к нему. Этот — грек, тот — еще кто-нибудь, а вы — никто ниоткуда, много у вас владений, но родины — нет, потому что все ваше — чужое, отнятое у других.

Так он молчит, ставит стакан на стол и уходит на свое место: путем великих Панафиней, через Пропилеи, мимо Эрехтейона — к Парфенону.

Прощай.

Какое-то указанье или приглашение было Шелапутову, о котором он забыл, но которому следовал. Бодрым и деловым шагом, задушевно и мимолетно поглаживая живую шерсть встречных пальм, шел он вдоль темнеющих улиц к подмигивающему маяку неведомой дали. Вот юный дом с обветшалой штукатуркой, надобный этаж, дверь, бескорыстный звонок с проводами, не впадающими в электричество. Он постучал, подождал и вошел.

Мрак комнаты был битком набит запахом, затрудняющим дыхание и продвижение вперед,— иначе как бы пронюхал Шелапутов густоту благовонного смрада?

Повсюду, в горшках и ящиках, подрагивали и извивались салатно незсмные развратно-прекрасные цветы.

Лицом к их раструбам, спиной к Шелапутову стоял и сотрясался Пыркин, в упоении хлопотавший о близкой удаче.

Вот пала рука и раздался вопль победы и муки.

Отдохнув, охладев к докучливой искушающей флоре, Пыркин отвернулся от загадочно глядящих неутолимых растений, увидел Шелапутова и прикрикнул на него с достоинством:

— Я на пенсии! Я развожу орхидеи!

— Ну-ну,— молча пожал плечами Шелапутов,— это мило.

Они двинулись к автобусу и потом к дому: впереди Шелапутов, сомкнувший за спиной руки, сзади — Пыркин, приглядывающий за его затылком.

Поднявшись к себе, Шелапутов не закрыл дверь и стал ждать.

Вот — осторожно зазвенело в саду и вверх по лестнице. Шелапутов обнял голову Собаки, припал к ней лицом и отстранился:

— Ешь.

В эту ночь Рыжий появился ненадолго: перекусил, наспех лизнул Шелапутова, пискливо рявкнул на Собаку, в беспамятстве полежал на боку и умчался.

Важная нежная звезда настойчиво обращалась к Шелапутову — но с чем? Всю жизнь разгадывает человек значение этой кристальной связи, и лишь в мгновение, следующее за последним мгновеньем, осеняет его ослепительный ответ, то совершенное знание, которым никому не дано поделиться с другим.

Шелапутов проснулся, потому что пес встал, по-военному насупив шерсть и мышцы, клокоча глубиною горла.

— Ты не ходи,— сказал Шелапутов и толкнул дверь.

Что-то ссыпалось с лестницы, затрещало в кустах и затаилось. Шелапутов без страха и интереса смотрел в темноту. Пес все же вышел и стал рядом. Выстрел, выстрел и выстрел наобум полыхнули по звезде небес. Эхо, эхо и эхо, оттолкнувшись от гор, лоб в лоб столкнулись с криком промахнувшегося неудачника:

— Все французы — жиды! Свершают катлею! Прячут беглых! Воруют фейхоа!

— Не спится? — сказал Шелапутов.— Ах да, вы боитесь умереть во сне. Опасайтесь: я знаю хорошую колыбельную.

Утром окоченевший Шелапутов ленился встать, да и не было у него дел поскуда. В открытую дверь он увидел скромную кружевную франтоватость — исконную отраду земли, с которой он попытался разминуться: на железных перилах, увитых виноградом, на убитых тельцах уязвленной морозом хурмы лежала северная белизна. Обжигая ею пальчики, по ступеням поднималась мадам Одетта в премилой душегрейке. На пороге ей пришлось остановиться в смущении:

— Ах! Прошу прощения: вы еще не одеты и даже не вставали.

Галантный, благовоспитанный Шелапутов как раз был одет во все свои одежды и встал без промедления.

Мадам Одетта задумчиво озирала его голубою влагой, красиво расположенной вокруг бдительных черных зрачков, знающих мысль, которую ей трудно было выразить,— такую:

— Причина, побуждающая меня объясниться с вами, лежит в моем прошлом. (Голубизна увеличилась и пролилась на щеку.) Видите ли, в Пыркине, лишенном лоска и лишнего образования, есть своя тонкость. Его странные поездки в город (влага подсохла, а зрачки цепко вчитались в Шелапутова) — это, в сущности, путешествие в мою сторону, преодоление враждебных символов, мешающих его власти надо мной. Он тяжко ревнует меня к покойному мужу — и справедливо. (Голубые ручьи.) Но я хочу говорить о другом. (Шепот и торжество черного над голубым.) Будьте осторожны. Он никогда не спит, чтобы не умереть, и все видит. Пыркин — опасный для вас человек.

— Но кто это — Пыркин? — совершенно растерявшись, спросил Шелапутов и вдруг, страшно волнуясь, стал сбивчиво и словно нетрезво говорить: — Пыркин — это не здесь, это совсем другой. Клянусь вам, вы просто не знаете! Там, возле станции, холм, окаймленный соснами, и чудная церковь с витиеватыми куполами, один совсем золотой, и поле внизу, и дома на его другом берегу. Так вот, если идти к вершине кладбища не снизу, а сбоку, со стороны дороги, непременно увидишь забытую могилу, над которой ничего нет, только палка торчит из-под земли и на ней написано: «ПЫРКИН!» Представляете? Какой неистребимый характер, какая живучесть! Ходить за водкой на станцию, надвигать кепку на шальные глаза, на этом же кладбище в праздник сидеть среди цветной яичной скорлупы, ощущать в полегчавшем теле радостную облегченность к драке, горланить песнь, пока не захрипит в горле слеза неодолимой печали, когда-нибудь нелепо погибнуть и послать наружу этот веселый вертикальный крик: «ПЫРКИН!»

— Врешь! — закричал невидимый однофамилец нездешнего Пыркина.—

Это тот — другой кто-нибудь, вор, пьяница, бездельник с тремя судимостями! Все спал, небось, налив глаза,— вот и умер, дурак!

Никто уже не стоял в проеме двери, не заслонял размороженный, нестерпимо сверкающий сад, а Шелапутов все смотрел на заветный холм, столь им любимый и для него неизбежный.

Дождавшись часа, когда солнце, сделав все возможное для отогревания этих садов, стало примеряться к беспристрастной заботе о других садах и народах, Шелапутов через калитку вышел на берег и увяз в мокрой гальке. Уже затрещинами и зуботычинами учило море непонятливую землю, но, как ей и подобает, никто по-прежнему ничего не понимал.

Из ничьего самшита, вырвавшегося на волю из чьей-то изгороди, лениво вышел Гиго в полосатом свитере, снова не имеющий занятия и намерения. Далеко сзади, закрыв лицо всей длиной руки, преломленной в прелестной кисти, обмокнутой в грядущую мыльную бесконечность, шла и не золотилась девочка Кетеван.

Солнце, перед тем как невозвратимо уйти в тучу, ударило в бубен оранжевой шерсти, и Рыжий скрестил передние лапы на волчье-козьей темно-светлой шее. Сооружение из него и Ингурки упрочилось и застыло. Массовка доигрывала роль, сидя кругом и глядя. Вдали оцепеневшего хоровода стоял и смотрел большой старый пес.

— Плюнь,— сказал ему Шелапутов.— Пойдем.

Впереди был торчок скалы на отлогом берегу; еще кто-нибудь оглянулся, когда нельзя,— Шелапутов провел ладонью по худому хребту — львиная шерсть поежилась от ласки, и волна морщин прокатилась по шрамам и клеймам.

Сказал: «Жди меня здесь, а завтра — уедем»,— и, не оглянувшись, пошел искать проводника.

Адрес был недальний, но Шелапутов далеко зашел в глубь расторопно сгустившейся ночи, упираясь то в тупик чащобы, то в обрыв дороги над хладным форельным ручьем. Небо ничем не выдавало своего предполагаемого присутствия, и Шелапутов, обособленный от мироздания, мыкался внутри каменной безвоздушной темноты, словно в погасшем безвыходном лифте.

Засквозило избавлением, и сразу обнаружилось небо со звездами и безукоризненной луной, чье созревание за долгими тучами упустил из виду Шелапутов, и теперь был поражен ее видом и значением. Прямо перед ним, на освещенном пригорке, стоял блюститель порядка во всеоружии и плакал навзрыд. Переждав первую жалость и уважение к его горю, Шелапутов, стыдясь, все же обратился к нему за указанием — тот, не унимая лунных слез, движением руки объяснил: где.

Женщины, в черном с головы до ног, встретили Шелапутова на крыльце и ввели в дом. Он еще успел полюбоваться скорбным благородством их одеяний, независимых от пестроты нынешнего времени, и лишь потом заметил, как с легким шелковым треском порвалось его сердце, и это было не больно, а мятно-сладко. Старик, главный в доме, и другие мужчины стояли вкруг стола и окропляли вином хлеб. И Шелапутову дали вина и хлеба. Старик сказал:

— Выпей и ты за Алеко.— Он пролил немного вина на хлеб, остальное выпил.

Как прохладно в груди, какое острое вино, как прекрасно добавлен к его вкусу вольно-озонный смолистый привкус. Уж не рецина ли это? Нет, это местное черное вино, а рецина золотится на свету и оскоменным золотом вяжет и услаждает рот. Но все равно — здравствуй, Алеко. Мы всегда умираем прежде, чем они, их нож поспевает за нашей спиною, но их смерть будет страшнее, потому что велик их страх перед нею. Какие бедные, в сущности, люди. И не потому ли они так прожорливо дорожат своей нищей жизнью, что у нее безусловно не будет продолжения и никто не заплачет по ним от горя, а не от корысти?

Шелапутов выпил еще, хоть тревожно знал, что ему пора идти: ему померещилось, что трижды пошатнулась и погасла звезда.

— Так приходи завтра, если сможешь,— сказал старик на прощание.— Я буду ждать тебя с твоею Собакой.

Не потратив нисколько времени, одним прыжком звенящего ума, Шелапутов достиг вздыбленного камня. Собаки не было там. Шелапутов не знал, где его Собака, где его лев, где он лежит на боку, предельно потянувшись, далеко разведя голову и окоченевшие лапы. Три пулевых раны и еще одна, уже лишняя и безразличная телу, чернеют при ясной луне. По горлу и по бархатному свободному излишку шеи, надобному большой собаке лишь для того, чтобы с обожанием потрепала его рука человека, прошелся нож, уже не имевший понятной цели причинить смерть.

— Значит, четыре,— аккуратно сосчитал Шелапутов.— Вот сколько маленьких усилий задолжал я гиенам, которые давно недоумевают: уж не враг ли я их, если принадлежащая им падаль до сих пор разводит орхидеи?

Зарницей по ту сторону глаз, мгновенным послетоннельным светом, за которым прежде он охотился жизнь напролет, он вспомнил все, что забыл в укрытии недуга. Оставалось лишь менять картины в волшебном фонаре. Селенье называлось: Свистуха, река Яхрома, неподалеку мертвая вода канала возлежала в бетонной усыпальнице. За стеной с гобеленом хворала необщительная хозяйка развалившейся дачи. Однажды она призвала его стуком, и он впервые вошел в ее комнату, весело глядящую в багрец и золото, октябрь, подводивший итог увяданья, солнечный и паутинный в том году. Старая красивая дама пылко смотрела на него, крепко прихватив пальцами кружева на ключицах. Он сразу увидел в ней величественную тень чего-то большего, чем она, оставившую ее облику лишь узкую ущербную скобку желтенького света. Он был не готов к этому, это было так же просто и дико, как склонить к букварю прилежный бант и прочесть слово: смерть.

— Голубчик,— сказала она,— я видела тех, кто строил этот канал. Туда нельзя было ходить, но мы заблудились после пикника и нечаянно приблизились к недозволенному месту. Нас резко завернули, но мы были веселы от вина и от жизни и продолжали шутить и смеяться. И тогда я встретила взгляд человека, которого уже не было на свете, он уже вымостил собою дно канала, но вот стоял и брезгливо и высокомерно смотрел на меня. Столько лет прошло, клешни внутри меня намертво сомкнулись и дожирают мою жизнь. А он все стоит и смотрит. Бедное дитя, вы тогда еще не родились, но я должна была сказать это кому-то. Ведь надо же ему на кого-то смотреть.

Все это несправедливо показалось прежнему Шелапутову: ведь он уже бежал в спасительные чудотворные рощи, и теперь ему надо было подаваться куда-то из безмятежных надмогильных лесов и отсиживаться в гобелене.

Время спустя Шелапутов или та, чей свитер был—его, плыл или плыла по каналу на развлекательном кораблике с музыкой и лампионами. Двенадцать спутников эффектной экскурсантки в обтяжном бархате и перезвоне серебряных цепочек — отвечали неграмотными любезностями на ее предерзкие словечки. Слагая допустимые колкости, она пригубляла вино, настоянное на жирных амебах. И вдруг увидела, как из заоконной русалочьей сырости бледные лица глядят на нее брезгливо и высокомерно. Но почему не на тех, кого они видели в свой последний час, а на нее, разминувшуюся с ними во времени? Остальная компания с удовлетворением смотрела на уютную дрессированную воду, на холодную лунную ночь, удачно совпавшую с теплом и светом внутри быстрокрылого гулящего судна.

Затем был этот недо — полет через долину зала, врожденный недо — поступок, дамский подвиг упасть без чувств и натужное мужество без них обходиться. Не пелось певунье, не кувыркалось акробатке, и этот трюк воспалил интерес публики, всегда грезящей об умственной собственности. Каждой делательнице тарталеток любо наречь божеством того, кто приручено ест их с ее ладони, втянув зубы, вытянув губы. Но Шелапутова ей не обвести вокруг пальца!

Он положил руку на пустоту, нечаянно ища большую голову Собаки с ложбиной меж вдумчивых надбровных всхолмий.

Ничто не может быть так холодно, как это.

Спущенный с тетивы в близкую цель, Шелапутов несся вдоль сокрушительного моря и споткнулся бы о помеху, если бы не свитер цвета верстового столба.

Гиго рыдал, катая голову по мокрым камням.

— Мать побила меня! Мать била Гиго и звала его сыном беды, идиотом. Мать кричала: если у Кетеван нет отца, пусть мой отец убьет меня. Отец заступался и плакал. Он сказал: теперь Алеко женится на ней. А она убежала из дома. Мать велела мне жить там, где живут бездомные собаки, и она вместе со всеми будет бросать в меня камни и не бросит хлеба.

Отвечая праздничной легкости Шелапутова, сиял перед ним его курор-

тик, его кромешный Сен-Тропез, возжегший все огни, факелами обыскивающий темноту.

Навстречу ему бежала развевающаяся мадам Одетта. Добежала, потащила к губам его руки, цепляясь за него и крича:

— Спасайте! Он заснул! Он умирает во сне!

Отряхнувшись от нее, Шелапутов вошел в дом и не спеша поднялся в спальню. На кровати, под перевернутым портретом, глядящим сквозь стену в шелапутовскую каморку, хрипел и кричал во сне Пыркин. Лицо его быстро увеличивалось и темнело от прибыли некрасивой крови, руки хватались за что-то, что не выдерживало тяжести и вместе с ним летело с обрыва в пучину.

Ружье отдыхало рядом, вновь готовое к услугам.

— Помогите! — рыдала мадам Одетта.— Ради того, которого над нами нет,— разбудите его! Вы же можете это, я не верю, что вы так ужасно жестоки.— Она пала на колени, неприятно белея ими из-под распавшегося халата, и рассыпалась по полу саксонской фасолью, нестройными черепками грузного фарфора.

Маленький во фраке, головою вниз повисший со звезды, поднял хрустальную указку, и Шелапутов запел свою колыбельную. Это была невинная песенка, в чью снотворную силу твердо верил Шелапутов. От дремотного речитатива Пыркину заметно полегчало: рыщущие руки нашли искомый покой, истомленная грудь глубоко глотнула последнего воздуха и остановилась — на этом ее житейские обязанности кончались, и выдох был уже не ее заботой, а кого-то другого и высшего.

Прилично соответствуя грустным обстоятельствам, Шелапутов поднял к небу глаза и увидел, что маленький завсегдатай звезды, отшвырнув повелительную палочку, обнял луч и приник к нему плачущим телом.

Шелапутов накинулся на затихшего Пыркина: тряс его плечи, дул ему в рот, обегал ладонью левое предплечье, где что-то с готовностью проснулось и бодро защелкало. Он рабски вторил подсказке неведомого суфлера и приговаривал:

— Не баю-бай, а бей и убей! Я все перепутал, а вы поверили! Никакого отбоя! Труба зовет нас в бой! Смерть тому, кто заснул на посту!

Новорожденный Пыркин открыл безоружные глаза, не успевшие возыметь цвет и взгляд, и, быстро взрослея, строго спросил:

— Что происходит?

— Ничего нового,— доложил Шелапутов.— Деление на убийц и убиенных предрешено и непоправимо.

Опытным движением из нескольких слагаемых: низко уронить лоб, успеть подхватить его на лету, вновь подпереть макушкой сто шестьдесят пятый от грязного пола сантиметр пространства с колосниками наверху и укоризненной звездой в зените и спиной наобум без промаха пройти сквозь занавес — он поклонился, миновал стену и оказался в своей чужой и родной, как могила, комнате. А там уже прогуливался бархат в обтяжку, вправленный в цирковые сапожки со шпорами, переливалось серебро цепочек, глаза наследственно вели в ад, но другого и обратного содержания.

— Привет, кавалерист-девица Хамодурова! — сказал Шелапутов (Шеламотов? Шуралеенко?).— Не засиделись ли мы в диоскурийском блаженстве? Не время ли вернуться под купол стадиона и пугать простодушную публику песенкой о том, что песенка спета? Никто не знает, что это — правда, что канат над темнотой перетерся, как и связки голоса, покрытые хриплыми узелками. И лишь за это — браво и все предварительные глупые цветы. Ваш выход. Пора идти.

Так она и сделала.

Оставшийся живучий некто порыскал в небе, где притворно сияла несуществующая звезда, и пошел по лунной дорожке, которая всего лишь отраженье отраженного света, видимость пути в невидимость за горизонтом, но ведь и сам опрометчивый путник — вздор, невесомость, призрачный неудачник, переживший свою Собаку и все, без чего можно обойтись, но — зачем?

●

Светлана АКСЕНОВА

Охотник-время

* * *

Отречься от себя — затем, чтоб выжить —
И выгоду из бед прошедших выжать.
Так добрые друзья меня учили
И сами выживали, а не жили.

Загадка человеческой природы,
Ты, вечная и странная судьба:
Бесстрашная агония свободы,
Слепое долголетие раба!

Когда душа покорна и пуста,
Слова, как пчелы, липнут на уста!
О, как легко они жужжат и вьются,
И жалят, и опять в любви клянутся!

Но застревает в горле горький ком
Молчащих слов — о главном, о другом.
А сколько в суете молчащих дел,
Которых ты замыслить не посмел?!

Душа моя молчит который день,
Как загнанный охотником олень.
Охотник-время, пощади меня!
Лечи меня безумием огня,
Спаси меня забвеньем и бедой,
Убей меня последнею стрелой,
Чтобы проснулся голос мой живой!

Третий лишний

Кто тут лишний?
Каждый третий,
каждый первый
и второй.
Все выходят
или вышли
друг
    за другом
чередой.
Кто тут лучший?
Каждый третий,
каждый первый
и второй.
Все единственны
на свете,
даже сделавшись
толпой.
Кто обманут?
Каждый третий,
каждый первый
и второй.
Всяк в свои
попался сети
и своею сыт бедой.
Но беспечно
и упрямо,
презирая
правду схем,
каждого
рожает мама,
будто бога —
нас всем!

* * *

Мне осталось теперь
    терпеливое слово — терпенье.
Его двойственный смысл
    дано мне однажды постичь.

В путь тернистый беру,
словно посох,
печальное пенье.
Жизнь — охотник стоглазый.
Но я — непокорная дичь!
Пусть слова беспощадны,
как пули шальные, —
я спрячусь.
Пусть навеки забудут меня —
пустяки.
Я стерплю!
Не от бед и обид —
я от радости тайной заплачу,
И для радости этой
по капле я силы коплю.
Поскорей подрастай
в своей тесной и темной неволе,
Поскорей обретай
свои думы и чувства, дитя!
Пока есть еще в мире
ромашек несмятое поле,
И не только железные —
певчие птицы летят...

* * *

Око окна. Сотни окон
Светят в беззвездной ночи.
Снова тебе одиноко.
Тише! Про Это — молчи!

Больше Про Это — ни звука.
Хватит — взахлеб и навзрыд
Петь о любовных разлуках —
Смертная нам предстоит!

Стыдно терзать и терзаться
Среди скандалов и склок.
Помилосердствуйте, братцы,
Каждый из нас — одинок!

Каждый боится признаться
В слабости — перед другим.
Помилосердствуйте, братцы,
Каждый из нас — нелюбим!

Как сквозь кольчуги амбиций
И самолюбий тряпье,
Маски, приросшие к лицам,
Как мне увидеть свое?

Как объяснить, объясниться —
Сквозь разобщенности лед?
Нежности тайная птица
Сердце неслышно клюет.

В непримиримости лютой —
Жалости тайная жажда.
Помилосердствуйте, люди
Добрые, —
Каждый о Каждом!

* * *

На пустыри отверженных порывов,
На свалки отмирающих страстей
Душа приходит нищенкой стыдливой
И втайне от упитанных людей
Сокровища свои перебирает
И, как детей, от сглазу бережет.
Но непомерный груз ее смущает
И жаждою несбыточного жжет.
Пронизана ознобом состраданья,
Униженно протягивает клад.
Шарахаются все от подаянья
И мимо глаз растерянных спешат.

Василий ГРОССМАН

Жизнь и судьба

РОМАН

14

Часть, в которую прибыл из штаба степной армии Даренский, находилась на юго-восточном фланге Сталинградского фронта, в безводных прикаспийских песках.

Расположенные у озерной и речной воды степи представлялись теперь Даренскому чем-то вроде обетованной земли, — там рос ковыль, кое-где росли деревья, ржали лошади.

В пустынной песчаной равнине обосновались тысячи людей, привыкших к влажному воздуху, к росе на зорьке, к шороху сена. Песок сечет их по коже, лезет в уши, скрипит в пшене и в хлебе, песок в соли и в винтовочном затворе, в механизме часов, песок в солдатских сновидениях... Телу человеческому, ноздрям, гортани, икрам ног здесь трудно. Тело жило здесь, как живет телега, сошедшая с накатанной колеи и со скрипом ползущая по бездорожью.

Весь день ходил Даренский по артиллерийским позициям, говорил с людьми, писал, снимал схемы, осматривал орудия, склады боеприпасов. К вечеру он выдохся, голова гудела, болели ноги, не привыкшие ходить по сыпучей песчаной почве.

Даренский давно заметил, что в дни отступления генералы бывают особо внимательны к нуждам подчиненных; командующие и члены Военных советов щедро проявляют самокритичность, скептицизм и скромность.

Никогда в армии не появляется столько умных, все понимающих людей, как в пору жестоких отступлений, превосходства противника и гнева Ставки, ищущей виновников неудач.

Но здесь, в песках, людьми владело сонное безразличие. Штабные и строевые командиры словно уверились, что интересоваться им на этом свете нечем, все равно и завтра, и послезавтра, и через год будет песок.

Ночевать Даренского пригласил к себе начальник штаба артиллерийского полка подполковник Бова. Бова, несмотря на свою богатырскую фамилию, был сутул, плешив, плохо слышал на одно ухо. Он как-то приезжал по вызову в штаб артиллерии фронта и поразил всех необычайной памятью. Казалось, что в его плешивой голове, посаженной на узкие сутулые плечи, ничего не могло существовать, кроме цифр, номеров батарей и дивизионов, названий населенных пунктов, командирских фамилий, обозначений высот.

Бова жил в дощатой хибарке со стенами, обмазанными глиной и навозом, пол был покрыт рваными листами толя. Хибарка эта ничем не отличалась от других командирских жилищ, разбросанных в песчаной равнине.

— А, здорово! — сказал Бова и размашисто пожал руку Даренскому. — Хорошо, а? — И он показал на стены. — Вот здесь зимовать в собачьей будке, обмазанной дерьмом.

— Да, помещение так себе! — сказал Даренский, удивляясь тому, что тихий Бова стал совершенно на себя не похож.

Продолжение. Начало см. №№ 1, 2 с. г.

Он усадил Даренского на ящик из-под американских консервов и налил ему водки в мутный, с краями, запачканными высохшим зубным порошком, граненый стакан, пододвинул зеленый моченый помидор, лежавший на раскисшем газетном листе.

— Прошу, товарищ подполковник, вино и фрукты! — сказал он.

Даренский опасливо, как все непьющие, отпил немного, отставил стакан подальше от себя и начал расспрашивать Бову об армейских делах. Но Бова уклонялся от деловых разговоров.

— Эх, товарищ подполковник, — сказал он, — забил я себе голову службой, ни на что не отвлекался, какие бабы были, когда мы на Украине стояли, а на Кубани, боже мой... и ведь давали охотно, только мигни! А я, дурак, просиживал задницу в оперативном отделе, спохватился поздно, среди песков!

Даренский, вначале сердившийся, что Бова не хочет говорить о средней плотности войск на километр фронта и о преимуществах минометов над артиллерией в условиях песчаной пустыни, все же заинтересовался новым оборотом разговора.

— Еще бы, — сказал он, — на Украине женщины замечательно интересные. В сорок первом году, когда штаб стоял в Киеве, я встречался с одной особой, украинкой, она была женой работника прокуратуры, красавица!

Он привстал, поднял руку, коснулся пальцами низенького потолка, добавил:

— Касаемо Кубани я с вами тоже спорить не собираюсь. Кубань можно поставить в этих смыслах на одно из первых мест, необычайно высокий процент красавиц.

На Бову слова Даренского сильно подействовали.

Он выругался и плачущим голосом закричал:

— А теперь калмычки, пожалуйста!

— Не скажите! — перебил его Даренский и довольно складно произнес речь о прелести смуглых и скуластых, пропахших полынью и степным дымом женщин. Он вспомнил Аллу Сергеевну из штаба степной армии и закончил свою речь: — Да и вообще вы не правы, женщины всюду есть. В пустыне воды нет, это верно, а дамы есть.

Но Бова не ответил ему. Тут Даренский заметил, что Бова спит, и лишь в этот момент сообразил, что хозяин его был совершенно пьян. Бова спал с храпом, напоминающим стоны умирающего, голова его свесилась с койки. Даренский с тем особым терпением и добротой, которые возникают у русских мужчин к пьяным, подложил Бове под голову подушку, подстелил ему под ноги газету, утер ему слюнявый рот и стал оглядываться, где бы самому устроиться.

Даренский положил на пол шинель хозяина, а поверх хозяйской кинул свою шинель, под голову пристроил свою раздутую полевую сумку, служившую ему в командировках и канцелярией, и продовольственным складом, и вместилищем умывальных принадлежностей.

Он вышел на улицу, вдохнул холодный ночной воздух, ахнул, взглянув на неземное пламя в черном азиатском небе, справил малую нужду, все поглядывая на звезды, подумал: «Да, космос», — и пошел спать.

Он лег на хозяйскую шинель, прикрылся своей шинелью и вместо того, чтобы закрыть глаза, широко раскрыл их, — его поразила безрадостная мысль.

Беспросветная бедность окружает его! Вот и лежит он на полу, глядит на объедки моченых помидоров, на картонный чемодан, в котором, наверное, лежит куцее вафельное полотенце с большим черным клеймом, мятые подворотнички, пустая кобура, продавленная мыльница.

Изба в Верхне-Погромном, где осенью ночевал он, кажется ему сегодня богатой. А через год эта сегодняшняя хибарка покажется роскошной, вспомнится в какой-нибудь яме, где уж не будет бритвы, не будет чемодана, не будет рваных портянок.

За те месяцы, что он работал в штабе артиллерии, в его душе произошли большие перемены. Жажда работы, являвшаяся такой же могучей потребностью, как желание пищи, была удовлетворена. Он уж не чувствует себя счастливым оттого, что работал, ведь не чувствует себя счастливым постоянно сытый человек.

Работал Даренский хорошо, начальство очень ценило его. Первое время это радовало его, — он не привык к тому, что его считали незаменимым, нужным. За долгие годы он привык к обратному.

Даренский не задумывался, почему возникшее в нем чувство превосходства над сослуживцами не рождало в нем снисходительности к товарищам по работе, — черты истинно сильных людей. Но, очевидно, он не был сильным.

Он часто раздражался, кричал и ругался, потом страдальчески смотрел на обиженных им людей, но никогда не просил у них прощения. На него обижались, но не считали его плохим человеком. К нему в штабе Сталинградского фронта относились, пожалуй, еще лучше, чем относились к Новикову в свое время в штабе Юго-Западного. Говорили, что целые страницы его докладных записок используются при отчетах больших людей перед еще большими людьми в Москве. Оказалось, что в трудное время и ум и работа его были важны и полезны. А жена за пять лет до войны ушла от него, считая, что он враг народа, сумевший обманно скрыть от нее свою дряблую, двурушническую сущность. Он часто и не получал работы из-за плохих анкетных данных — и по линии отца, и по линии матери. Сперва он обижался, узнав, что место, в котором ему отказали, занял человек, отличавшийся глупостью либо невежеством. Потом Даренскому представлялось, что действительно ему нельзя доверить ответственную оперативную работу. После лагеря он совсем уж нсерьез стал ощущать свою неполноценность.

И вот в пору ужасной войны оказалось не так.

Натягивая на плечи шинель, отчего ноги сразу ощущали холодный воздух, идущий от двери, Даренский думал о том, что теперь, когда его знания и способности оказались нужны, он валяется на полу в курятнике, слышит пронзительный, отвратительный крик верблюдов, мечтает не о курортах и дачах, а о чистой паре подштанников и о возможности помыться с обмылочком стирального мыла.

Он гордился, что его возвышение не связано ни с чем материальным. Но одновременно это раздражало его.

Его уверенность и самомнение сочетались с постоянной житейской робостью. Жизненные блага, казалось Даренскому, никогда не причитались ему.

Это ощущение постоянной неуверенности, постоянная, ставшая привычной, денежная нужда, всегдашнее ощущение своей бедной, старой одежды были привычны ему с детских лет.

И ныне, в пору успеха, это ощущение не покидало его.

Мысль, что он придет в столовую Военного совета и буфетчица скажет: «Товарищ подполковник, вам надо питаться в столовой Военторга», наполняла его страхом. Потом, где-нибудь на заседании, какой-нибудь генерал-шутник подмигнет: «Ну как, подполковник, наваристый борщ в столовой Военного совета?» Он всегда поражался хозяйской уверенности, с которой не только генералы, но и газетные фотографы ели, пили, требовали бензин, обмундирование, папиросы в тех местах, где им не полагалось ни бензина, ни папирос.

Так шла жизнь, отец его годами не мог устроиться на работу, постоянной кормилицей семьи была мать, работавшая стенографисткой.

Среди ночи Бова перестал храпеть, и Даренский, прислушиваясь к тишине, идущей от его койки, забеспокоился.

Бова неожиданно спросил:

— Вы не спите, товарищ подполковник?

— Нет, не спится, — ответил Даренский.

— Простите, что не устроил вас получше, упился я, — сказал Бова. — А сейчас голова ясная, точно не пил ничего. Вот, понимаете, лежу и думаю: как же это мы очутились в этой жуткой местности? Кто нам помог в такую дыру попасть?

— Кто ж помог, немцы, — ответил Даренский.

— Да вы перебирайтесь на койку, я на пол лягу, — сказал Бова.

— Ну что вы, мне и здесь хорошо.

— Неудобно как-то, по кавказскому обычаю не полагается: хозяин на койке, гость на полу.

— Ничего, ничего, мы не кавказцы.

— Почти уж кавказцы, предгорья Кавказа рядом. Немцы, говорите, помогли, да вот, понимаете, не только немцы, и мы себе помогли.

Бова, очевидно, привстал: койка сильно заскрипела.

— Мд-д-а, — произнес он.

— Да, да, да, — сказал с пола Даренский.

Бова толкнул разговор в особое, необычное русло, и они оба молчали, раздумывая, надо ли начинать такой разговор с человеком малознакомым. И, видимо, раздумье это привело к выводу, что подобный разговор с малознакомым человеком вести не следует.

Бова закурил.

Когда спичка вспыхнула, Даренский увидел лицо Бовы, оно казалось помятым, угрюмым, чужим.

Даренский тоже закурил.

Бова при свете спички увидел лицо Даренского, приподнявшегося на локте, оно казалось холодным и недобрым, чужим.

Именно после этого почему-то и пошел разговор, который не следовало вести.

— Да, — произнес Бова, но на этот раз не протяжно, а коротко и резко, — бюрократизм и бюрократы вот помогли нам докатиться сюда.

— Бюрократизм, — сказал Даренский, — дело плохое. Водитель мой сказал: до войны в деревне такой бюрократизм был, что без пол-литра никто справки не напишет в колхозе.

— А вы не смейтесь, не до смеха, — прервал Бова, — знаете, бюрократизм не шуточка, он в мирное время доводил людей черт знает до чего. А в условиях переднего края бюрократизм может быть и похуже. Вот в летных частях случай: летчик выбросился из горящей машины, «мессер» его сшиб, сам цел остался, а штаны на нем обгорели. И вот, не выдают ему штанов! Скандал прямо, зам. по хозяйственной отказывает: не вышел срок износа, и все! И трое суток летчик просидел без штанов, пока не дошло дело до командира соединения.

— Ну, это, извините, ерунда, — сказал Даренский, — оттого, что где-то дурак замешкался с выдачей штанов, от этого не отступают от Бреста до прикаспийской пустыни...

Бова кисло покряхтел и сказал:

— Разве я говорю, что именно от штанов. А вот вам случай: попало в окружение пехотное подразделение, стали люди голодать. Получила летная часть приказ сбрасывать им продукты на парашютах. А интендантство отказалось выдать продукты, — нам нужно, говорят, чтобы на накладной расписались, а как же они внизу распишутся, если им с самолета будут эти мешки сбрасывать? Уперся нндендант и не дает. Уломали — приказным порядком.

Даренский усмехнулся.

— Комический случай, но опять же мелочь. Педантство. В условиях переднего края бюрократизм может жутко проявить себя. Знаете приказ: «Ни шагу назад»? Вот молотит немец по сотням людей, а стоит отвести их за обратный скат высоты, и люди будут в безопасности, и тактического проигрыша никакого, и техника сохранится. Но вот есть приказ: «Ни шагу назад» — и держат под огнем и губят технику, губят людей.

— Вот, вот, совершенно верно, — сказал Бова, — в сорок первом году двух полковников к нам в армию из Москвы прислали проверить этот самый приказ: «Ни шагу назад». А машины у них не было, а мы за трое суток от Гомеля на двести километров драпанули. Я полковников взял к себе в полуторку, чтобы их немцы не захватили, а они трясутся в кузове и меня просят: «Дайте нам материалы по внедрению приказа: «Ни шагу назад». Отчетность, ничего не поделаешь.

Даренский набрал воздуху в грудь, словно собравшись нырнуть поглубже, и, видимо, нырнул, сказал: «Бюрократизм страшен, когда красноармеец, пулеметчик, защищая высоту, один против семидесяти немцев задержал наступление, погиб, армия склонила, обнажила голову перед ним, а его чахоточную жену вышибают из квартиры и предрайсовета кричит на нее: вон, нахалка! Бюрократизм — это, знаете, когда человеку велят заполнить двадцать четыре анкеты и он в конце концов сам признается на собрании: «Товарищи, я не ваш человек». Вот когда человек

скажет: да, да, государство рабоче-крестьянское, а мои папа и мама дворяне, нетрудовой элемент, гоните меня в шею, тогда — порядок.

— А я в этом бюрократизма не вижу, — возразил Бова. — Действительно так, государство рабоче-крестьянское и управляют им рабочие и крестьяне. Что ж тут плохого? Это справедливо. Буржуазное государство ведь не доверяет голоте.

Даренский опешил, казалось, что собеседник мыслит совсем не в ту сторону.

Бова зажег спичку и, не прикуривая, посветил ею в сторону Даренского.

Даренский прищурился с чувством, с каким попадают на боевом поле в свет чужого прожектора.

А Бова сказал:

— Я вот чистого рабочего происхождения, отец был рабочий, дед — рабочий. Анкета у меня — стеклышко. А оказывается, я тоже не годился до войны.

— Почему же не годились? — спросил Даренский.

— Я не вижу бюрократизма, если в рабоче-крестьянском государстве относятся осмотрительно к дворянам. Но вот почему меня, рабочего, перед войной взяли за шкирку? Я не знал, то ли картошку пойти перебирать на склад Союзплодоовощи, то ли улицы подметать. А я как раз высказывался с классовой точки: покритиковал начальство, уж очень красиво жило. Вот мне и дали по шее. Здесь, по-моему, он и есть, главный корешок бюрократнзма: если рабочий страдает в своем государстве.

Даренский сразу почувствовал, что собеседник в этих своих словах коснулся чего-то очень значительного, и, так как говорить о том, что волновало, пекло душу, не было в его обычае да и не было в привычке слушать это от других, он ощутил нечто непередаваемо хорошее: счастье без оглядки, без страха высказываться, спорить о том, что особенно тревожит ум, будоражит и о чем именно вследствие того, что оно тревожит и будоражит, он ни с кем не говорил.

Но здесь, на полу, в хибарке, ночью в беседе со скромным выпившим и протрезвившимся армейцем, чувствуя вокруг себя присутствие людей, прошедших от Западной Украины до этой пустыни, все, казалось, было по-иному. И простое, естественное, желанное и нужное, но недоступное, немыслимое, искренний разговор человека с человеком, — совершилось!

— В чем вы не правы? — сказал Даренский. — В сенат буржуи не пускают голытьбу, и это верно, но если голоштанник стал миллионером, его пускают в сенат. Форды из рабочих вышли. У нас на командные посты не пускают буржуазию и помещиков, это правильно. Но если ставят каинову печать на человека-трудягу только за то, что его отец или дед были кулаками либо священниками, это совсем другое дело. В этом нет классовой точки зрения. А думаете, не встречал я во время своих лагерных мытарств рабочих-путиловцев и донецких шахтеров? Сколько хочешь! Наш бюрократизм страшен, когда думаешь: это не нарост на теле государства — нарост можно срезать. Он страшен, когда думаешь: бюрократизм и есть государство. А во время войны умирать за начальников отделов кадров никто не хочет. Написать на просьбе «отказать» либо выгнать из кабинета солдатскую вдову может любой холуй. А чтобы выгнать немца, нужно быть сильным, настоящим человеком.

— Это точно, — сказал Бова.

— Я не в обиде. Нnзкий поклон, до земли поклон. И спасибо! Я счастлив! Тут другое плохо: для того, чтобы я был счастлив и мог отдать России свои силы, должно вот такое жуткое время прийти — горькое. Тогда уж и бог с ним, с этим счастьем моим — будь оно проклято.

Даренский ощущал, что все же он не докопался до главного, что составляло суть их разговора, что осветило бы жизнь ясным и простым светом, но вот он размышлял и говорил о том, о чем обычно не размышлял и не говорил, и это доставляло ему радость. Он сказал своему собеседнику:

— Знаете, я никогда в жизни, как бы все ни сложилось, не буду жалеть об этом ночном разговоре с вами.

15

Михаил Сидорович провел более трех недель в изоляторе при ревире. Кормили его хорошо, дважды его осматривал врач-эсэсовец, прописал ему вливание глюкозы.

Первые часы заключения Михаил Сидорович, ожидая вызова на допрос, беспрерывно досадовал на себя: зачем вел разговоры с Иконниковым; очевидно, юродивый его выдал, подсунул ему перед обыском компрометирующие бумаги.

Шли дни, а Мостовского не вызывали. Он обдумывал темы политических бесед с заключенными, размышлял, кого из них можно привлечь к работе. Ночью, в бессоннице, он составлял текст листовок, подбирал слова для лагерного разговорника, чтобы облегчить общение между людьми разных национальностей.

Он припоминал старинные правила конспирации, исключающие возможность всеобщего провала в случае доноса провокаторов.

Михаилу Сидоровичу хотелось расспросить Ершова и Осипова о первых шагах организации: он был уверен, что сумеет преодолеть предубеждение Осипова к Ершову.

Жалким казался ему Чернецов, ненавидящий большевизм и одновременно жаждущий победы Красной Армии. Думая о предстоящем допросе, он был почти спокоен.

Ночью у Михаила Сидоровича был сердечный припадок. Он лежал, упершись головой в стену, в ужасной тоске, какая приходит к умирающим в тюрьмах. От боли Мостовской на время потерял сознание. Он пришел в себя, боль ослабела, грудь, лицо, ладони покрылись потом. В мыслях наступила кажущаяся, мнимая ясность.

Разговор о мировом зле с итальянским священником связался в его памяти с чувством счастья, испытанным мальчиком, когда внезапно хлынул дождь и мальчик вбежал в комнату, где шила мать; с женой, приехавшей к нему в енисейскую ссылку, с ее мокрыми от слез, счастливыми глазами; с бледным Дзержинским, которого он спросил на партийном съезде о судьбе милого юноши эсера. «Расстрелян»,—сказал Дзержинский. Тоскливые глаза майора Кириллова... На санках тащат покрытый простыней труп его друга, в дни ленинградской блокады не принявшего от него помощи.

Мальчишеская вихрастая голова, полная мечтаний, и этот большой лысый череп, прижавшийся к шершавым лагерным доскам.

Прошло несколько времени, и далекое стало уходить, становилось площе, теряло окраску. Казалось, он медленно погружается в прохладную воду. Он заснул, чтобы в предутреннем мраке вновь услышать вой сирены и встретить новый день.

Днем Михаила Сидоровича повели в ревирскую баню. Недовольно вздыхая, он осматривал свои руки, впалую грудь.

«Да, старость не проходит»,—думал он.

Когда солдат-конвоир, разминая в пальцах сигарету, вышел за дверь, узкоплечий рябой лагерник, вытиравший шваброй цементный пол, сказал Мостовскому:

— Ершов велел передать вам сводку. В районе Сталинграда наши отбивают все атаки фрицев. Майор велел передать, что дела в порядке. Майор велел вам писать листовку и передать при следующей бане.

Мостовской хотел сказать, что у него нет карандаша и бумаги, но в это время вошел охранник.

Одеваясь, Михаил Сидорович нащупал в кармане пакет. Там лежали десять кусков сахара, увязанный в тряпочку кусок сала, кусок белой бумаги и огрызок карандаша.

И чувство счастья охватило Мостовского. Может ли он желать большего! Кончить жизнь не в ничтожных тревогах о склерозе, желудке, сердечных спазмах.

Он прижал к груди кусочки сахара, карандашик.

Ночью унтер-офицер эсэсовец вывел его из ревира, повел по улице. Холодный ветер порывами дул в лицо. Михаил Сидорович оглянулся в сторону спящих бараков, подумал: «Ничего, ничего, нервы у товарища Мостовского не сдадут, спите, ребята, спокойно».

Они вошли в двери лагерного управления. Здесь уже не пахло лагерным аммиаком, ощущался холодный табачный дух. Мостовской заметил на полу большой окурок, и ему захотелось поднять его.

Минуя второй этаж, они поднялись на третий, конвоир велел Мостовскому вытереть ноги о половик и сам долго шаркал подошвами. Мостовской, задохнувшийся от подъема по лестнице, старался успокоить дыхание.

Они зашагали по ковровой дорожке, устилавшей коридор.

Милый, спокойный свет шел от ламп—маленьких полупрозрачных тюльпанов. Они прошли мимо полированной двери с небольшой дощечкой «Комендант» и остановились перед такой же нарядной дверью с надписью «Оберштурмбанфюрер Лисс».

Мостовской часто слышал эту фамилию—это был представитель Гиммлера при лагерном управлении. Мостовского смешило, что генерал Гудзь сердился, почему Осипова допрашивал сам Лисс, а его, Гудзя, один из помощников Лисса. Гудзь видел в этом недооценку строевого командования.

Осипов рассказывал, что Лисс допрашивал его без переводчика,—он был рижским немцем, знал русский язык.

В коридор вышел молодой офицер, сказал несколько слов конвойному, впустил Михаила Сидоровича в кабинет, оставив дверь открытой.

Кабинет был пуст. Ковер на полу, цветы в вазе, на стене картина: опушка леса, красные черепичные крыши крестьянских домов.

Мостовской подумал, что попал в кабинет директора скотобойни,—рядом хрип умирающих животных, дымящиеся внутренности, забрызганные кровью люди, а у директора покой, ковры, и только черные телефонные аппараты на столе говорят о связи скотобойни с этим кабинетом.

Враг! Какое простое и ясное слово. Снова вспомнился Чернецов,—какая жалкая судьба в эпоху «штурм унд дранг». Зато в нитяных перчатках. И Мостовской посмотрел на свои ладони и пальцы.

В глубине кабинета открылась дверь. И тут же скрипнула дверь, ведущая в коридор,—видимо, дежурный прикрыл ее, увидя, что Лисс в кабинете.

Мостовской стоял наморщившись, ждал.

— Здравствуйте,—тихо произнес невысокий человек с эсэсовской эмблемой на рукаве серого мундира.

В лице Лисса не было ничего отталкивающего, и потому особенно страшно показалось Михаилу Сидоровичу смотреть на него,—горбоносое лицо, с внимательными темно-серыми глазами, лобастое, с бледными, худыми щеками, придававшими ему выражение трудовой аскетичности.

Лисс выждал, пока Михаил Сидорович прокашлялся, и сказал:

— Мне хочется говорить с вами.

— А мне не хочется говорить с вами,—ответил Мостовской и покосился на дальний угол, откуда должны были появиться помощники Лисса—чернорабочие заплечных дел—ударить старика по уху.

— Я вполне понимаю вас,—сказал Лисс,—садитесь.

И он усадил Мостовского в кресло, сел рядом с ним.

Говорил он по-русски каким-то бестелесным, пепельно-холодным языком, которым пишутся научно-популярные брошюры.

— Вы себя плохо чувствуете?

Михаил Сидорович пожал плечами и ничего не ответил.

— Да, да, я знаю. Я направил к вам врача, он сказал мне. Я вас потревожил среди ночи. Но мне очень хотелось разговаривать с вами.

«Еще бы»,—подумал Михаил Сидорович и сказал:

— Я вызван на допрос. А разговаривать нам с вами не о чем.

— Почему?—спросил Лисс.—Вы смотрите на мой мундир. Но я не родился в нем. Вождь, партия шлют, и люди идут, солдаты партии. Я всегда был теоретиком в партии, я интересуюсь вопросами философии, истории, но я член партии. Разве каждый ваш работник НКВД любит Лубянку?

Мостовской следил за лицом Лисса, и ему подумалось, что это бледное, высоколобое лицо надо нарисовать в самом низу антропологической таблицы, а эволюция пойдет от него вверх и придет к заросшему неандертальскому человеку.

— Если бы Центральный Комитет поручил вам укрепить работу в Чека, разве вы можете отказаться? Отложили Гегеля и пошли. Мы тоже отложили Гегеля.

Михаил Сидорович покосился на говорящего,— странно, кощунственно звучало имя Гегеля, произносимое грязными губами... В трамвайной давке к нему подошел опасный, опытный ворюга и затеял разговор. Стал бы он слушать — он только следил бы за его руками, вот-вот сверкнет его бритва, ударит по глазам.

А Лисс поднял ладони, посмотрел на них, сказал:

— Наши руки, как и ваши, любят большую работу, не боятся грязи.

Михаил Сидорович поморщился, такими нестерпимыми показались движение и слова, повторившие его собственные.

Лисс заговорил быстро, оживленно, точно уже раньше разговаривал с Мостовским и теперь радовался, что может закончить прерванный, недоконченный разговор.

— Нужно двадцать летных часов, и вы сидите в кресле в советском городе Магадане, в своем кабинете. У нас — вы у себя дома, но вам не повезло. Мне очень больно, когда ваша пропаганда начинает вместе с пропагандой плутократий писать про партийную юстицию.

Он покачал головой. И вновь посыпались ошеломляющие, неожиданные, страшные и нелепые слова:

— Когда мы смотрим в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо, мы смотрим в зеркало. В этом трагедия эпохи. Разве вы не узнаете себя, свою волю в нас? Разве для вас мир не есть ваша воля, разве вас можно поколебать, остановить?

Лицо Лисса приблизилось к лицу Мостовского.

— Понимаете вы меня? Я нехорошо владею русским языком, но мне очень хочется, чтобы вы поняли меня. Вам кажется, вы ненавидите нас, но это кажется: вы ненавидите самих себя в нас. Ужасно, правда? Вы понимаете?

Михаил Сидорович решил молчать, Лисс не втянет его в разговор.

Но на миг ему показалось, что человек, вглядывающийся в его глаза, не собирается его обмануть, а искренне напрягается, подбирает слова. Казалось, он жаловался, просил помочь разобраться в том, что мучило его.

Томительно нехорошо стало Михаилу Сидоровичу. Казалось, иголка кольнула в сердце.

— Понимаете, понимаете? — быстро говорил Лисс, и он уже не видел Мостовского, так растревожен был он.— Мы наносим удар по вашей армии, но мы бьем себя. Наши танки прорвали не только вашу границу, но и нашу, гусеницы наших танков давят немецкий национал-социализм. Ужасно, какое-то самоубийство во сне. Это может трагически кончиться для нас. Понимаете? Если мы победим! Мы, победители, останемся без вас, одни против чужого мира, который нас ненавидит.

Слова этого человека легко было опровергнуть. А глаза его еще ближе приблизились к Мостовскому. Но было нечто еще более гадкое, опасное, чем слова опытного эсэсовского провокатора. Было то, что иногда то робко, то зло шевелилось, скреблось в душе и мозгу Мостовского. Это были гадкие и грязные сомнения, которые Мостовской находил не в чужих словах, а в своей душе.

Вот человек боится болезни, злокачественной опухоли, но не ходит к врачу, старается не замечать своих недомоганий, избегает разговоров с близкими о болезнях. И вот ему говорят: «Скажите, а у вас бывают вот такие боли, обычно по утрам, обычно после того как... да, да...»

— Вы понимаете меня, учитель? — спросил Лисс.— Один немецкий человек, вы хорошо знаете его умную работу, сказал, что трагедия всей жизни Наполеона была в том, что он выразил душу Англии и именно в Англии имел своего смертельного врага.

«Ох, лучше бы сразу приступили к мордобою,— подумал Михаил Сидорович и сообразил: — А, это он о Шпенглере».

Лисс закурил, протянул портсигар Мостовскому.

Михаил Сидорович отрывисто сказал:

— Не хочу.

Ему стало спокойней от мысли, что все жандармы в мире, и те, что допрашивали его сорок лет назад, и этот, говорящий о Гегеле и Шпенглере, пользуются одним идиотическим приемом: угощают арестованного папиросами. Да, собственно, все это от расстроенных нервов, от неожиданности — ждал мордобития, и вдруг нелепый, отвратительный разговор. Но ведь и некоторые царские жандармы разбирались в политических вопросах, а были среди них по-настоящему образованные люди, один даже «Капитал» изучал. Но вот интересно — бывало ли такое с жандармом, изучавшим Маркса,— вдруг, где-то в глубине, шевелилась мысль: а может быть, Маркс прав? Что же жандарм переживал тогда? Но уж, во всяком случае, жандарм не становился революционером. Он затаптывал свое сомнение, оставался жандармом... А что, я-то ведь тоже затаптываю свои сомнения. Но я, я ведь остаюсь революционером.

А Лисс, не заметив, что Мостовской отказался от сигареты, пробормотал:

— Да, да, пожалуйста, правильно, очень хороший табак,— закрыл портсигар и совсем расстроился.— Почему вас так удивляет мой разговор? Вы ждали другой разговор? А разве у вас на Лубянке нет образованных людей? Таких, чтобы могли поговорить с академиком Павловым, с Ольденбургом? Но они имеют цель. Но у меня нет тайной цели. Даю вам честное слово. Меня мучит то, что мучит вас.

Он улыбнулся, добавил:

— Честное слово гестаповца, а это не шутка.

Михаил Сидорович повторял про себя: «Молчать, главное — молчать, не вступать в разговор, не возражать».

Лисс продолжал говорить, и снова казалось, что он забывает о Мостовском.

— Два полюса! Конечно, так! Если бы это не было совершенно верно, не шла бы сегодня эта ужасная война. Мы — ваши смертельные враги, да, да. Но наша победа — это ваша победа. Понимаете? А если победите вы, то мы и погибнем, и будем жить в вашей победе. Это как парадокс: проиграв войну, мы выиграем войну, мы будем развиваться в другой форме, но в том же существе.

Для чего это всесильный Лисс, вместо того чтобы смотреть трофейные кинофильмы, пить водку, писать доклад Гиммлеру, читать книги по цветоводству, перечитывать письма дочери, баловаться с молодыми девушками, отобранными с очередного эшелона, либо, приняв лекарство, улучшающее обмен веществ, спать в своей просторной спальне, вызвал к себе ночью старого, пропахшего лагерным зловонием русского большевика?

Что задумал он? Для чего скрывает он свои цели, что хочет выпытать?

Сейчас Михаила Сидоровича не ужасали пытки. Страшно было думать: а вдруг немец не лжет, вдруг говорит он искренне? Просто человеку захотелось поговорить.

Какая отвратительная мысль: они оба больные, оба измучены одной болезнью, но один не выдержал и говорит, делится, а второй молчит, затаился, но слушает, слушает.

А Лисс, как бы, наконец, отвечая на молчаливый вопрос Мостовского, раскрыл лежавшую на столе папку и брезгливо, двумя пальцами, вынул пачку грязных бумаг. И Мостовской сразу узнал их — это были каракули Иконникова.

Лисс, очевидно, рассчитывал, что, внезапно увидя эти подброшенные Иконниковым бумаги, Мостовской придет в смятение...

Но Михаил Сидорович не растерялся. Он смотрел на исписанные Иконниковым страницы почти радостно: все стало ясно, идиотически грубо и просто, как и всегда бывало при полицейских допросах.

Лисс придвинул к краю стола каракули Иконникова, потом потянул рукопись обратно к себе.

Он вдруг заговорил по-немецки.

— Видите, вот это у вас взяли при обыске. С первых слов я понял, что эту дрянь не вы писали, хотя я не знаю вашего почерка.

Мостовской молчал.

Лисс постучал пальцем по бумаге, приглашая — приветливо, настойчиво, доброжелательно.

Но Мостовской молчал.

— Я ошибся? — удивленно спросил Лисс. — Нет! Я не ошибся. У вас и у нас одна гадливость к тому, что здесь написано. Вы и мы стоим вместе, а по другую сторону вот эта дрянь! — И он указал на бумаги Иконникова.

— Давайте, давайте, — торопливо и зло проговорил Мостовской, — перейдем к делу. Эти бумаги? Да, да, они у меня взяты. Вы хотите знать, кто их передал? Не ваше дело. Может быть, я сам написал их. Может быть, вы велели своему агенту сунуть их незаметно мне под матрац. Ясно?

На миг показалось, что Лисс примет вызов, взбесится, крикнет: «У меня есть способы вас заставить отвечать!»

Ему так хотелось этого, так бы все стало просто и легко. Какое простое и ясное слово: враг.

Но Лисс сказал:

— Зачем тут жалкие бумаги? Не все ли равно, кто их писал? Я знаю: не вы и не я. Как мне печально. Подумайте! Кто в наших лагерях, если нет войны, если нет в них военнопленных? В наших лагерях, если нет войны, сидят враги партии, враги народа. Знакомые вам люди, они сидят и в ваших лагерях. И если в спокойное, мирное время наше Управление имперской безопасности включит в германскую систему ваших заключенных, мы их не выпустим, ваши контингенты — это наши контингенты.

Он усмехнулся.

— Тех немецких коммунистов, которых мы посадили в лагерь, вы тоже посадили в лагерь в тридцать седьмом году. Ежов посадил их, и рейхсфюрер Гиммлер посадил их... Будьте гегельянцем, учитель.

Он подмигнул Мостовскому:

— Я думал, в ваших лагерях знание иностранных языков вам пригодилось бы не меньше, чем в наших. Сегодня вас пугает наша ненависть к иудейству. Может быть, завтра вы возьмете себе наш опыт. А послезавтра мы станем терпимей. Я прошел длинную дорогу, и меня вел великий человек. Вас тоже вел великий человек, вы тоже прошли длинную, трудную дорогу. Вы верили, что Бухарин провокатор? Только великий человек мог вести по этой дороге. Я тоже знал Ремма, я верил ему. Но так надо. И вот меня мучит: ваш террор убил миллионы людей, и только мы, немцы, во всем мире понимали: так надо! Совершенно верно! Поймите, как я понимаю вас. Эта война должна ужасать вас. Не должен был Наполеон воевать против Англии.

И новая мысль поразила Мостовского. Он даже зажмурился — то ли от внезапной рези в глазах, то ли хотелось избавиться от этой мучительной мысли. Ведь сомнения его, быть может, не были знаком слабости, бессилия, грязной раздвоенности, усталости, неверия. Может быть, эти сомнения, изредка то робко, то зло вдруг охватывавшие его, и были самым честным, самым чистым, что жило в нем. А он давил их, отталкивал, ненавидел. Может быть, в них-то и есть зерно революционной правды? В них динамит свободы!

Для того чтобы оттолкнуть Лисса, его скользкие, липучие пальцы, нужно лишь перестать ненавидеть Чернецова, перестать презирать юродивого Иконникова! Но нет, нет, еще больше! Нужно отказаться от того, чем жил всю жизнь, осудить то, что защищал и оправдывал.

Но нет, нет, еще больше! Не осудить, а всей силой души, всей революционной страстью своей ненавидеть лагеря, Лубянку, кровавого Ежова, Ягоду, Берию! Но мало, — Сталина, его диктатуру!

Но нет, нет, еще больше! Надо осудить Ленина! Край пропасти!

Вот она, победа Лисса, победа не в той войне, что шла на полях сражения, а в той, полной змеиного яда, идущей без выстрелов войне, которую вел против него сейчас гестаповец.

Казалось, безумие сейчас охватит его. И вдруг он легко и радостно вздохнул. Мысль, на миг ужаснувшая и ослепившая его, обратилась в пыль, казалась смешной и жалкой. Наваждение длилось несколько секунд. Но неужели даже на секунду, на долю секунды он мог всерьез усомниться в правоте великого дела?

Лисс посмотрел на него, пожевал губами, продолжая говорить:

— На нас сегодня смотрят с ужасом, а на вас с любовью и надеждой? Поверьте, кто смотрит на нас с ужасом — и на вас смотрит с ужасом.

Теперь уж ничто не было страшно Михаилу Сидоровичу. Теперь он знал цену своим сомнениям. Не в болото вели они, как думал он раньше, а в пропасть!

Лисс взял в руки бумаги Иконникова.

— Зачем вы имеете дело с такими людьми? Эта проклятая война все перепутала, все смешала. Ах, если б я имел силу распутать эту путаницу.

— Нету путаницы, господин Лисс. Все ясно, все просто. Не в союзе с Иконниковым и Чернецовым мы осилили вас. Мы достаточно сильны, чтобы расправиться и с вами, и с ними.

Мостовской видел: Лисс объединял все темное, а мусорные ямы одинаково пахнут, все обломки, щепа, битый кирпич одинаковы. Не в мусоре нужно искать существо различия и сходства, а в замысле строителя, в его мысли.

И торжествующая, счастливая злоба не только против Лисса и Гитлера, но и против английского офицера с бесцветными глазами, спрашивавшего его о критике марксизма, против омерзительных речей одноглазого, против раскисляя-проповедника, оказавшегося полицейским агентом, охватила его. Где, где найдут эти люди идиотов, которые поверят, что есть хоть тень сходства между социалистическими государствами и фашистской империей? Лисс, гестаповец, единственный потребитель их гнилого товара. В эти минуты, как никогда раньше, Михаил Сидорович понял внутреннюю связь между фашизмом и его агентами.

И не в этом ли, подумал Михаил Сидорович, гений Сталина: ненавидя и истребляя подобных людей, он один видел тайное братство фашизма с фарисеями, проповедниками ложной свободы. И мысль эта казалась ему настолько очевидной, что он захотел сказать о ней Лиссу, объяснить ему нелепость его построений. Но он только усмехнулся, он старый воробей, он не дурак Гольденберг, болтавший о делах народовольцев с прокурором судебной палаты.

Уперши глаза прямо на Лисса, громко, — вероятно, голос его слышала стоявшая под дверью охрана, — он сказал:

— Мой совет вам, не теряйте зря время со мной. Ставьте меня к стенке, сразу вздерните, укокошьте.

Лисс поспешно проговорил:

— Вас никто не хочет кокошить. Успокойтесь, пожалуйста.

— Я не беспокоюсь, — весело сказал Мостовской, — я не собираюсь беспокоиться.

— Надо, надо беспокоиться! Пусть моя бессонница будет вашей бессонницей. В чем, в чем причина нашей вражды, я не могу понять ее... Адольф Гитлер не фюрер, а лакей Стиннесов и Круппов? У вас нет частной собственности на землю? Фабрики и банки принадлежат народу? Вы интернационалисты, мы проповедуем расовую ненависть? Мы подожгли, а вы стараетесь потушить? Нас ненавидят, а на ваш Сталинград смотрит с надеждой человечество? Так говорят у вас? Чепуха! Пропасти нет! Ее выдумали. Мы форма единой сущности — партийного государства. Наши капиталисты не хозяева. Государство дает им план и программу. Государство забирает их продукцию и прибыль. Они имеют шесть процентов от прибыли для себя — это их заработная плата. Ваше партийное государство тоже определяет план, программу, забирает продукцию. Те, кого вы называете хозяевами, рабочие — тоже получают заработную плату от вашего партийного государства.

Михаил Сидорович смотрел на Лисса и думал: «Неужели эта подлая болтовня на миг смутила меня? Неужели я мог захлебнуться в этом потоке ядовитой, смердящей грязи?»

Лисс с безнадежностью махнул рукой.

— И над нашим народным государством красное рабочее знамя, и мы зовем к национальному и трудовому подвигу и единству, и мы говорим: «Партия выражает мечту рабочего немецкого». И вы говорите:

«Народность, труд». Вы, как и мы, знаете: национализм — главная сила двадцатого века. Национализм — душа эпохи! Социализм в одной стране — высшее выражение национализма!

Я не вижу причину нашей вражды. Но гениальный учитель и вождь немецкого народа, наш отец, лучший друг немецких матерей, величайший и мудрый стратег начал эту войну. Но я верю в Гитлера! Я верю, что голова вашего Сталина не затуманена гневом и болью. Он видит правду через дым и огонь войны. Он знает своего врага. Знает, знает, даже теперь, когда обсуждает с ним стратегию войны против нас и пьет бокал за его здоровье. На земле есть два великих революционера: Сталин и наш вождь. Их воля родила национальный социализм государства.

Для меня братство с вами важней, чем война с вами из-за восточного пространства. Мы строим два дома, они должны стоять рядом. Мне хочется, учитель, чтобы вы пожили в спокойном одиночестве и думали, думали перед нашей новой беседой.

— К чему? Глупо! Бессмысленно! Нелепо! — сказал Мостовской. — И к чему это идиотское обращение «учитель»!

— О, оно не идиотское, вы и я должны понимать: будущее решается не на полях сражения. Вы лично знали Ленина. Он создал партию нового типа. Он первый понял, что только партия и вождь выражают импульс нации, и покончил Учредительное собрание. Но Максвелл в физике, разрушая механику Ньютона, думал, что утверждает ее, так Ленин, создавая великий национализм двадцатого века, считал себя создателем Интернационала. Потом Сталин многому нас научил. Для социализма в одной стране надо ликвидировать крестьянскую свободу сеять и продавать, и Сталин не задрожал — ликвидировал миллионы крестьян. Наш Гитлер увидел: немецкому национальному, социалистическому движению мешает враг — иудейство. И он решил ликвидировать миллионы евреев. Но Гитлер не только ученик, он гений! Ваше очищение партии в тридцать седьмом году Сталин увидел в нашем очищении от Ремма — Гитлер тоже не задрожал... Вы должны поверить мне. Я говорил, а вы молчали, но я знаю, я для вас хирургическое зеркало.

Мостовской произнес:

— Зеркало? Все, что вы сказали, — ложь от первого до последнего слова. Ниже моего достоинства опровергать вашу грязную, зловонную, провокационную болтовню. Зеркало? Да вы что, окончательно обалдели? Сталинград вас приведет в чувство.

Лисс встал, и Мостовской в смятении, восторге, ненависти подумал: «Сейчас застрелит — и конец!»

Но Лисс словно не слышал слов Мостовского, почтительно и низко склонился перед ним.

— Учитель, — сказал он, — вы всегда будете учить нас и всегда у нас учиться. Будем думать вместе.

Лицо его было печально и серьезно, а глаза смеялись.

И снова ядовитая иголочка кольнула сердце Михаила Сидоровича. Лисс посмотрел на часы.

— Время не проходит так, даром.

Он позвонил, негромко сказал:

— Возьмите, если вам нужно, это сочинение. Мы скоро увидимся. Гуте нахт.

Мостовской, сам не зная для чего, взял бумаги со стола и сунул их в карман.

Его вывели из здания управления, он вдохнул холодный воздух, — как хороша была эта сырая ночь, завывание сирен в дорассветном мраке после гестаповского кабинета, тихого голоса национал-социалистического теоретика.

Когда его подвели к ревиру, по грязному асфальту проехала легковая машина с фиолетовыми фарами. Мостовской понял, что Лисс ехал на отдых, и с новой силой Михаила Сидоровича охватила тоска. Конвойный ввел его в бокс, запер дверь.

Он сел на нары, подумал: «Если б я верил в бога, то решил бы, что этот страшный собеседник мне послан в наказание за мои сомнения».

Спать он не мог, уже начинался новый день. Опершись спиной об стену, сколоченную из занозистых шершавых еловых досок, Михаил Сидорович стал вчитываться в каракули Иконникова.

16

«Большинство живущих на земле людей не задается мыслью определить «добро». В чем оно, добро? Кому добро? От кого добро? Есть ли добро общее, применимое ко всем людям, ко всем племенам, ко всем положениям жизни? Или мое добро в зле для тебя, добро моего народа в зле для твоего народа? Вечно ли, неизменно ли добро, или вчерашнее добро сегодня становится пороком, а вчерашнее зло сегодня есть добро?

Приходит пора страшного суда, и о добре и зле задумываются не только философы и проповедники, а все люди, грамотные и безграмотные.

Подвинулись ли за тысячелетия люди в своих представлениях о добре? Есть ли это понятие, общее для всех людей, несть эллина и иудея, как полагали евангельские апостолы? Несть классов, наций, государств? А быть может, понятие еще более широкое, общее и для животных, для деревьев, мха, то самое широкое, которое вложили в понятие добра Будда и его ученики? Тот Будда, который, чтобы объять добром и любовью жизнь, должен был прийти к ее отрицанию.

Я вижу: возникающие в смене тысячелетий представления морально-философских вождей человечества ведут к сужению понятия добра.

Христианские представления, отделенные пятью веками от буддийских, сужают мир живого, к которому применимо добро. Не все живое, а лишь люди!

Добро первых христиан, добро всех людей сменилось добром для одних лишь христиан, а рядом жило добро для мусульман.

Но прошли века, и добро христиан распалось на добро католиков, протестантов, добро православия. И в добре православия возникло добро старой и новой веры.

И рядом шло добро богатых и добро бедных, рядом рождалось добро желтых, черных, белых.

И, все дробясь и дробясь, уже рождалось добро в круге секты, расы, класса, все, кто был за замкнутой кривой, уже не входили в круг добра.

И люди увидели, что много крови пролито из-за этого малого, недоброго добра во имя борьбы этого добра со всем тем, что считало оно, малое добро, злом.

И иногда само понятие такого добра становилось бичом жизни, большим злом, чем зло.

Такое добро пустая шелуха, из которой выпало, утерялось святое зернышко. Кто вернет людям утерянное зерно?

Что же есть добро? Говорили так: добро — это помысел и связанное с помыслом действие, ведущее к торжеству, силе человечества, семьи, нации, государства, класса, верования.

Те, кто борется за свое частное добро, стремятся придать ему видимость всеобщности. Поэтому они говорят: мое добро совпадает с всеобщим добром, мое добро необходимо не только мне, оно необходимо всем. Делая добро частное, я служу добру всеобщему.

Так, добро, потеряв всеобщность, добро секты, класса, нации, государства, стремится придать себе ложную всеобщность, чтобы оправдать свою борьбу со всем тем, что является для него злом.

Но ведь и Ирод проливал кровь не ради зла, а ради своего Иродова добра. Новая сила пришла в мир и грозила гибелью ему, его семье, его любимцам и друзьям, его царству, его войску.

Но родилось не зло — родилось христианство. Никогда человечество не слышало таких слов: «Не судите, да не судимы будете. Ибо... каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой мерите, той мерой и вам будут мерить... Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки».

Что принесло людям это учение мира и любви?

Византийское иконоборство, пытки инквизиции, борьба с ересями во Франции, в Италии, Фландрии, Германии, борьба протестантства и католичества, коварство монашеских орденов, борьба Никона и Аввакума, многовековый гнет, давивший на науку и свободу, христианские истребители языческого населения Тасмании, злодеи, выжигавшие негритянские деревни в Африке. Все это стоило большего количества страданий, чем злодеяния разбойников и злодеев, творивших зло ради зла...

Такова потрясающая и сжигающая ум судьба самого человеческого учения человечества, оно не избежало общей участи и тоже распалось на круги частного, малого добра. Жестокость жизни порождает добро в великих сердцах, они несут добро обратно в жизнь, полные желания изменить жизнь по подобию живущего в них добра. Но не круги жизни меняются по образу и подобию идеи добра, а идея добра, увязшая в жизненном болоте, дробится, теряет свою всеобщность, служит сегодняшней жизни, не лепит жизни по прекрасному, но бесплотному образу своему.

Движение жизни всегда воспринимается сознанием человека как борьба добра и зла, но это не так. Люди, желающие человечеству добра, бессильны уменьшить зло жизни.

Нужны великие идеи, чтобы рыть новое русло, своpачивать камни, рушить скалы, сносить леса, нужны мечты о всеобщем добре, чтобы великие воды дружно текли. Если бы море было наделено мыслью, то при каждой буре в его водах возникала бы идея и мечта счастья и каждая морская волна, дробясь о скалу, считала, что гибнет ради добра морских вод, ей не приходило бы в голову, что ее подняла сила ветра, так же как сила ветра подняла тысячи волн, бывших до нее, и поднимет тысячи тех, что будут после.

Множество книг написано о том, как бороться со злом, о том, что же зло и что добро.

Но печаль всего этого бесспорна — и вот она: там, где поднимается заря добра, которое вечно и никогда не будет побеждено злом, тем злом, которое тоже вечно, но никогда не победит добра, там гибнут младенцы и старцы и льется кровь. Не только люди, но и Бог бессилен уменьшить зло жизни.

«Глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий: Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет», — и ей, потерявшей своих детей, безразлично, что мудрецы считают добром, а что они считают злом.

Но, может быть, жизнь — зло?

Я увидел непоколебимую силу идеи общественного добра, рожденной в моей стране. Я увидел эту силу в период всеобщей коллективизации, я увидел ее в 1937 году. Я увидел, как во имя идеи добра, столь же прекрасного и человечного, как идеал христианства, уничтожались люди. Я увидел деревни, умирающие голодной смертью, я увидел крестьянских детей, умирающих в сибирском снегу, я видел эшелоны, везущие в Сибирь сотни и тысячи мужчин и женщин из Москвы, Ленинграда, из всех городов России, объявленных врагами великой и светлой идеи общественного добра. Эта идея была прекрасна и велика, и она беспощадно убила одних, исковеркала жизнь другим, она отрывала жен от мужей, детей от отцов.

Ныне великий ужас германского фашизма встал над миром. Вопли и стоны казненных заполнили воздух. Небо стало черным, погашено солнце в дыму крематорных печей.

Но и эти невиданные не только во всей Вселенной, но даже человеком на земле преступления творятся во имя добра.

Когда-то я, живя в северных лесах, вообразил, что добро не в человеке, не в хищном мире животных и насекомых, а в молчаливом царстве деревьев. Но нет! Я увидел движение леса, его коварную битву за землю с травами и кустарниками. Миллиарды летучих семян, прорастая, убивают траву, вырезывают дружественный кустарник, миллионы ростков победившего самосева вступают в битву друг с другом. И лишь те, кто выживает, образуют единый полог молодого светолюбивого леса, вступают между собою в союз равных по силе. Ели и буки прозябают в сумеречной каторге под пологом светолюбивого леса.

Но приходит для светолюбивых пора дряхлости, и из-под их полога к свету вырываются тяжеловесные ели, казнят ольху и березу.

Так живет лес в вечной борьбе всех против всех. Лишь слепые мыслят мир добра в царстве деревьев и трав. Неужели жизнь — зло?

Добро не в природе, не в проповеди вероучителей и пророков, не в учениях великих социологов и народных вождей, не в этике философов... И вот обыкновенные люди несут в своих сердцах любовь к живому, естественно и непроизвольно любят и жалеют жизнь, радуются теплу очага после трудового дня работы и не зажигают костров и пожаров на площадях.

И вот, кроме грозного большого добра, существует житейская человеческая доброта. Это доброта старухи, вынесшей кусок хлеба пленному, доброта солдата, напоившего из фляги раненого врага, это доброта молодости, пожалевшей старость, доброта крестьянина, прячущего на сеновале старика еврея. Это доброта тех стражников, которые передают с опасностью для собственной свободы письма пленных и заключенных не товарищам по убеждениям, а матерям и женам.

Это частная доброта отдельного человека к отдельному человеку, доброта без свидетелей, малая, без мысли. Ее можно назвать бессмысленной добротой. Доброта людей вне религиозного и общественного добра.

Но задумаемся и увидим: бессмысленная, частная, случайная доброта вечна. Она распространяется на все живущее, даже на мышь, на ту ветку, которую, вдруг остановившись, поправляет прохожий, чтобы ей удобно и легче было вновь прирасти к стволу.

В ужасные времена, когда среди безумий, творимых во имя славы государств и наций и всемирного добра, в пору, когда люди уже не кажутся людьми, а лишь мечутся, как ветви деревьев, и, подобно камням, увлекающим за собой камни, заполняют овраги и рвы, в эту пору ужаса и безумия бессмысленная, жалкая доброта, радиевой крупицей раздробленная среди жизни, не исчезла.

Пришли в деревню немцы, каратели. Накануне на дороге убили двух немецких солдат. С вечера согнали баб, велели рыть яму на опушке леса. На квартиру к одной пожилой женщине поставили несколько солдат. Ее мужа вызвал полицай и повел в контору, оказалось, туда согнали еще двадцать крестьян. Она до утра не спала — немцы нашли в подполе лукошко с яйцами и склянку меда, сами растопили печь, жарили яичницу, пили водку. Потом тот, что постарше, играл на губной гармошке, остальные стучали ногами, подпевали. На хозяйку они не смотрели, словно она не человек, а кошка. Утром, когда рассвело, они стали проверять автоматы, один, тот, что постарше, неловко дернул за спусковой крючок и выстрелил себе в живот. Поднялся крик, суета. Кое-как немцы перевязали раненого, положили на кровать. Тут их всех позвали. Они знаками велели женщине смотреть за раненым. Женщина видит — его придушить ничего не стоит: то бормочет, то закрывает глаза, плачет, плямкает губами. Потом вдруг открыл глаза и ясно так сказал: «Матка, воды». «Ох ты, окаянный, — сказала женщина, — задушить бы тебя». И подала ему воды. А он схватил ее за руку, показывает, посади меня, кровь мне дышать не дает. Она его приподняла, а он руками за ее шею держится. А тут стрельба по селу пошла, бабу так и затрясло.

Потом она рассказывала, как было, но никто не понял, и она объяснить не могла.

Это доброта, осужденная за бессмысленность свою в басне о пустыннике, отогревшем на груди змею. Это доброта, милующая тарантула, кусающего ребенка. Безумная, вредная, слепая доброта!

Люди с удовольствием подбирают в баснях и рассказах примеры того вреда, который приносит и может принести эта бессмысленная доброта. Не надо опасаться ее! Бояться ее все равно что бояться пресноводной рыбки, случайно занесенной из реки в соленый океан.

Вред, изредка творимый обществу, классу, расе, государству бессмысленной добротой, меркнет в свете, который исходит от людей, наделенных ею.

Она, эта дурья доброта, и есть человеческое в человеке, она отличает человека, она высшее, чего достиг дух человека. Жизнь не есть зло, говорит она.

Эта доброта бессловесна, бессмысленна. Она инстинктивна, она слепа. В тот час, когда христианство облекло ее в учение отцов церкви, она стала меркнуть, зерно обратилось в шелуху. Она сильна, пока нема, бессознательна и бессмысленна, пока она в живом мраке человеческого сердца, пока не стала орудием и товаром проповедников, пока рудное золото ее не перековано в монету святости. Она проста, как жизнь. Даже проповедь Иисуса лишила ее силы,— сила ее в немоте человеческого сердца.

Но, усомнившись в человеческом добре, я усомнился и в доброте. Я горюю о ее бессилии! Что пользы в ней, она не заразительна.

Я подумал — она бессильна, прекрасна и бессильна, как роса.

Как превратить ее в силу, не иссушив, не растеряв ее, как иссушила и растеряла ее церковь. Доброта сильна, пока бессильна! Едва человек хочет превратить ее в силу, она теряет себя, меркнет, тускнеет, исчезает.

Теперь я вижу подлинную силу зла. В небесах пусто. На земле лишь человек. Чем тушить зло? Каплями живой росы, человеческой добротой? Но ведь это пламя не потушить водой всех морей и облаков, не потушить его скупой горстью росы, собранной с евангельских времен по сегодняшний железный день...

Так, потеряв веру найти добро в Боге, в природе, я стал терять веру и в доброту.

Но чем шире, больше открывалась мне тьма фашизма, тем ясней видел я — человеческое неистребимо продолжает существовать в людях на краю кровавой глины, у входа в газовню.

Я закалил свою веру в аду. Моя вера вышла из огня кремационных печей, прошла через бетон газовен. Я увидел, что не человек бессилен в борьбе со злом, я увидел, что могучее зло бессильно в борьбе с человеком. В бессилии бессмысленной доброты тайна ее бессмертия. Она непобедима. Чем глупей, чем бессмысленней, чем беспомощней она, тем огромней она. Зло бессильно перед ней! Пророки, вероучители, реформаторы, лидеры, вожди бессильны перед ней. Она — слепая и немая любовь — смысл человека.

История людей не была битвой добра, стремящегося победить зло. История человека — это битва великого зла, стремящегося размолоть зернышко человечности. Но если и теперь человеческое не убито в человеке, то злу уже не одержать победы».

Окончив чтение, Мостовской несколько минут сидел, полузакрыв глаза.

Да, это написано потрясенным человеком. Катастрофа убогого духа! Раскисляй объявил, что небеса пусты... Он видит жизнь, как войну всех против всех. А под конец он поиграл старыми бубенцами, добротой старушек, и собирается клистирной спринцовочкой потушить мировой огонь. Как все это ничтожно!

Глядя на серую стену одиночки, Михаил Сидорович вспомнил голубое кресло, разговор с Лиссом, и тяжелое чувство охватило его. Это была не головная тоска — затосковало сердце, дышать стало трудно. Видимо, он напрасно заподозрил Иконникова. Писания юродивого вызвали презрительное отношение не только у него, но и у его отвратительного ночного собеседника. Он снова подумал о своем чувстве к Чернецову и о презрении и ненависти, с которыми говорил гестаповец о подобных людях. Мутная тоска, охватившая его, казалась тяжелей физических страданий.

17

Сережа Шапошников указал на лежавшую на кирпиче, возле вещевого мешка книжку и сказал:

— Читала?

— Перечитывала.

— Нравится?

— Я больше люблю Диккенса.

— Ну, Диккенс.

Он говорил насмешливо, свысока.

— А «Пармский монастырь» тебе нравится?

— Не очень,— подумав, ответил он и добавил: — Сегодня пойду с пехотой вышибать немцев из соседней хаты.— Он понял ее взгляд и сказал: — Греков, ясно, приказал.

— А другие минометчики, Ченцов?

— Нет, только я.

Они помолчали.

— Он лезет к тебе?

Она кивнула.

— А ты?

— Ты ведь знаешь.— И она подумала о бедных Азрах.

— Мне кажется, сегодня меня кокнут.

— Почему тебя с пехотой, ты минометчик.

— А зачем он тебя тут держит? Передатчик разбит вдребезги. Давно бы надо отослать в полк, вообще на левый берег. Тебе тут делать нечего. Невеста без места.

— Зато мы видимся каждый день.

Он махнул рукой и пошел.

Катя оглянулась. Со второго этажа глазел, посмеивался Бунчук. Видимо, и Шапошников увидел Бунчука и потому внезапно ушел.

До вечера немцы обстреливали дом из пушек, трое были легко ранены, обвалилась внутренняя стена и засыпала выход из подвала, его раскопали, а снаряд вновь свалил кусок стены и снова засыпал выход из подвала, и его снова стали откапывать.

Анциферов заглянул в пыльную полутьму и спросил:

— Эй, товарищ радист, вы живая?

— Да,— ответила из полутьмы Венгрова и чихнула, сплюнула красным.

— Будьте здоровы,— сказал сапер.

Когда стемнело, немцы стали жечь ракеты, стреляли из пулеметов, несколько раз прилетал бомбардировщик и бросал фугаски. Никто не спал. Греков сам стрелял из пулемета, два раза пехота, страшно матерясь и прикрыв лицо саперными лопатками, кидалась отбивать немцев.

Немцы словно чувствовали, что готовится нападение на недавно занятый ими ничейный, бесхозный дом.

Когда стихла стрельба, Катя слышала, как они галдели, даже их смех доходил довольно ясно.

Немцы жутко картавили, произносили слова не так, как преподаватели на курсах иностранных языков. Она заметила, что котенок слез со своей подстилки. Задние лапы его были неподвижны, он полз на одних передних, спешил добраться к Кате.

Потом он перестал ползти, челюсти его несколько раз открылись и закрылись... Катя попыталась приподнять его опустившееся веко. «Подох»,— подумала она и ощутила чувство брезгливости. Вдруг она поняла, что зверек, охваченный предчувствием уничтожения, думал о ней, полз к ней уже полупарализованный... Она положила трупик в яму, присыпала его кусками кирпича.

Свет ракеты заполнил подвал, и ей представлялось, что в подвале нет воздуха, что она дышит какой-то кровянистой жидкостью, что эта жидкость течет с потолка, выступает из каждой кирпичины.

Вот немцы лезут из дальних углов, подбираются к ней, сейчас ее схватят, поволокут. Необычайно близко, совсем рядом тыркали их автоматы. Может быть, немцы очищают второй этаж? Может быть, не снизу появятся они, а посыплются сверху, из пролома в потолке?

Чтобы успокоиться, она старалась представить себе карточку, прибитую к двери: «Тихомировы — 1 звонок, Дзыга — 2 зв., Черемушкины — 3 зв., Фейнберг — 4 зв., Венгровы — 5 зв., Андрющенко — 6 зв., Пегов — 1 продолжительный...» Она старалась представить себе большую кастрюлю Фейнбергов, стоящую на керогазе и прикрытую фанерной дощечкой, обтянутое мешковым чехлом корыто Анастасии Степановны Андрющенко, тихомировский таз с отбитой эмалью, висящий на веревочном ушке. Вот она стелет себе постель и подкладывает под простыню на особо злые пружины коричневый мамин платок, кусок ватина, распоротое демисезонное пальто.

Потом она думала о доме «шесть дробь один». Теперь, когда гитлеровцы прут, лезут из-под земли, не казались обидчиками грубые матер-

щинники, не пугал ее взгляд Грекова, от которого она краснела не только лицом, но шеей, плечами под гимнастеркой. Сколько ей пришлось выслушать похабств за эти военные месяцы! Какой плохой разговор пришлось ей вести с лысым подполковником «беспроволочной связью», когда он, блестя металлом зубов, намекал, что в ее воле остаться на заволжском узле связи... Девочки пели вполголоса грустную песенку:

...А однажды осеннею ноченькой
Командир приласкал ее сам.
До утра называл ее доченькой.
И с тех пор уж пошла по рукам...

Она не трус, просто пришло такое внутреннее состояние.

В первый раз она увидела Шапошникова, когда он читал стихи, и она подумала тогда: «Какой идиот». Потом он исчез на два дня, и она стеснялась спросить о нем и все думала, не убили ли его. Потом он появился ночью, неожиданно, и она слышала, как он сказал Грекову, что ушел без разрешения из штабного блиндажа.

— Правильно,— сказал Греков.— Дезертировал к нам на тот свет.

Отходя от Грекова, Шапошников прошел мимо нее и не посмотрел, не оглянулся. Она расстроилась, потом рассердилась и снова подумала: «Дурак».

Потом она слышала разговор жильцов дома, они говорили, у кого больше шансов первому переспать с Катей. Один сказал: «Ясно, Греков». Второй говорил: «Это не факт. Вот кто в списке на последнем месте, я могу сказать — Сережа-минометчик. Девочка чем моложе, тем ее больше к опытному мужику тянет».

Потом она увидела, как заигрывания, шуточки с ней почти прекратились. Греков не скрывал, что ему неприятно, когда Катю затрагивают жильцы дома.

Однажды бородатый Зубарев назвал ее «эй, супруга управдома».

Греков не спешил, но он, видимо, был уверен, и она ощутила его уверенность. После того, как радиопередатчик был разбит осколком авиабомбы, он велел ей устроиться в одном из отсеков глубокого подвала.

Вчера он сказал ей: «Я таких девушек, как ты, не видел никогда в жизни,— и добавил: — Встретил бы я тебя до войны, женился бы на тебе».

Она хотела сказать, что надо бы и ее спросить об этом, но промолчала, не решилась.

Он не сделал ей ничего дурного, не сказал ей грубого, нахального слова, но, думая о нем, она испытывала страх.

Вчера же он грустно сказал ей:

— Скоро немец начнет наступление. Вряд ли кто из наших жильцов уцелеет. Клин немецкий в наш дом уперся.

Он медленным, внимательным взглядом осмотрел ее, и Кате стало страшно не от мысли о предстоящем немецком наступлении, а от этого медленного, спокойного взгляда.

— Зайду к тебе,— сказал он. Казалось, не было связи между этими словами и словами о том, что вряд ли кто уцелеет после немецкого наступления, но связь была, и Катя поняла ее.

Он не походил на тех командиров, которых она видела под Котлубанью. С людьми говорил он без крика, без угроз, а слушались его все. Сидит, покуривает, рассказывает, слушает, не отличишь от солдат. А авторитет огромный.

С Шапошниковым она почти не разговаривала. Ей иногда казалось, он влюблен в нее и бессилен, как и она, перед человеком, который их обоих восхищает и страшит. Шапошников был слаб, неопытен, но ей хотелось просить его защиты, сказать ему: «Посиди возле меня». То ей хотелось самой утешить его. Удивительно странно было разговаривать с ним,— словно не было ни войны, ни дома «шесть дробь один». А он, как бы чувствуя это, нарочно старался казаться грубей, однажды он даже матюгнулся при ней.

И сейчас ей казалось, что между ее неясными мыслями и чувствами и тем, что Греков послал Шапошникова на штурм немецкого дома, была какая-то жестокая связь.

Прислушиваясь к стрельбе автоматов, она представляла себе, что Шапошников лежит на красном кирпичном кургане, свесив мертвую нестриженую голову.

Пронзительное чувство жалости к нему охватило ее, в душе ее смешались и пестрые ночные огни, и ужас перед Грековым, и восхищение перед ним, начавшим наступление на немецкие железные дивизии из одиноких развалин, и мысли о матери.

Она подумала, что все в жизни отдаст, лишь бы увидеть Шапошникова живым.

«А если скажут: маму либо его?» — подумала она.

Потом ей послышались чьи-то шаги, она вцепилась пальцами в кирпич, вслушивалась.

Стрельба затихла, все было тихо.

Стала чесаться спина, плечи, ноги под коленями, но она боялась почесаться, зашуршать.

Батракова все спрашивали, отчего он чешется, и он отвечал:

— Это нервное.— А вчера он сказал: — Нашел на себе одиннадцать вшей.— И Коломийцев смеялся: «Нервная вошь напала на Батракова».

Она убита, и бойцы тащат ее к яме, говорят:

— Совсем бедная девка завшивела.

А может быть, это действительно нервное? И она поняла, что к ней в темноте идет человек, не мнимый, воображаемый, который возникал из шорохов, из обрывков света и обрывков тьмы, из сердечного замирания. Катя спросила:

— Кто идет?

— Это я, свой,— ответила темнота.

18

— Сегодня штурма не будет. Греков отменил на завтрашнюю ночь. Сегодня немцы сами все время лезут. Между прочим, хочу сказать, этого самого «Монастыря» я никогда не читал.

Она не ответила.

Он старался разглядеть ее во тьме, и, исполняя его желание, огонь взрыва осветил ее лицо. А через секунду вновь стемнело, и они, молча условившись, ожидали нового взрыва, мелькания света. Сергей взял ее за руку. Он сжал ее пальцы. Он впервые в жизни держал в руке девичью руку.

Грязная, завшивевшая радистка сидела тихо, ее шея светилась в темноте.

Вспыхнул свет ракеты, и они сблизили головы. Он обнял ее, и она зажмурила глаза, они оба знали школьный рассказ: кто целуется с открытыми глазами, тот не любит.

— Ведь это не шутка, правда? — спросил он.

Она сжала ладонями его виски, повернула его голову к себе.

— Это на всю жизнь,— медленно сказал он.

— Удивительно,— сказала она,— вот я боюсь: вдруг кто-нибудь придет. А до этого каким мне казалось счастьем, кто бы ни пришел: Ляхов, Коломейцев, Зубарев...

— Греков,— подсказал он.

— Ой, нет,— сказала она.

Он стал целовать ее шею и отстегнул железную пуговицу на ее гимнастерке, коснулся губами ее худенькой ключицы, грудь он не решился целовать. А она гладила его жесткие, немытые волосы, как будто он был ребенком, а она уже знала, что все происходящее сейчас неизбежно, что так уж оно должно происходить.

Он посмотрел на светящийся циферблат часов.

— Кто поведет вас завтра? — спросила она.— Греков?

— Зачем об этом? Сами пойдем, зачем нас водить.

Он снова обнял ее, и у него вдруг похолодели пальцы, похолодело в груди от решимости и волнения. Она полулежала на шинели, казалось, не дышала. Он прикасался то к грубой, пыльной на ощупь ткани гимнастерки и юбки, то к шершавым кирзовым сапогам. Он ощутил рукой тепло ее тела. Она попыталась присесть, но он стал целовать ее. Вновь вспых-

нул свет и на мгновение осветил упавшую на кирпичи Катину пилотку, ее лицо, показавшееся ему в эти секунды незнакомым. И тотчас снова стало темно, особенно как-то темно...

— Катя!

— Что?

— Ничего, просто голос хотел услышать. Ты почему не смотришь на меня?

— Не надо, не надо, потуши!

Она снова подумала о нем и о матери — кто ей дороже.

— Прости меня, — сказала она.

Он не понял ее, сказал:

— Ты не бойся, это на всю жизнь, если только будет жизнь.

— Это я о маме вспомнила.

— А моя мать умерла. Я лишь теперь понял, ее выслали за папу.

Они заснули на шинели, обнявшись, и «управдом» подошел к ним и смотрел, как они спят, — голова минометчика Шапошникова лежала на плече у радистки, рука его обхватывала ее за спину, он словно боялся потерять ее. Грекову показалось, что они оба мертвы, так тихо и неподвижно лежали они.

На рассвете Ляхов заглянул в отсек подвала, крикнул:

— Эй, Шапошников, эй, Венгрова, управдом зовет, скоро только, рысью, на полусогнутых!

Лицо Грекова в облачном холодном сумраке было неумолимым, суровым. Он прислонился большим плечом к стене, всклокоченные волосы его нависали над низким лбом.

Они стояли перед ним, переминаясь с ноги на ногу, не замечая, что стоят, держась за руки.

Греков пошевелил широкими ноздрями приплюснутого львиного носа, сказал:

— Вот что, Шапошников, ты сейчас проберешься в штаб полка, я тебя откомандировываю.

Сережа почувствовал, как дрогнули пальцы девушки, и сжал их, и она почувствовала, что его пальцы дрожат. Он глотнул воздух, язык и нёбо пересохли.

Тишина охватила облачное небо, землю. Казалось, что лежащие вповалку, прикрытые шинелью люди не спят, ждут, не дыша.

Прекрасно, приветливо было все вокруг, и Сережа подумал: «Изгнание из рая, как крепостных разлучает», — и с мольбой, ненавистью смотрел на Грекова.

Греков прищурился, вглядывался в лицо девушки, и взгляд его казался Сереже отвратительным, безжалостным, наглым.

— Ну, вот все, — сказал Греков. — С тобой пойдет радистка, что ей тут делать без передатчика, доведешь ее до штаба полка.

Он улыбнулся.

— А там уж вы свою дорогу сами найдете, возьми бумажку, я написал на обоих одну, не люблю писанины. Ясно?

И вдруг Сережа увидел, что смотрят на него прекрасные, человечные, умные и грустные глаза, каких никогда он не видел в жизни.

19

Комиссару стрелкового полка Пивоварову не пришлось попасть в дом «шесть дробь один».

Беспроволочная связь с домом прервалась, то ли вышел из строя передатчик, то ли заправлявшему в доме капитану Грекову надоели строгие внушения командования.

Одно время сведения об окруженном доме удавалось получать через минометчика коммуниста Ченцова, он передавал, что «управдом» совсем распустился, — говорил бойцам черт знает какую ересь. Правда, с немцами Греков воевал лихо, этого информатор не отрицал.

В ночь, когда Пивоваров собрался пробраться в дом «шесть дробь один», тяжело заболел командир полка Березкин.

Он лежал в блиндаже с горящим лицом, с нечеловечески, хрустально-ясными, бессмысленными глазами.

Доктор, поглядев на Березкина, растерялся. Он привык иметь дело с раздробленными конечностями, с проломленными черепами, а тут вдруг человек сам по себе заболел.

Доктор сказал:

— Надо бы банки поставить, да где их возьмешь?

Пивоваров решил доложить начальству о болезни командира полка, но комиссар дивизии позвонил Пивоварову по телефону, приказал срочно явиться в штаб.

Когда Пивоваров, несколько запыхавшись (пришлось раза два падать при близких разрывах), вошел в блиндаж комиссара дивизии, тот разговаривал с переправившимся с левого берега батальонным комиссаром. Пивоваров слышал об этом человеке, делавшем доклады в частях, расположенных на заводах.

Пивоваров громко отрапортовал:

— По вашему приказанию явился. — И тут же с ходу доложил о болезни Березкина.

— Да-а, хреновато, — сказал комиссар дивизии. — Вам, товарищ Пивоваров, придется принять на себя командование полком.

— А как с окруженным домом?

— Куда уж вам, — сказал комиссар дивизии. — Тут такую кашу заварили вокруг этого окруженного дома. До штаба фронта дело дошло.

И он помахал бумажкой-шифровкой перед Пивоваровым.

— Я для этого дела вас, собственно, и вызвал. Вот товарищ Крымов получил распоряжение политуправления фронта отправиться в окруженный дом, навести там большевистский порядок, стать там боевым комиссаром, а в случае чего отстранить этого самого Грекова, взять на себя командование... Поскольку все это хозяйство находится на участке вашего полка, вы обеспечьте все необходимое, и чтобы переправиться в этот дом, и для дальнейшей связи. Ясно?

— Ясно, — сказал Пивоваров. — Будет исполнено.

После этого он спросил обычным, не казенным, а житейским голосом:

— Товарищ батальонный комиссар, с такими ребятами иметь дело, ваш ли это профиль?

— Именно мой, — усмехнулся комиссар, пришедший с левого берега. — Я вел летом сорок первого двести человек из окружения по Украине, партизанских настроений там хватало.

Комиссар дивизии сказал:

— Что ж, товарищ Крымов, давайте, действуйте. Со мной связь держите. Государство в государстве — это ведь негоже.

— Да, там еще какое-то грязное дело с девчонкой-радисткой, — сказал Пивоваров. — Наш Березкин все тревожился, замолчал их радиопередатчик. А ребята там такие, что от них всего ждать можно.

— Ладно, на месте все разберете, дуйте, желаю успеха, — сказал комиссар дивизии.

20

Через день после того, как Греков отослал Шапошникова и Венгрову, Крымов, сопровождаемый автоматчиком, отправился в знаменитый окруженный немцами дом.

Они вышли светлым холодным вечером из штаба стрелкового полка. Едва Крымов вступил на асфальтированный двор Сталинградского тракторного завода, как ощутил опасность уничтожения яснее и сильнее, чем когда-либо.

И в то же время чувство подъема, радости не оставляло его. Шифровка, неожиданно пришедшая из штаба фронта, как бы подтвердила ему, что здесь, в Сталинграде, все идет по-другому, здесь другие отношения, другие оценки, другие требования к людям. Крымов снова был Крымовым, не калекой из инвалидной команды, а боевым комиссаром-большевиком. Опасное и трудное поручение не страшило его. Так приятно и сладко было в глазах комиссара дивизии, в глазах Пивоварова вновь читать то, что всегда проявляли к нему товарищи по партии.

Среди взломанного снарядом асфальта, у исковерканного полкового миномета лежал убитый красноармеец.

Почему-то теперь, когда душа Крымова была полна живой надежды, ликовала, вид этого тела поразил его. Он много видел мертвецов, стал

к ним безразличен. А сейчас он содрогнулся, — тело, полное вечной смерти, лежало по-птичьи беспомощное, покойник поджал ноги, точно ему было холодно.

Мимо, держа у виска толстую полевую сумку, пробежал политрук в сером коробящемся плаще, красноармейцы волочили на плащ-палатке противотанковые мины вперемешку с буханками хлеба.

А мертвецу не стал нужен хлеб и оружие, он не хотел письма от верной жены. Он не был силен своей смертью, он был самым слабым, мертвый воробышек, которого не боятся мошки и мотыльки.

В проломе цеховой стены артиллеристы устанавливали полковую пушку и ругались с расчетом тяжелого пулемета. По жестикуляции спорщиков ясно делалось, о чем примерно говорили они.

— Наш пулемет, знаешь, сколько времени здесь стоит? Вы еще болтались на том берегу, а мы уж тут стреляли.

— Нахальные люди вы, вот вы кто такие!

Воздух взвыл, снаряд разорвался в углу цеха. Осколки застучали по стенам. Автоматчик, шедший впереди Крымова, оглянулся, не убило ли комиссара. Подождав Крымова, он проговорил:

— Вы не беспокойтесь, товарищ комиссар, мы считаем — тут второй эшелон, глубокий тыл.

Спустя недолгое время Крымов понял, что двор у цеховой стены — тихое место.

Пришлось им и бежать, и падать, уткнувшись лицом в землю, снова бежать и снова падать. Два раза заскакивали они в окопы, в которых засела пехота; бежали они и среди сгоревших домиков, где уже не было людей, а лишь выло и свистело железо... Автоматчик вновь в утешение сказал Крымову:

— Это что, главное — не пикирует. — А затем предложил: — А ну, товарищ комиссар, давайте припустим вон до той воронки.

Крымов сполз на дно бомбовой ямы, поглядел наверх — синее небо было над головой, а голова не была оторвана, по-прежнему сидела на плечах. Странно ощущать присутствие людей только в том, что смерть, посылаемая ими с двух сторон, воет, поет над твоей головой.

Странное это чувство безопасности в яме, вырытой заступом смерти. Автоматчик, не дав ему отдышаться, проговорил:

— Лезьте за мной! — И заполз в темный ходок, оказавшийся на дне ямы. Крымов протиснулся следом за ним, и низкий ходок расширился, кровля его поднялась, они вошли в туннель.

Под землей слышался гул наземной бури, свод вздрагивал, и грохот перекатывался по подземелью. Там, где особенно густо лежали чугунные трубы и разветвлялись темные, толщиной с человеческую руку, кабели, на стене было написано суриком: «Махов ишак». Автоматчик посветил фонариком и сказал:

— Тут над нами немцы ходят.

Вскоре они свернули в узкий ходок, двигались по направлению к едва заметному светло-серому пятну; все ясней, светлей становилось пятно в глубине ходка, все яростней доносились взрывы и пулеметные очереди.

Крымову показалось на миг, что он приближается к плахе. Но вот они вышли на поверхность, и первое, что увидел Крымов, были лица людей; они показались ему божественно спокойными.

Непередаваемое чувство охватило Крымова, радостное, легкое. И даже бушевавшая война ощутилась им не как роковая грань жизни и смерти, а как гроза над головой молодого, сильного, полного жизни путника.

Какая-то ясная, пронзительная уверенность в том, что он переживает час нового, счастливого перелома своей судьбы, охватила его.

Он словно видел в этом ясном дневном свете свое будущее — ему снова предстояло жить во всю силу своего ума, воли, большевистской страсти.

Чувство уверенности и молодости смешалось с печалью об ушедшей женщине, она представилась ему бесконечно милой.

Но сейчас она не казалась навеки потерянной. Вместе с силой, вместе с прежней жизнью вернется к нему она. Он шел за ней!

Старик в насаженной на лоб пилотке стоял над горевшим на полу костром и переворачивал штыком жарившиеся на листе кровельной жести картофельные оладьи; готовые оладьи он складывал в металлическую каску. Увидев связного, он быстро спросил:

— Сережа там?

Связной строго сказал:

— Начальник пришел!

— Сколько лет, отец? — спросил Крымов.

— Шестьдесят, — ответил старик и объяснил: — Я из рабочего ополчения.

Он снова покосился на связного.

— Сережка там?

— Нету в полку его, видно, он к соседу попал.

— Эх, — с досадой сказал старик, — пропадет.

Крымов здоровался с людьми, оглядывался, всматривался в подвальные отсеки с наполовину разобранными деревянными переборками. В одном месте стояла полковая пушка, глядела из бойницы, прорубленной в стене.

— Как на линкоре, — сказал Крымов.

— Да, только воды мало, — ответил красноармеец.

Подальше, в каменных ямах и щелях, стояли минометы.

На полу лежали хвостатые мины. Тут же, немного поодаль, лежал на плащ-палатке баян.

— Вот дом номер шесть дробь один держится, не сдается фашистам, — громко сказал Крымов. — Весь мир, миллионы людей этому радуются.

Люди молчали.

Старик Поляков поднес Крымову металлическую каску, полную оладий.

— А про то не пишут, как Поляков оладьи печет?

— Вам смех, — сказал Поляков, — а Сережку-то нашего угнали.

Минометчик спросил:

— Второй фронт не открыли еще? Ничего не слышно?

— Пока нету, — ответил Крымов.

Человек в майке, в распахнутом кителе сказал:

— Как стала по нам садить тяжелая артиллерия из-за Волги, Коломейцева волной с ног сбило, он встал и говорит: «Ну, ребята, второй фронт открылся».

Темноволосый парень проговорил:

— Чего зря говорить, если б не артиллерия, мы тут не сидели бы. Слопал бы нас немец.

— А где ж, однако, командир? — спросил Крымов.

— Вон там, на самом переднем крае примостился.

Командир отряда лежал на высокой груде кирпича и смотрел в бинокль.

Когда Крымов окликнул его, он неохотно повернул лицо и лукаво, предостерегающе приложил палец к губам, снова взялся за бинокль. Спустя несколько мгновений его плечи затряслись, он смеялся. Он сполз вниз и, улыбаясь, сказал:

— Хуже шахмат. — И, разглядев зеленые шпалы и комиссарскую звезду на гимнастерке Крымова, проговорил: — Здравствуйте в нашей хате, товарищ батальонный комиссар, — и представился: — Управдом Греков. Вы по нашему ходу пришли?

Все в нем — и взгляд, и быстрые движения, и широкие ноздри приплюснутого носа — было дерзким, сама дерзость.

«Ничего, ничего, согну я тебя», — подумал Крымов.

Крымов стал расспрашивать его. Греков отвечал лениво, рассеянно, позевывая и оглядываясь, точно вопросы Крымова мешали ему вспомнить что-то действительно важное и нужное.

— Сменим вас? — спросил Крымов.

— К чему? — ответил Греков. — Вот только курева, ну, конечно, мины, гранаты и, если не жалко, водочки и шамовки на кукурузниках подбросьте... — Перечисляя, он загибал пальцы на руке.

— Значит, уходить не собираетесь? — злясь и невольно любуясь некрасивым лицом Грекова, спросил Крымов.

Они молчали, и в это короткое молчание Крымов превозмог чувство своего душевного подчинения людям в окруженном доме.

— Дневник боевых действий ведете? — спросил он.

— У меня бумаги нет, — ответил Греков. — Писать не на чем, да и некогда, да и не к чему.

— Вы находитесь в подчинении командира сто семьдесят шестого стрелкового полка, — сказал Крымов.

— Есть, товарищ батальонный комиссар, — ответил Греков и насмешливо добавил: — Когда поселок отрезали и я в этом доме собрал людей, оружие, отбил тридцать атак, восемь танков сжег, надо мной командиров не было.

— Наличный состав свой на сегодняшнее число точно знаете, проверяете?

— Зачем мне проверять, я строевых записок не представляю, что я, в АХО и на допе снабжаюсь? Сидим на гнилой картошке и на гнилой воде.

— Женщины в доме есть?

— Товарищ комиссар, вы вроде допрос мне учинили?

— Ваши люди в плен попадали?

— Нет, такого случая не было.

— Все же, где ваша радистка?

Греков закусил губу, брови его сошлись, и он ответил:

— Девушка эта — немецкая шпионка, она меня завербовала, а потом я ее изнасиловал, а потом я ее пристрелил. — И, вытянув шею, он спросил: — Такого, что ли, ответа вам от меня нужно? — И с насмешкой сказал: — Я вижу, дело штрафным батальоном пахнет, так, что ли, товарищ начальник?

Крымов несколько мгновений молча смотрел на него и сказал:

— Греков, Греков, закружилась ваша голова. И я в окружении был. И меня спрашивали.

Он посмотрел на Грекова и медленно сказал:

— У меня есть указание в случае необходимости отстранить вас от командования и переподчинить людей себе. Зачем вы сами прете на рожон, толкаете меня на этот путь?

Греков молчал, думал, прислушивался, потом сказал:

— Стихает, успокоился немец.

21

— Вот и хорошо, посидим вдвоем, — сказал Крымов, — уточним дальнейшее.

— А зачем сидеть вдвоем, — сказал Греков, — мы тут воюем все вместе и дальнейшее уточняем вместе.

Дерзость Грекова нравилась Крымову, но одновременно и сердила. Ему хотелось сказать Грекову об украинском окружении, о своей довоенной жизни, чтобы Греков не принимал его за чиновника. Но в таком рассказе, чувствовал Крымов, проявилась бы слабость его. А Крымов пришел в этот дом проявить свою силу, а не слабость. Он ведь не был политотдельским чиновником, он был военным комиссаром.

«Ничего, — подумал он, — комиссар не подкачает».

В затишье люди сидели и полулежали на грудах кирпича. Греков произнес:

— Сегодня немец уже больше не пойдет, — и предложил Крымову: — Давайте, товарищ комиссар, покушаем.

Крымов присел рядом с Грековым среди отдыхающих людей.

— Вот смотрю на вас всех, — проговорил Крымов, — а в голове все время вертится: русские прусских всегда били.

Негромкий ленивый голос подтвердил:

— Точно!

И в этом «точно» было столько снисходительной насмешки над общими формулами, что дружный негромкий смех прошел среди сидевших. Они знали не меньше человека, впервые сказавшего «русские прусских всегда били», о том, какую силу таят в себе русские, да они, собственно, и были самым прямым выражением этой силы. Но они знали и понимали, что прусские дошли до Волги и Сталинграда вовсе не потому, что русские их всегда били.

С Крымовым в эти мгновения происходила странная вещь. Он не любил, когда политические работники славили старых русских полководцев, его революционному духу претили ссылки в статьях «Красной звезды» на Драгомирова, ему казалось ненужным введение орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого. Революция есть революция, ее армии нужно одно лишь знамя — красное. Но почему именно сегодня, когда он снова дышал привычным воздухом ленинской революции, пришли к нему эти чувства и мысли?

И насмешливое, ленивое «точно», произнесенное кем-то из бойцов, больно укололо его.

— Воевать вас, товарищи, учить не надо, — сказал Крымов. — Этому вы сами всякого научите. Но вот почему командование нашло нужным все же прислать меня к вам? Зачем я вот, скажем, пришел к вам?

— За суп, для ради супа? — негромко и дружелюбно предположил кто-то.

Но смех, которым слушатели встретили это робкое предположение, не был тихим. Крымов посмотрел на Грекова.

Греков смеялся вместе со всеми.

— Товарищи, — проговорил Крымов, и злая краска выступила на его щеках, — серьезней, товарищи, я прислан к вам партией.

Что это было такое? Случайное настроение, бунт? Нежелание слушать комиссара, рожденное ощущением своей силы, своей собственной опытности? А может быть, веселье слушателей не имело в себе ничего крамольного, просто возникло от ощущения естественного равенства, которое было так сильно в Сталинграде.

Но почему это ощущение естественного равенства, раньше восхищавшее Крымова, сейчас вызывало в нем чувство злобы, желание подавить его, скрутить?

Здесь связь Крымова с людьми не ладилась не потому, что они были подавлены, растеряны, трусили. Здесь люди чувствовали себя сильными, уверенно, и неужели возникшее в них чувство силы ослабляло их связь с комиссаром Крымовым, вызывало отчужденность, враждебность и в нем и в них?

Старик, жаривший оладьи, сказал:

— Вот я давно уж хотел спросить у партийного человека. Говорят, товарищ комиссар, что при коммунизме все станут получать по потребности, это как же тогда будет, если каждому, особенно с утра, по потребности — сопьются все?

Крымов повернулся к старику и увидел на его лице истинную заботу.

А Греков смеялся, смеялись его глаза, большие, широкие ноздри раздувало смехом.

Сапер с головой, перевязанной окровавленным, грязным бинтом, спросил:

— А вот насчет колхозов, товарищ комиссар? Как бы их ликвидировать после войны.

— Оно бы неплохо докладик на этот счет, — сказал Греков.

— Я не лекции пришел к вам читать, — сказал Крымов, — я военный комиссар, я пришел, чтобы преодолеть вашу недопустимую партизанщину.

— Преодолевайте, — сказал Греков. — А вот кто будет немцев преодолевать?

— Найдутся, не беспокойтесь. Не за супом я пришел, как вы выражаетесь, а большевистскую кашу сварить.

— Что ж, преодолевайте, — сказал Греков. — Варите кашу.

Крымов посмеиваясь и в то же время серьезно перебил:

— А понадобится, и вас, Греков, с большевистской кашей съедят.

Сейчас Николай Григорьевич был спокоен и уверен. Колебания, какое решение будет наиболее правильным, прошли. Грекова надо отстранить от командования.

Крымов теперь уже ясно видел в Грекове враждебное и чуждое, что

не могли ни уменьшить, ни заглушить героические дела, творившиеся в окруженном доме. Он знал, что справится с Грековым.

Когда стемнело, Крымов подошел к управдому и сказал:

— Давайте, Греков, поговорим всерьез и начистоту. Чего вы хотите?

Греков быстро, снизу вверх, — он сидел, а Крымов стоял, — посмотрел на него и весело сказал:

— Свободы хочу, за нее и воюю.

— Мы все ее хотим.

— Бросьте, — махнул рукой Греков. — На кой она вам? Вам бы только с немцами справиться.

— Не шутите, товарищ Греков, — сказал Крымов. — Почему вы не пресекаете неверные политические высказывания некоторых бойцов? А? При вашем авторитете вы это можете не хуже всякого комиссара сделать. А у меня впечатление, что люди ляпают и на вас оглядываются, как бы ждут вашего одобрения. Вот этот, что высказался насчет колхозов. Зачем вы его поддержали? Я вам говорю прямо: давайте вместе это дело выправим. А не хотите — я вам так же прямо говорю: шутить не буду.

— Насчет колхозов, что ж тут такого? Действительно, не любят их, это вы не хуже меня знаете.

— Вы что ж, Греков, задумали менять ход истории?

— А уж вы-то все на старые рельсы хотите вернуть?

— Что это «все»?

— Все. Всеобщую принудиловку.

Он говорил ленивым голосом, бросая слова, посмеиваясь. Вдруг он приподнялся, сказал:

— Товарищ комиссар, бросьте. Ничего я не задумал. Это я так, позлить вас. Такой же советский человек, как и вы. Меня недоверие обижает.

— Так давайте, Греков, без шуток. Поговорим всерьез, как устранить недобрый, несоветский, зеленый дух. Вы его породили, помогите мне его убить. Ведь вам еще воевать со славой предстоит.

— Спать охота. И вам отдохнуть надо. Вот увидите, что тут с утра начнется.

— Ладно, Греков, давайте завтра. Я ведь уходить от вас не собираюсь, никуда не спешу.

Греков рассмеялся:

— Наверное, договоримся.

«Все ясно, — подумал Крымов. — Гомеопатией заниматься не буду. Хирургическим ножом сработаю. Политически горбатых не распрямляют уговорами».

Греков неожиданно сказал:

— Глаза у вас хорошие. Тоскуете вы.

Крымов от неожиданности развел руками и ничего не ответил. А Греков, точно услышав подтверждение своих слов, проговорил:

— У меня самого, знаете, тоска. Только это так, ерунда, личное. Об этом и в рапорте не напишешь.

Ночью во время сна Крымов был ранен шальной пулей в голову. Пуля содрала кожу и поцарапала череп. Ранение было неопасное, но голова сильно кружилась и Крымов не мог стоять на ногах. Его все время тошнило.

Греков велел соорудить носилки, и в тихий предрассветный час раненого эвакуировали из окруженного дома.

Крымов лежал на носилках, голова гудела и кружилась, в виске постреливало и постукивало.

Греков провожал носилки до подземного хода.

— Не повезло вам, товарищ комиссар, — сказал он.

И вдруг догадка ожгла Крымова — не Греков ли стрелял в него ночью?

К вечеру у Крымова началась рвота, усилилась головная боль. Два дня пролежал он в дивизионном медсанбате, а затем его перевезли на левый берег и поместили в армейский госпиталь.

22

Комиссар Пивоваров пробрался в тесные землянки медсанбата и увидел тяжелую обстановку — раненые лежали вповалку. Крымова в медсанбате он не застал, его накануне ночью эвакуировали на левый берег.

«Как это его сразу ранило? — думал Пивоваров. — То ли ему не повезло, то ли ему повезло».

Пивоварову одновременно хотелось решить, стоит ли переводить больного командира полка в медсанбат. Пробравшись обратно в штабной блиндаж, Пивоваров (по дороге его чуть не убило осколком немецкой мины) рассказал автоматчику Глушкову, что в медсанбате нет никаких условий для лечения больного. Кругом валяются груды кровавой марли, бинтов, ваты — страшно подойти. Слушая комиссара, Глушков сказал:

— Конечно, товарищ комиссар, у себя в блиндаже все-таки лучше.

— Да, — кивнул комиссар. — И там не разбирают, кто командир полка, а кто боец, все на полу.

И Глушков, которому полагалось по чину лежать на полу, сказал:

— Конечно, куда же это годится.

— Разговаривал что-нибудь? — спросил Пивоваров.

— Нет. — И Глушков махнул рукой. — Какой уж разговор, товарищ комиссар, принесли письмо от жены, оно лежит, а он не смотрит.

— Что ты говоришь? — сказал Пивоваров. — Вот это уж заболел. Жуткое дело, не смотрит!

Он взял письмо, взвесил конверт на руке, поднес письмо к лицу Березкина, строго, вразумляюще сказал:

— Иван Леонтьевич, вам письмо от супруги. — Подождал немного и совсем другим тоном добавил: — Ваня, пойми, от жены, неужели не понимаешь, а, Ваня?

Но Березкин не понимал.

Лицо его было румяно, блестящие глаза пронзительно и бессмысленно смотрели на Пивоварова.

С упорной силой война стучалась в этот день в блиндаж, где лежал больной командир полка. Почти по всем телефонам связь с ночи была нарушена; и почему-то телефон в землянке Березкина работал безотказно, по этому телефону звонили из дивизии, звонили из оперативного отдела штаба армии, звонил сосед — командир полка из дивизии Гурьева, звонили березкинские комбаты — Подчуфаров и Дыркин. В блиндаже все время толклись люди, скрипела дверь и хлопала плащ-палатка, повешенная у входа Глушковым. Тревога, ожидание с утра охватили людей. В этот день, который отличался ленивой артиллерийской стрельбой, нечастыми и неряшливо неточными авиационными налетами, возникла у многих пронзительно тоскливая уверенность в том, что немецкий удар совершится. Эта уверенность одинаково мучила и Чуйкова, и комиссара полка Пивоварова, и людей, сидевших в доме «шесть дробь один», и пившего с утра водку командира стрелкового взвода, справлявшего свой день рождения возле заводской трубы на Сталинградском тракторном.

Каждый раз, когда в блиндаже Березкина происходили интересные либо особо смешные разговоры, все оглядывались на командира полка — неужели и этого не слышит?

Командир роты Хренов осипшим от ночной прохлады голосом рассказывал Пивоварову, как перед рассветом он вышел из подвала, где находился его командный пункт, присел на камешке, прислушивался, не занимаются ли немцы глупостями. И вдруг с неба раздался сердитый, злой голос: «Эй, Хрен, чего плошек не зажег?»

Хренов на миг ошалел — кто это на небе знает его фамилию, даже убоялся, а потом оказалось — это кукурузник-летчик выключил мотор и над самой головой планирует; видно, для дома «шесть дробь один» хотел сбросить продукты и сердился, что не наметили передний край.

Все в блиндаже оглянулись на Березкина — улыбнулся ли? Но лишь Глушкову показалось, что в сияющих стеклянных глазах больного появилась живая точка. Пришел час обеда, блиндаж опустел. Березкин лежал тихо, и Глушков вздыхал — лежит Березкин, а рядом жданное письмецо. Пивоваров и майор, новый начальник штаба, заменивший убитого Кошенкова, пошли обедать, едят мировой борщ, пьют по сто грамм. Повар уже

угощал этим хорошим борщом Глушкова. А командир полка, хозяин, не ест, глотнул лишь воды из кружки...

Глушков раскрыл конверт и, подойдя вплотную к койке, внятно, медленно и негромко прочел:

«Здравствуй, дорогой мой Ваня, здравствуй, ненаглядный мой, здравствуй, мой хороший».

Глушков нахмурился и продолжал вслух разбирать написанное.

Он читал лежавшему в беспамятстве командиру письмо от жены, письмо, которое уже зачитали цензоры в военной цензуре, нежное, грустное и хорошее, — это письмо мог прочесть лишь один человек на свете — Березкин.

Глушков не очень удивился, когда Березкин повернул голову и сказал: «Дай сюда», — и протянул руку.

Строки письма дрожали в больших дрожащих пальцах:

«...Ваня, тут очень красиво, Ваня, такая тоска по тебе. Люба все спрашивает, почему нет с нами папы. Мы живем на берегу озера, в доме тепло, у хозяйки корова, молоко, есть деньги, которые ты прислал, я утром выхожу, и по холодной воде плавают желтые и красные листья кленов, а вокруг уже лежит снег, и от этого вода особенно синяя, и небо синее, и листья невероятно желтые, невероятно красные. И Люба спрашивает: почему ты плачешь? Ваня, Ваня, дорогой мой, спасибо тебе за все, спасибо тебе за все, все, за доброту. Почему я плачу — как объяснить. Я плачу оттого, что я живу, плачу от горя, что Славы нет, а я живу, от счастья — ты жив, плачу, когда вспоминаю маму, сестер, плачу от утреннего света, оттого, что так красиво кругом и такое горе, всюду у всех, и у меня. Ваня, Ваня, дорогой мой, ненаглядный мой, хороший мой...»

Вот и кружится голова, вот и сливается все вокруг, дрожат пальцы, письмо дрожит вместе с раскаленным воздухом.

— Глушков, — сказал Березкин, — меня надо сегодня оздоровить. — (Тамара не любила этого слова.) — Как там, кипятильник не разбило?

— Кипятильник целый. Как же оздоровить в один день — в вас жары сорок градусов, как в пол-литре, разве выйдет сразу.

Бойцы вкатили в блиндаж громыхавшую металлическую бочку из-под бензина. Бочку налили до половины дымящейся от жары мутной речной водой. Воду лили выкаркой и брезентовым ведерком.

Глушков помог Березкину раздеться и подвел его к бочке.

— Уж очень горяча, товарищ подполковник, — говорил он, пробуя с наружной стороны бочку и отдергивая руку, — еще сваритесь. Я товарища комиссара звал, а он у командира дивизии на совещании, лучше подождем товарища комиссара.

— Чего ждать?

— Если с вами что случится, я себя сам застрелю. А если не посмею, то меня товарищ комиссар Пивоваров застрелит.

— Давай, помоги мне.

— Разрешите, я хоть начальника штаба позову.

— Ну, — сказал Березкин, и, хотя это хриплое, короткое «ну» произнес голый, с трудом стоящий на ногах человек, Глушков сразу перестал спорить.

Влезши в воду, Березкин застонал, охнул, метнулся, и Глушков, глядя на него, застонал, заходил вокруг бочки.

«Как в родильном доме», — почему-то подумал он.

Березкин на время потерял сознание, и все смешалось в тумане — и военная тревога, и жар болезни. Вдруг замерло, остановилось сердце, и перестала нестерпимо жечь на совесть согретая вода. Потом он пришел в себя, сказал Глушкову:

— Надо пол подтереть.

Но Глушков не видел, как вода пошла через край бочки. Багровое лицо командира полка стало белеть, рот полуоткрылся, на бритом черепе выступили крупные, показавшиеся Глушкову голубыми, капли пота. Березкин вновь стал терять сознание, но когда Глушков попытался вытащить его из воды, он внятно произнес:

— Не время, — и закашлялся. А когда приступ кашля прошел, Березкин, не отдышавшись, сказал: — Подлей-ка кипяточку.

Он наконец выбрался из воды, и Глушков, глядя на него, совсем

пал духом. Он помог Березкину вытереться и лечь на койку, накрыл его одеялом и шинелями, потом стал накладывать на него все барахло, имевшееся в блиндаже, — плащ-палатки, ватники, ватные штаны.

Когда вернулся Пивоваров, в блиндаже было прибрано. Только в воздухе стоял сырой, банный дух. Березкин лежал тихо, спал. Пивоваров постоял над ним.

«А славное у него лицо, — подумал Пивоваров. — Этот уж заявлений не писал».

Его весь день тревожило пришедшее воспоминание о том, как он разоблачал лет пять назад своего товарища по двухгодичным курсам, Шмелева, — сегодня, когда стояло это злое, томящее и мучительное затишье, всякая ерунда лезла в голову, лез в голову и Шмелев, искоса глядевший с жалким и горестным лицом, слушавший, как зачитывалось на собрании заявление его друга-приятеля Пивоварова.

Около двенадцати часов ночи Чуйков позвонил по телефону, минуя командира дивизии, в полк, стоявший в поселке Тракторного завода, — его этот полк сильно беспокоил, — разведка доносила, что в этом районе идет особо упорное накапливание немецких танков и пехоты.

— Ну, как там у вас? — раздражаясь, сказал он. — Кто там у вас наконец полком командует? Мне Батюк сказал, что у командира полка какие-то воспаления легких, хочет его на левый берег переправить.

Ответил сиплый голос:

— Я командую полком, подполковник Березкин. Было немного, простыл, а теперь снова в порядке.

— Я слышу, — словно злорадствуя, сказал Чуйков. — Ты охрип сильно, так тебе немец даст попить горячего молока. Приготовил, имей в виду, зальет.

— Понял, товарищ первый, — сказал Березкин.

— А, понял, — проговорил с угрозой Чуйков, — так имей в виду, если вздумаешь отходить, я тебе дам гогель-могелю, не хуже немецкого молока.

23

Поляков уговорился с Климовым сходить ночью в полк, старику хотелось разузнать о Шапошникове.

Поляков сказал о своем желании Грекову, и тот обрадовался.

— Дуй, дуй, отец, сам немного отдохнешь в тылу, потом расскажешь, как они там.

— С Катькой-то? — спросил Поляков, сообразив, почему Греков одобрил его просьбу.

— Да их уж в полку нет, — сказал Климов. — Я слышал, командир полка их обоих в Заволжье откомандировал. Они уже, наверное, в Ахтубе в загсе расписались.

Поляков, старик зловредный, спросил Грекова:

— Может, тогда отмените или письмо от вас будет?

Греков быстро глянул на него, но сказал спокойно:

— Ладно, иди. Договорились.

«Понятно», — подумал Поляков. В пятом часу утра они поползли ходком. Поляков то и дело задевал головой о крепление и ругал матерными словами Сережку Шапошникова, его сердило и смущало, что он скучал по парню.

Ходок расширился, они сели немного отдохнуть. Климов, посмеиваясь, сказал:

— Что ж с тобой пакета нет, гостинчика?

— Да ну его, сопливого, — сказал Поляков. — Кирпич бы ему прихватить да кирпичом дать.

— Ясно, — сказал Климов. — Для этого только ты идешь, готов в Заволжье плыть. А может, ты Катьку, старик, хочешь видеть, безумно ревнуешь?

— Пошли, — сказал Поляков.

Вскоре они вылезли на поверхность, зашагали по ничьей земле. Кругом стояла тишина.

«А вдруг война кончилась?» — подумал Поляков и представил себе

с удивительной силой свою комнату: тарелка борща на столе, жена чистит пойманную им рыбу. Ему даже жарко стало.

В эту ночь генерал Паулюс отдал приказ о наступлении в районе Сталинградского тракторного завода.

Две пехотные дивизии должны были войти в проломленные авиацией, артиллерией и танками ворота. С полночи огоньки сигарет краснели в сложенных ладонях солдат.

Над заводскими цехами за полтора часа до рассвета загудели моторы «юнкерсов». В начавшейся бомбежке не было спадов и передышек; если на краткий миг в этом гремевшем сплошняке образовывалась щель, то она тотчас заполнялась свистом бомб, спешащих изо всех своих тяжелых железных сил к земле. Беспрерывный плотный грохот мог, казалось, как чугун, проломить человеку череп, сломать позвоночный столб.

Стало светать, а над районом завода по-прежнему длилась ночь. Казалось, земля сама по себе извергала молнии, грохот, дым и черную пыль.

Особо сильный удар пришелся по полку Березкина и по дому «шесть дробь один».

По всему расположению полка оглушенные люди ошалело вскакивали, понимая, что немец затеял новое, еще невиданное по силе, смертоубийственное хулиганство.

Застигнутые бомбежкой, Климов со стариком кинулись в сторону ничейной земли, где находились вырытые в конце сентября тонными бомбами воронки. В сторону ничейной земли бежали успевшие выскочить из завалившихся окопов бойцы подчуфаровского батальона.

Расстояние между немецкими и русскими окопами было так невелико, что часть удара пришлась на немецкий передний край, калеча солдат головной немецкой дивизии, выдвинувшейся для наступления.

Полякову казалось, что по разбушевавшейся Волге мечется во всю силу низовой астраханский ветер. Несколько раз Полякова сшибало с ног, он падал, забыв, на каком он свете, молод он или стар, где верх, где низ. Но Климов все тянул да тянул его — давай, давай, и они повалились в глубокую воронку, покатились на сырое, липучее дно. Здесь тьма была тройная, сплетенная из тьмы ночи, из дымовой и пыльной тьмы, из тьмы глубокого погреба.

Они лежали рядом — в старой и молодой голове жил желанный, милый свет, просьба о жизни. Этот свет, трогательная надежда были такими, какие горят во всех головах, во всех сердцах не только человечьих, но и в самых простых сердцах зверей и птиц.

Поляков тихо матерился, считая, что вся беда от Сережи Шапошникова, бормотал: «Довел-таки Сережка». А в душе представлялось ему, что он молится.

Этот сплошной взрыв не мог длиться долго, таким сверхнапряжением был полон он. Но время шло, а ревущий грохот не ослабевал, и черная дымовая мгла, не светлея, а наливаясь, все прочней связывала землю и небо.

Климов нащупал грубую рабочую руку старого ополченца и пожал ее, и ее ответное доброе движение на миг утешило Климова в незасыпанной могиле. Близкий взрыв наплескал в яму комья земли и каменной крошки; куски кирпича ударили старика по спине. Тошно стало им, когда земля пластами поползла по стенам ямы. Вот она, яма, в которую человеку пришлось полезть, и уж не увидеть света, — немец с неба засыплет, приравняет края.

Обычно, идя на разведку, Климов не любил напарников, спешил поскорей уйти в темноту, — так хладнокровный, опытный пловец спешит уйти от каменистого берега в угрюмую глубину открытого моря. А здесь, в яме, он радовался лежавшему рядом Полякову.

Время потеряло свой плавный ход, стало безумным, рвалось вперед, как взрывная волна, то вдруг застывало, скрученное в бараний рог.

Но вот люди в яме приподняли головы, — над ними стоял мутный полусвет, дым и пыль уносило ветром... земля затихла, звуковой сплошняк распался на отдельные взрывы. Муторное изнеможение овладело душой; казалось, что все живые силы выдавлены из нее, осталась одна лишь тоска.

Климов приподнялся, подле него лежал покрытый пылью, тертый, жеванный войной с пилотки до сапог немец. Климов не боялся немцев, он был постоянно убежден в своей силе, в своем дивном умении нажать на спусковой крючок, подбросить гранату, ударить прикладом либо ножом на секунду раньше, чем это сделает противник.

Но сейчас он растерялся, его поразило, что, оглушенный и ослепленный, он утешался, чувствуя немца рядом, что руку немца он спутал с поляковской рукой. Они смотрели друг на друга. Обоих придавила одна и та же сила, оба они были беспомощны бороться с этой силой, и казалось, она не защищала одного из них, а одинаково угрожала и одному, и другому.

Они молчали, два военных жителя. Совершенный и безошибочный автоматизм — убить, которым оба они обладали, не сработал.

А Поляков сидел поодаль и тоже смотрел на заросшего щетиной немца. И хотя Поляков не любил долго молчать, сейчас он молчал.

Жизнь была ужасна, а в глубине их глаз мелькнуло унылое прозрение, что и после войны сила, загнавшая их в эту яму, вдавившая мордами в землю, будет жать не только побежденных.

Они, словно договорившись, полезли из ямы, подставляя свои спины и черепа под легкий выстрел, непоколебимо уверенные в своей безопасности.

Поляков поскользнулся, но немец, ползший рядом, не помог ему, старик покатил вниз, ругая и проклиная белый свет, куда все же снова упорно полез. Климов и немец вылезли на поверхность, и оба посмотрели: один на восток, второй на запад, — не видит ли начальство, что лезут они из одной ямы, не убивают друг друга. Не оглянувшись, без «адью» пошли каждый к своим окопам холмами и долинами перепаханной и еще дымящейся земли.

— Дома-то нашего нет, с землей сровняли, — испуганно сказал Климов поспевавшему за ним Полякову. — Неужели всех вас убило, братья мои?

В это время стали печатать пушки и пулеметы, завыло, заукало. Немецкие войска пошли в большое наступление. То был самый тяжелый день Сталинграда.

— Довел Сережка проклятый, — бормотал Поляков. Он еще не понимал, что произошло, что в доме «шесть дробь один» не осталось никого, и его раздражали всхлипывания и восклицания Климова.

24

В час воздушной атаки бомба ударила по камере подземного газопрохода, где находился командный пункт батальона, и засыпала находившихся в этот момент там командира полка Березкина, комбата Дыркина и батальонного телефониста. Очутившись в полной темноте, оглушенный, задыхающийся от каменной пыли Березкин сперва подумал, что он уж неживой, но Дыркин в миг короткого затишья чихнул и спросил:

— Вы живой, товарищ подполковник?

И Березкин ответил:

— Живой.

Дыркин развеселился, услыша голос командира полка, и к нему сразу вернулось хорошее настроение, годами не покидавшее его.

— Раз живой, то, значит, порядок, — давясь пылью, кашляя и отхаркивая, сказал он, хотя порядка было не так уж много. Дыркина и телефониста присыпало щебенкой, и не было ясно, целы ли у них кости, пощупать себя они не могли. Железная балка провисла над их головами и мешала им разогнуть спины, но эта балка, видимо, и спасла их. Дыркин зажег фонарик, и стало действительно страшновато. В пыли нависали камни, гнутое железо, вздутый бетон, залитый смазочным маслом, размозженные кабели. Казалось, еще один бомбовый толчок, и не станет узкой щели, не станет людей — железо и камень сомкнутся.

Они на время притихли, съежились, неистовая сила молотила по цехам. Эти цехи, подумал Березкин, и своими мертвыми телами работали на оборону — ведь трудно разбить бетон, железо, разодрать арматуру.

Потом они все обстукали, ощупали и поняли, что вылезать своими

силами им никак нельзя. Телефон был цел, но молчал,— провод перемололо.

Говорить друг с другом они почти не могли — грохот разрывов глушил голоса, из-за пыли они захлебывались в кашле.

Березкин, сутки назад лежавший в жару, сейчас не чувствовал слабости. Его сила обычно подчиняла в бою и командиров, и красноармейцев, но суть ее не была военной и боевой — это была простая, рассудительная человеческая сила. Сохранять ее и проявлять в аду сражения могли лишь редкие люди, и именно они, эти обладатели цивильной, домашней и рассудительной человеческой силы, и были истинными хозяевами войны.

Но стихла бомбежка, и засыпанные люди услышали железный гул.

Березкин утер нос, покашлял и сказал:

— Завыла волчья стая, танки иа Тракторный пошли. — И добавил: — А мы у них на дороге сидим.

И оттого, что, казалось, ничего хуже уж и не придумать, комбат Дыркин вдруг громко, каким-то непередаваемым голосом запел, закашлял песню из кинофильма:

— Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить,
С нашим атаманом не приходится тужить...

Телефонист подумал, что комбат сошел с ума, но все же, харкая и кашляя, подхватил:

Жена погорюет, выйдет за другого,
Выйдет за другого, забудет про меня...

А на поверхности, в гулком пролете цеха, наполненного дымом, пылью и ревом танков, Глушков, срывая кожу с окровавленной ладони и пальцев, разбрасывая камни, куски бетона, отгибал прутья арматуры. Глушков работал с безумным исступлением, и только безумие помогло ему ворочать тяжелые балки, совершать работу, которая была бы по силам десятерым.

Березкин снова увидел неприглядный дымный, пыльный свет, смешанный с грохотом взрывов, с ревом немецких танков, с пушечной и пулеметной стрельбой. И все же то был ясный, тихий свет, и, глядя на него, Березкин первым делом подумал: «Видишь, Тамара, напрасно ты беспокоишься, я тебе говорил, что ничего особенного». Крепкие, сильные руки Глушкова обняли его.

Дыркин рыдающим голосом крикнул:

— Разрешите доложить, товарищ командир полка, командую мертвым батальоном.

Он обвел рукой вокруг себя.

— Нету Вани, нету нашего Вани, — и указал на труп комиссара батальона, лежавшего на боку в черной бархатной луже крови и машинного масла. На командном пункте полка все оказалось сравнительно благополучно — лишь стол и койка были присыпаны землей.

Пивоваров, увидя Березкина, заругался счастливым голосом, бросился к нему.

Березкин стал спрашивать:

— Связь есть с батальонами? Как отдельный дом? Что Подчуфаров? Попали с Дыркиным, как воробьи в мышеловку, ни связи, ни света. Кто жив, кто мертв, где мы, где немец, ничего не знаю, — давайте обстановку! Пока вы воевали, мы там песни пели.

Пивоваров стал рассказывать о потерях, о том, что люди в доме «шесть дробь один» накрылись все, погибли, вместе с бузотером Грековым, уцелели только двое — разведчик и старик ополченец.

Но полк выдержал немецкий напор, оставшиеся в живых были живы.

В это время зазуммерил телефон, и штабные, оглянувшись на связиста, поняли по его лицу, что звонит высший сталинградский иачальник.

Связной передал Березкину трубку; слышно было хорошо, и притихшие в землянке люди узнали тугой, низкий голос Чуйкова:

— Березкин? Командир дивизии ранен, заместитель и начальник убиты, приказываю вам принять командование дивизией. — И после паузы добавил медленно и веско: — Ты командовал полком в невиданных, адских условиях, сдержал напор. Спасибо тебе. Обнимаю тебя, дорогой. Желаю успеха.

Началась война в цехах Тракторного завода. Живые были живы.

Молчал дом «шесть дробь один». Ни одного выстрела не слышно было из развалин. Видимо, главная сила воздушного удара обрушилась на дом, остатки стен рухнули, каменный холм выровняло. Немецкие танки вели огонь по батальону Подчуфарова, маскируясь у остатков мертвого дома.

Развалины недавно еще страшного для немцев, беспощадного к ним дома стали теперь для них безопасным убежищем.

Издали красные груды кирпича казались огромными клочьями дымящегося сырого мяса, серо-зеленые немецкие солдаты, возбужденно и быстро жужжа, перебегали среди кирпичных глыб сокрушенного, убитого дома.

— Ты уж покомандуй полком, — сказал Березкин Пивоварову и добавил: — Всю войну начальство мной недовольно. А тут просидел без дела под землей, спевал песни, и на тебе — получил благодарность Чуйкова, и, шутка, командование дивизией поручено. Теперь спуску тебе не дам.

Но немец пер, было не до шуток.

25

Штрум с женой и дочерью приехали в Москву в холодные снежные дни. Александра Владимировна не захотела прерывать работу на заводе и осталась в Казани, хотя Штрум брался устроить ее в институт имени Карпова.

Странные это были дни — одновременно радостно и тревожно было на душе. Казалось, немцы по-прежнему грозны, сильны, готовят новые жестокие удары.

Казалось, нет еще перелома в войне. Но естественной и разумной была тяга людей в Москву, законной казалась начатая правительством реэвакуация в Москву некоторых учреждений.

Люди уже ощущали тайный знак военной весны. И все же невесело, угрюмо выглядела столица во вторую зиму войны.

Грязный снег холмами лежал вдоль тротуаров. На окраинных улицах тропинки по-деревенски соединяли подъезды домов с трамвайными остановками и продмагами. Из миогих окон дымили железные трубы румынок, и стены домов покрылись желтой копотной наледью.

Московские люди в полушубках, платках казались уездными, деревенскими.

По дороге с вокзала Виктор Павлович, сидя на вещах в кузове грузовика, оглядывал насупившееся лицо сидевшей с ним рядом Нади.

— Что, мадмуазель, — спросил Штрум, — такую Москву ты представляла себе в казанских мечтах?

Надя, раздражаясь, что отец понял ее настроение, ничего не ответила.

Виктор Павлович стал объяснять ей:

— Человек не понимает, что созданные им города не есть естественная часть природы. Человек не должен выпускать из рук ружья, лопаты, метлы, чтобы отбивать свою культуру от волков, метели, сорных трав. Стоит зазеваться, отвлечься на год-два, и пропало дело — из лесов пойдут волки, полезет чертополох, города завалит снегом, засыплет пылью. Сколько уже погибло великих столиц от пыли, снега, бурьяна.

Штруму захотелось, чтобы и Людмила, сидевшая в кабине рядом с леваком шофером, слышала его рассуждения, и он перегнулся через борт грузовика, спросил через наполовину спущенное оконце:

— Тебе удобно, Люда?

Надя сказала:

— Просто дворники не чистят снег, при чем тут гибель культуры?

— Дурочка ты, — сказал Штрум. — Погляди на эти торосы.

Грузовик сильно тряхнуло, и все узлы и чемоданы в кузове разом подпрыгнули, и вместе с ними подпрыгнули Штрум и Надя. Они переглянулись и рассмеялись.

Странно, странно. Мог ли он думать, что в год войны, горя, бездом-

ности в казанской эвакуации ему удастся сделать свою самую большую, главную работу?

Казалось, одно лишь торжественное волнение будут испытывать они, приближаясь к Москве, казалось, горе об Анне Семеновне, Толе, Марусе, мысли о жертвах, понесенных почти в каждой семье, соединятся с радостью возвращения, заполнят душу.

Но все шло не так, как представлялось. В поезде Штрум раздражался по пустякам. Его сердило, что Людмила Николаевна много спала, не смотрела в окно на ту землю, которую отстоял ее сын. Во сне она громко всхрапывала, проходивший по вагону раненый военный, послушав ее храп, сказал:

— Ого, вот это по-гвардейски.

Его раздражала Надя: мать убирала после нее остатки еды, Надя с дикарским эгоизмом выбирала из сумки самые румяные коржики. В поезде она усвоила по отношению к отцу какой-то дурацкий, насмешливый тон. Штрум слышал, как она в соседнем купе говорила: «Мой папаша большой поклонник музыки и сам бренчит на рояле».

Соседи по вагону вели разговоры о московской канализации и центральном отоплении, о беспечных людях, не плативших деньги по московским жировкам и потерявшим право на площадь, о том, какие продукты выгодней везти в Москву. Штрума сердили разговоры на житейские темы, но и он говорил об управдоме, водопроводе, а ночью, когда не мог уснуть, думал о прикреплении к московскому распределителю, о том, выключен ли телефон.

Злая баба проводница, подметая купе, извлекла из-под скамьи брошенную Штрумом куриную кость и сказала:

— Ну, чисто свиньи, а еще считаются культурные.

В Муроме Штрум и Надя, гуляя по перрону, прошли мимо молодых людей в бекешах с каракулевыми воротниками. Один из молодых людей сказал: «Абрам из эвакуации возвращается».

Второй объяснил:

— Спешит Абраша получить медаль за оборону Москвы.

А на станции Канаш поезд остановился против эшелона с заключенными. Вдоль теплушек ходили часовые, к маленьким, зарешеченным окнам прижимались бледные лица заключенных, кричавших: «Покурить», «Табачку». Часовые ругались, отгоняли заключенных от окошек.

Вечером он прошел в соседний вагон, где ехали Соколовы. Марья Ивановна с головой, повязанной цветным платочком, стелила постели — Петру Лаврентьевичу на нижней полке, себе на верхней. Она была озабочена, удобно ли будет Петру Лаврентьевичу, и на вопросы Штрума отвечала невпопад и даже не спросила, как чувствует себя Людмила Николаевна.

Соколов зевал, жаловался, что его разморила вагонная духота. Штрума почему-то необычайно обидело, что Соколов рассеян и не обрадовался его приходу.

— В первый раз в жизни вижу, — сказал Штрум, — чтобы муж заставлял жену лазить на верхнюю полку, а сам спал внизу. — Он произнес эти слова раздраженно и сам удивился, почему это обстоятельство так рассердило его.

— А мы всегда так, — сказала Марья Ивановна. — Петру Лаврентьевичу душно наверху, а мне все равно.

И она поцеловала Соколова в висок.

— Ну, я пошел, — сказал Штрум. И снова обиделся, что Соколовы не стали его задерживать.

Ночью в вагоне было очень душно. Вспоминались Казань, Каримов, Александра Владимировна, разговоры с Мадьяровым, тесный кабинетик в университете... Какие милые, тревожные глаза были у Марьи Ивановны, когда Штрум, приходя к Соколовым по вечерам, рассуждал о политике. Не такие рассеянные и отчужденные, как сегодня в вагоне.

«Черт знает что, — подумал он. — Сам спит внизу, где удобней и прохладней, вот это домострой».

И, рассердившись на Марью Ивановну, которую он считал лучшей из знакомых ему женщин, кроткой, доброй, он подумал: «Красноносая крольчиха. Тяжелый человек Петр Лаврентьевич, мягкий, сдержанный, и вместе с тем безудержное самомнение, скрытность, злопамятный. Да, достается ей, бедняжке».

Он никак не мог заснуть, пробовал думать о предстоящих встречах с друзьями, с Чепыжиным, — многие уже знают о его работе. Что ждет его, ведь он едет с победой, что скажут ему Гуревич, Чепыжин?

Он подумал, что Марков, разработавший во всех подробностях новую опытную установку, приедет в Москву лишь через неделю, а без него не удастся начать работу. Плохо, что и Соколов, и я — халдеи, теоретики с безмозглыми, слепыми руками...

Да, победитель, победитель.

Но эти мысли шли лениво, рвались.

Перед глазами стояли люди, кричавшие: «Табачку», «Папирос», молодцы, назвавшие его Абрамом. Странную фразу сказал при нем Постоев Соколову; Соколов рассказывал о работе молодого физика Ландесмана, и Постоев сказал: «Да уж, что там Ландесман, вот Виктор Павлович удивил мир первоклассным открытием, — и обнял Соколова, добавил: — А все же самое главное, что мы с вами русские люди».

Включен ли телефон, горит ли газ? Неужели и сто с лишним лет назад люди, возвращаясь в Москву после изгнания Наполеона, думали о такой же ерунде?..

Грузовик остановился возле дома, и Штрумы вновь увидели четыре окна своей квартиры с налепленными прошлым летом синими бумажными крестами на стеклах, парадную дверь, липы на обочине тротуара, увидели вывеску «Молоко», дощечку на дверях домоуправления.

— Лифт, конечно, не работает, — проговорила Людмила Николаевна и, обратившись к шоферу, спросила: — Товарищ, вы не поможете нам снести вещи на третий этаж?

Шофер ответил:

— Отчего же, можно. Только вы мне заплатите за это хлебом.

Машину разгрузили, Надю оставили стеречь вещи, а Штрум с женой поднялись в квартиру. Они поднимались медленно, удивляясь, что все так неизменно, — обитая черной клеенкой дверь на втором этаже, знакомые почтовые ящики. Как странно, что улицы, дома, вещи, о которых забываешь, не исчезают, и вот они снова, и снова человек среди них.

Когда-то Толя, не дожидаясь лифта, взбегал на третий этаж, кричал сверху Штруму: «Ага, а я уже дома!»

— Передохнем на площадке, ты задохнулась, — сказал Виктор Павлович.

— Бог мой, — сказала Людмила Николаевна. — Во что превратилась лестница. Завтра же пойду в домоуправление и заставлю Василия Ивановича организовать уборку.

Вот они снова стоят перед дверью своего дома: муж и жена.

— Может быть, ты сама хочешь открыть дверь?

— Нет, нет, зачем, открой ты, ты хозяин.

Они вошли в квартиру, прошли по комнатам, не снимая пальто, она попробовала рукой радиатор, сняла телефонную трубку, подула в нее, сказала:

— Телефон-то, оказывается, работает!

Потом она прошла на кухню, сказала:

— Вот и вода есть, значит, уборной можно пользоваться.

Она подошла к плите, попробовала краны у плиты, газ был выключен.

Боже мой, боже мой, вот и все. Враг остановлен. Они вернулись в свой дом. Словно вчера была суббота, 21 июня 1941 года. Как все неизменно, как все изменилось! Другие люди вошли в дом, у них уже другие сердца, другая судьба, они живут в другой эпохе. Почему так тревожно, так буднично? Почему утерянная довоенная жизнь казалась такой прекрасной, счастливой? Почему так томят мысли о завтрашнем дне — карточное бюро, прописка, лимит на электричество, лифт работает, лифт не работает, подписка на газеты?.. Снова ночью в своей кровати слушать знакомый бой часов.

Он шел следом за женой и вдруг вспомнил свой летний приезд в Москву, красивую Нину, пившую с ним вино, пустая бутылка и сейчас стояла на кухне возле раковины.

Он вспомнил ночь после прочтения письма матери, привезенного полковником Новиковым, свой внезапный отъезд в Челябинск. Вот здесь он целовал Нину, и шпилька выпала у нее из волос, они не могли ее найти. Его охватила тревога, не появилась ли на полу шпилька, может быть, Нина забыла здесь карандаш с губной помадой, пудреницу.

Но в это мгновение водитель, тяжело дыша, поставил чемодан, оглядел комнату и спросил:

— Всю площадь занимаете?

— Да, — виновато ответил Штрум.

— У нас шестеро на восьми метрах, — сказал водитель. — Бабка днем спит, когда все на работе, а ночью на стуле сидит.

Штрум подошел к окну, Надя стояла у сложенных возле грузовика вещей, приплясывала, дула на пальцы.

Милая Надя, беспомощная дочка Штрума, это ее родной дом.

Водитель принес мешок с продуктами и портплед, набитый постельными принадлежностями, присел на стул, стал сворачивать папиросу.

Его, видимо, всерьез занимал жилищный вопрос, и он все заговаривал со Штрумом о санитарной норме, взяточниках из райжилуправления.

Из кухни послышался грохот кастрюль.

— Хозяйка, — сказал водитель и подмигнул Штруму.

Штрум снова посмотрел в окно.

— Порядок, порядок, — сказал водитель. — Вот раздолбают немцев в Сталинграде и понаедут из эвакуации, еще хуже с площадью станет. У нас недавно вернулся рабочий на завод после двух ранений, конечно, дом разбомбили, поселился с семьей в нежилом подвале, жена, конечно, забеременела, двое детей туберкулезные. Залило их в подвале водой, выше колен. Они постелили доски на табуреты и по доскам ходили от кровати к столу, от стола к плите. Вот он стал добиваться — и в партком, и в райком, и Сталину писал. Все обещали, обещали. Он ночью подхватил жену, детей, барахло и занял площадь на пятом этаже, резерв райсовета. Комната восемь метров сорок три сотых. Тут целое дело поднялось! Прокурор его вызвал — в двадцать четыре часа освободи площадь или пойдешь в лагерь на пять лет, детей в детдом заберем. Он тогда что сделал? Имел за войну ордена, так он их себе в грудь вколотил, в живое мясо, и тут же, в цеху, повесился в обеденный перерыв. Ребята заметили, сразу чик веревку. «Скорая помощь» его в больницу свезла. Ему сразу после этого ордер дали, он пока в больнице еще, но повезло человеку, — площадь маленькая, а все удобства есть. Толково получилось.

Когда водитель досказал свою историю, явилась Надя.

— А вещи украдут, кто ответит? — спросил водитель.

Надя пожала плечами, стала ходить по комнатам, дуя на замерзшие пальцы.

Едва Надя вошла в дом, она стала сердить Штрума.

— Ты хоть воротник опусти, — сказал он, но Надя отмахнулась, крикнула в сторону кухни:

— Мама, я жутко есть хочу!

Людмила Николаевна в этот день проявила столько энергичной деятельности, что Штруму казалось, приложи она такую силу к фронтовым делам, немцы откатились бы на сто километров от Москвы.

Водопроводчик подключил отопление, трубы оказались в порядке, правда, они мало нагревались. Вызвать газового мастера было нелегко. Людмила Николаевна дозвонилась до директора газовой сети, и тот прислал мастера из аварийной бригады. Людмила Николаевна зажгла все газовые горелки, поставила на них утюги, и, хотя газ горел слабо, можно было сидеть без пальто. После трудов водителя, водопроводчика и газовщиков хлебный мешок стал совсем легкий.

До позднего вечера Людмила Николаевна занималась хозяйственными делами. Она обмотала щетку тряпкой и обтерла пыль с потолков и стен. Она обмыла от пыли люстру, вынесла на черный ход засохшие цветы, собрала множество хлама, старых бумаг, тряпок: ропщущая Надя три раза выносила ведра на помойку.

Людмила Николаевна перемыла кухонную и столовую посуду, и Виктор Павлович вытирал под ее руководством тарелки, вилки и ножи, чайную посуду она не доверила ему. Она затеяла стирку в ванной комнате, перетапливала на плите масло, перебирала привезенную из Казани картошку.

Штрум позвонил по телефону Соколову, подошла Марья Ивановна и сказала:

— Я уложила Петра Лаврентьевича спать, он устал с дороги, но, если что-нибудь срочное, я разбужу.

— Нет, нет, я хотел потрепаться без дела, — сказал Штрум.

— Я так счастлива, — сказала Марья Ивановна. — Мне все время плакать хочется.

— Приходите к нам, — сказал Штрум. — Как у вас, вечер свободен?

— Да что вы, сегодня невозможно, — смеясь сказала Марья Ивановна. — Столько дел и у Людмилы Николаевны, и у меня.

Она спросила о лимите на электричество, о водопроводе, и он неожиданно грубо сказал:

— Я сейчас позову Людмилу, она продолжит беседу о водопроводе. — Он тут же добавил подчеркнуто шутливо: — Жаль, жаль, что не придете, а то бы мы почитали поэму Флобера «Макс и Мориц».

Но она не ответила на шутку, проговорила:

— Я попозже позвоню. Если у меня столько хлопот в одной комнате, то сколько их у Людмилы Николаевны.

Штрум понял, что она обижена его грубым тоном. И вдруг ему захотелось в Казань. До чего странно все же устроен человек.

Штрум позвонил Постоевым, но у них оказался выключен телефон.

Он позвонил доктору физических наук Гуревичу, и ему сказали соседи, что Гуревич уехал к сестре в Сокольники.

Он позвонил Чепыжину, но к телефону никто не подошел.

Вдруг позвонил телефон, мальчишеский голос попросил Надю, но Надя в это время совершала рейс с мусорным ведром.

— Кто ее спрашивает? — строго спросил Штрум.

— Это неважно, один знакомый.

— Витя, хватит болтать по телефону, помоги мне отодвинуть шкаф, — позвала Людмила Николаевна.

— Да с кем я болтаю, я никому в Москве не нужен, — сказал Штрум. — Хотя бы поесть что-нибудь дала мне. Соколов уж нажрался и спит.

Казалось, что Людмила внесла в дом еще больший беспорядок, повсюду лежали груды белья, вынутая из шкафов посуда стояла на полу; кастрюли, корыта, мешки мешали ходить по комнатам и по коридору.

Штрум думал, что Людмила не будет первое время входить в комнату Толи, но он ошибся.

С озабоченными глазами и раскрасневшимся лицом она говорила:

— Витя, Виктор, поставь в Толину комнату, на книжный шкаф, китайскую вазу, я вымыла ее.

Вновь позвонил телефон, и он слышал, как Надя сказала:

— Здравствуй, да я никуда не ходила, мама погнала с мусорным ведром.

А Людмила Николаевна торопила его:

— Витя, помоги мне, не спи, ведь столько еще дела.

Какой могучий инстинкт живет в душе женщины, как силен и как прост этот инстинкт.

К вечеру беспорядок был побежден, в комнатах потеплело, привычный довоенный вид стал проступать в них.

Ужинали на кухне. Людмила Николаевна напекла коржей, нажарила пшенных котлет из сваренной днем каши.

— Кто это звонил тебе? — спросил Штрум у Нади.

— Да мальчишка, — ответила Надя и рассмеялась, — он уже четвертый день звонит, наконец дозвонился.

— Ты, что ж, переписку с ним вела? Предупредила заранее о приезде? — спросила Людмила Николаевна.

Надя раздраженно поморщилась, повела плечом.

— А мне хоть бы собака позвонила, — сказал Штрум.

Ночью Виктор Павлович проснулся. Людмила в рубахе стояла перед открытой дверью Толиной комнаты и говорила:

— Вот видишь, Толенька, я все успела, прибрала, и в твоей комнате, словно не было войны, мальчик мой хороший...

26

В одном из залов Академии наук собрались приехавшие из эвакуации ученые.

Все эти старые и молодые люди, бледные, лысые, с большими глазами и с пронзительными маленькими глазами, с широкими и узкими лбами, собравшись вместе, ощутили высшую поэзию, когда-либо существовавшую в жизни, поэзию прозы. Сырые простыни и сырые страницы пролежавших в нетопленых комнатах книг, лекции, читанные в пальто с поднятыми воротниками, формулы, записанные красными, мерзнущими пальцами, московский винегрет, построенный из ослизлой картошки и рваных листьев капусты, толкотня за талончиками, нудные мысли о списках на соленую рыбу и дополнительное постное масло,— все вдруг отступило. Знакомые, встречаясь, шумно здоровались.

Штрум увидел Чепыжина рядом с академиком Шишаковым.

— Дмитрий Петрович! Дмитрий Петрович! — повторил Штрум, глядя на милое ему лицо. Чепыжин обнял его.

— Пишут вам ваши ребята с фронта?— спросил Штрум.

— Здоровы, пишут, пишут.

И по тому, как нахмурился, а не улыбнулся Чепыжин, Штрум понял, что он уже знает о смерти Толи.

— Виктор Павлович,— сказал он.— Передайте жене вашей мой низкий поклон, до земли поклон. И мой, и Надежды Федоровны.

Сразу же Чепыжин сказал:

— Читал вашу работу, интересно, очень значительная, значительней, чем кажется. Понимаете, интересней, чем мы сейчас можем себе представить.

И он поцеловал Штрума в лоб.

— Да что там, пустое, пустое,— сказал Штрум, смутился и стал счастлив. Когда он шел на собрание, его волновали суетные мысли: кто читал его работу, что скажут о ней? А вдруг никто не читал ее?

И сразу же после слов Чепыжина его охватила уверенность—только о нем, только о его работе и будет здесь разговор.

Шишаков стоял рядом, а Штруму хотелось сказать Чепыжину о многом, чего не скажешь при постороннем, особенно при Шишакове.

Глядя на Шишакова, Штрум обычно вспоминал шутливые слова Глеба Успенского: «Пирамидальный буйвол!»

Квадратное, с большим количеством мяса, лицо Шишакова, надменный мясистый рот, мясистые пальцы с полированными ногтями, серебристо-серый литой и плотный ежик, всегда отлично сшитые костюмы—все это подавляло Штрума. Он, встречая Шишакова, каждый раз ловил себя на мысли: «Узнает?», «Поздоровается?»,— и, сердясь на самого себя, радовался, когда Шишаков медленно произносил мясистыми губами казавшиеся тоже говяжьими, мясистыми слова.

— Надменный бык! — говорил Соколову Штрум, когда речь заходила о Шишакове.— Я перед ним робею, как местечковый еврей перед кавалерийским полковником.

— А ведь подумать,— говорил Соколов.— Знаменит он тем, что не познаша позитрона при появлении фотографий. Известно каждому аспиранту—ошибка академика Шишакова.

Соколов очень редко говорил плохо о людях то ли из осторожности, то ли из религиозного чувства, запрещавшего осуждать близких. Но Шишаков безудержно раздражал Соколова, и Петр Лаврентьевич его часто поругивал и высмеивал, не мог сдержаться.

Заговорили о войне.

— Остановили немца на Волге,— сказал Чепыжин.— Вот она, волжская сила. Живая вода, живая сила.

— Сталинград, Сталинград,— сказал Шишаков,— в нем слились и триумф нашей стратегии, и стойкость нашего народа.

— А вы, Алексей Алексеевич, знакомы с последней работой Виктора Павловича?— спросил вдруг Чепыжин.

— Слышал, конечно, но не читал еще.

На лице Шишакова не видно было, что именно он слышал о работе Штрума.

Штрум посмотрел Чепыжину в глаза долгим взглядом—пусть его старый друг и учитель видит все, что пережил Штрум, пусть узнает о его потерях, сомнениях. Но и глаза Штрума увидели печаль, и тяжелые мысли, и старческую усталость Чепыжина.

Подошел Соколов, и, пока Чепыжин пожимал ему руку, академик Шишаков небрежно скользнул глазами по старенькому пиджаку Петра Лаврентьевича. А когда подошел Постоев, Шишаков радостно улыбнулся всем мясом своего большого лица, сказал:

— Здравствуй, здравствуй, дорогой мой, вот уж кого я рад видеть.

Они заговорили о здоровье, женах, детях, дачах—большие, великолепные богатыри.

Штрум негромко спросил Соколова:

— Как устроились, дома тепло?

— Пока не лучше, чем в Казани. Маша очень просила вам кланяться. Вероятно, завтра днем к вам зайдет.

— Вот чудесно,— сказал Штрум,— мы уж соскучились, привыкли в Казани встречаться каждый день.

— Да уж, каждый день,— сказал Соколов.— По-моему, Маша к вам по три раза в день заходила. Я уж предлагал ей к вам перебраться.

Штрум рассмеялся и подумал, что смех его не совсем естествен.

В зал вошел академик математик Леонтьев, носатый, с большим бритым черепом и с огромными очками в желтой оправе. Когда-то они, живя в Гаспре, поехали в Ялту, выпили много вина в магазинчике винторга, пришли в гаспринскую столовую с пением неприличной песни, переполошив персонал, насмешив всех отдыхающих. Увидя Штрума, Леонтьев заулыбался. Виктор Павлович слегка потупился, ожидая, что Леонтьев заговорит о его работе.

Но Леонтьев, видимо, вспомнил о гаспринских приключениях, замахал рукой, крикнул:

— Ну как, Виктор Павлович, споем?

Вошел темноволосый молодой человек в черном костюме, и Штрум заметил, что академик Шишаков тотчас поклонился ему.

К молодому человеку подошел Суслаков, ведавший важными, но непонятными делами при президиуме; известно было, что с его помощью легче, чем с помощью президента, можно было перевести доктора наук из Алма-Аты в Казань, получить квартиру. Это был человек с усталым лицом, из тех, что работают по ночам, с мятыми, из серого теста щеками, человек, который всем и всегда был нужен.

Все привыкли к тому, что Суслаков на заседаниях курил «Пальмиру», а академики табак и махорку и что, выходя из подъезда Академии, не ему говорили знаменитые люди: «Давайте подвезу», а он, подходя к своему ЗИСу, говорил знаменитым людям: «Давайте подвезу».

Теперь Штрум, наблюдая за разговором Суслакова с темноволосым молодым человеком, видел, что тот ничего не просил у Суслакова,— как бы грациозно ни была выражена просьба, всегда можно угадать, кто просит и у кого просят. Наоборот, молодой человек не прочь был поскорей закончить разговор с Суслаковым. Молодой человек с подчеркнутой почтительностью поклонился Чепыжину, но в этой почтительности мелькнула неуловимая, но все же как-то и уловимая небрежность.

— Между прочим, кто этот юный вельможа?— спросил Штрум.

Постоев проговорил вполголоса:

— Он с недавнего времени работает в отделе науки Центрального Комитета.

— Знаете,— сказал Штрум,— у меня удивительное чувство. Мне кажется, что упорство наше в Сталинграде—это упорство Ньютона, упорство Эйнштейна, что победа на Волге знаменует торжество идей Эйнштейна, словом, понимаете, вот такое чувство.

Шишаков недоуменно усмехнулся, слегка покачал головой.

— Неужели не понимаете меня, Алексей Алексеевич? — сказал Штрум.

— Да, темна вода во облацех, — сказал, улыбаясь, оказавшийся рядом молодой человек из отдела науки. — Видимо, так называемая теория относительности и может помочь отыскать связь между русской Волгой и Альбертом Эйнштейном.

— Так называемая? — удивился Штрум и поморщился от насмешливой недоброжелательности, проявленной к нему.

Ища поддержки, он посмотрел на Шишакова, но, видимо, и на Эйнштейна распространялось спокойное пренебрежение пирамидального Алексея Алексеевича.

Злое чувство, мучительное раздражение охватило Штрума. Так иногда случалось с ним, ошпарит обида, и большой силы стоит сдержаться. А потом уж дома, ночью он произносил свою ответную речь обидчикам, сердце замирало. Иногда, забываясь, он кричал, жестикулировал, защищая в этих воображаемых речах свою любовь, смеясь над врагами. Людмила Николаевна говорила Наде: «Опять папа речи произносит».

В эти минуты он чувствовал себя оскорбленным не только за Эйнштейна. Каждый знакомый, казалось ему, должен был говорить с ним о его работе, он должен был быть в центре внимания собравшихся. Он чувствовал себя обиженным и уязвленным. Он понимал, что смешно обижаться на подобные вещи, но он был обижен. Один лишь Чепыжин заговорил с ним о его работе.

Кротким голосом Штрум сказал:

— Фашисты изгнали гениального Эйнштейна, и их физика стала физикой обезьян. Но, слава богу, мы остановили движение фашизма. И все это вместе: Волга, Сталинград, и первый гений нашей эпохи Альберт Эйнштейн, и самая темная деревушка, и безграмотная старуха крестьянка, и свобода, которая нужна всем. Ну вот все это и соединилось. Я, кажется, высказался путанно, но, наверное, нет ничего яснее этой путаницы.

— Мне кажется, Виктор Павлович, что в вашем панегирике Эйнштейну есть сильный перебор, — сказал Шишаков.

— В общем, — весело проговорил Постоев, — я бы сказал, перебор есть.

А молодой человек из отдела науки грустно посмотрел на Штрума.

— Вот, товарищ Штрум, — проговорил он, и вновь Штрум ощутил недоброжелательность его голоса. — Вам кажется естественным в такие важные для нашего народа дни соединить в своем сердце Эйнштейна и Волгу, а у ваших оппонентов просыпается в эти дни иное в сердце. Но над сердцем никто не волен, и спорить тут не о чем. А касаемо оценок Эйнштейна — тут уж можно поспорить, потому что выдавать идеалистическую теорию за высшие достижения науки, мне думается, не следует.

— Да бросьте вы, — перебил его Штрум. Надменным учительским голосом он сказал: — Алексей Алексеевич, современная физика без Эйнштейна — это физика обезьян. Нам не положено шутить с именами Эйнштейна, Галилея, Ньютона.

И он предостерег Алексея Алексеевича движением пальца, увидел, как заморгал Шишаков.

Вскоре Штрум, стоя у окна, то шепотом, то громко передавал об этом неожиданном столкновении Соколову.

— А вы были совсем рядом и ничего даже не слышали, — сказал Штрум. — И Чепыжин как назло отошел, не слышал.

Он нахмурился, замолчал. Как наивно, по-ребячьи мечтал он о своем сегодняшнем торжестве. Оказывается, всеобщее волнение вызвал приход какого-то ведомственного молодого человека.

— А знаете фамилию этого молодого вьюноши? — вдруг, точно угадывая его мысль, спросил Соколов. — Чей он родич?

— Понятия не имею, — ответил Штрум.

Соколов, приблизив губы к уху Штрума, зашептал.

— Что вы говорите! — воскликнул Штрум. И, вспомнив казавшееся ему непонятным отношение пирамидального академика и Суслакова к юноше студенческого возраста, протяжно произнес: — Так во-о-о-т оно что, а я-то все удивлялся.

Соколов, посмеиваясь, сказал Штруму:

— С первого дня вы себе обеспечили дружеские связи и в отделе науки и в академическом руководстве. Вы как тот марктвеновский герой, который расхвастался о своих доходах перед налоговым инспектором.

Но Штруму эта острота не понравилась, он спросил:

— А вы действительно не слышали нашего спора, стоя рядом со мной? Или не хотели вмешиваться в мой разговор с фининспектором?

Маленькие глаза Соколова улыбнулись Штруму, стали добрыми и оттого красивыми.

— Виктор Павлович, — сказал он, — не расстраивайтесь, неужели вы думаете, что Шишаков может оценить вашу работу? Ах, боже мой, боже мой, сколько тут житейской суеты, а ваша работа — это ведь настоящее.

И в глазах, и в голосе его была та серьезность, то тепло, которых ждал от него Штрум, придя к нему казанским осенним вечером. Тогда в Казани Виктор Павлович не получил их.

Началось собрание. Выступавшие говорили о задачах науки в тяжелое время войны, о готовности отдать свои силы народному делу, помочь армии в ее борьбе с немецким фашизмом. Говорилось о работе институтов Академии, о помощи, которую окажет Центральный Комитет партии ученым, о том, что товарищ Сталин, руководя армией и народом, находит время интересоваться вопросами науки, и о том, что ученые должны оправдать доверие партии и лично товарища Сталина.

Говорилось и об организационных изменениях, назревших в новой обстановке. Физики с удивлением узнали, что они недовольны научными планами своего института; слишком много внимания уделяется чисто теоретическим вопросам. В зале шепотом передавали друг другу слова Суслакова: «Институт, далекий от жизни».

27

В Центральном Комитете партии рассматривался вопрос о состоянии научной работы в стране. Говорили, что партия главное внимание обратит теперь на развитие физики, математики и химии.

Центральный Комитет считал, что наука должна повернуться лицом к производству, ближе, тесней связаться с жизнью.

Говорили, что на заседании присутствовал Сталин, по обыкновению он ходил по залу, держа в руке трубку, задумчиво останавливался во время своих прогулок, прислушиваясь то ли к словам выступавших, то ли к своим мыслям.

Участники совещания резко выступали против идеализма и против недооценки отечественной философии и науки.

Сталин на совещании подал две реплики. Когда Щербаков высказался за ограничение бюджета Академии, Сталин отрицательно покачал головой и сказал:

— Науку делать — не мыло варить. На Академии экономить не будем.

Вторая реплика была подана, когда на совещании говорилось о вредных идеалистических теориях и чрезмерном преклонении части ученых перед западной наукой. Сталин кивнул головой, сказал:

— Надо наконец защитить наших людей от аракчеевцев.

Ученые, приглашенные на это совещание, рассказывали о нем друзьям, взяв с них слово молчать. Через три дня вся ученая Москва в десятках семейных и дружеских кружков вполголоса обсуждала подробности совещания.

Шепотом говорили о том, что Сталин седой, что у него во рту черные, порченые зубы, что у него красивые с тонкими пальцами руки и рябое от оспы лицо.

Слушавших эти рассказы несовершеннолетних предупреждали:

— Смотри, будешь болтать, погубишь не только себя, но и всех нас.

Все считали, что положение ученых станет значительно лучше, большие надежды связывались со словами Сталина об аракчеевщине.

Через несколько дней был арестован видный ботаник, генетик Четвериков. О причине его ареста ходили разные слухи: одни говорили, что он оказался шпионом, другие — что во время своих поездок за границу он встречался с русскими эмигрантами, третьи — что его жена, немка, перепи-

сывалась до войны с сестрой, живущей в Берлине, четвертые говорили, что он пытался ввести негодные сорта пшеницы, чтобы вызвать мор и неурожай, пятые связывали его арест со сказанной им фразой о персте указующем, шестые — с политическим анекдотом, который он рассказал товарищу детства.

Во время войны сравнительно редко приходилось слышать о политических арестах, и многим, в том числе и Штруму, стало казаться, что эти страшные дела навсегда прекратились.

Вспомнился 1937 год, когда почти ежедневно называли фамилии людей, арестованных минувшей ночью. Вспомнилось, как сообщали об этом друг другу по телефону: «Сегодня ночью заболел муж Анны Андреевны...» Вспомнилось, как соседи отвечали по телефону об арестованных: «Уехал и неизвестно когда вернется...» Вспомнились рассказы о том, как арестовывали, — пришли домой, а он купал в это время ребенка, взяли на работе, в театре, глубокой ночью... Вспомнилось: «Обыск продолжался двое суток, перерыли все, даже полы взламывали... Почти ничего не смотрели, так, для приличия полистали книги...»

Вспомнились десятки фамилий ушедших и не вернувшихся: академик Вавилов... Визе... поэт Мандельштам, писатель Бабель... Борис Пильняк... Мейерхольд... бактериологи Коршунов и Златогоров... профессор Плетнев... доктор Левин...

Но дело не в том, что арестованные были выдающимися, знаменитыми. Дело в том, что и знаменитые, и безвестные, скромные, незаметные были невинны, все они честно работали.

Неужели все это начнется вновь, неужели и после войны душа будет замирать от ночных шагов, гудков машин?

Как трудно связать войну за свободу и это... Да, да, зря мы так разболтались в Казани.

А через неделю после ареста Четверикова Чепыжин заявил о своем уходе из Института физики, и на его место был назначен Шишаков.

К Чепыжину приезжал на дом президент Академии, говорили, что будто бы Чепыжина вызывал к себе то ли Берия, то ли Маленков, что Чепыжин отказался менять тематический план института.

Говорили, что, признавая его большие научные заслуги, вначале не хотели применять к нему крайние меры. Одновременно был отстранен и директор-администратор, молодой либерал Пименов, как не соответствующий назначению.

Академику Шишакову были поручены функции директора и научное руководство, которое осуществлял Чепыжин.

Прошел слух, что у Чепыжина после этих событий был сердечный приступ. Штрум сейчас же собрался поехать к нему, позвонил по телефону; домашняя работница, подошедшая к телефону, сказала, что Дмитрий Петрович действительно последние дни себя чувствовал плохо и по совету доктора уехал вместе с Надеждой Федоровной за город, вернется через две-три недели.

Штрум говорил Людмиле:

— Вот так, словно мальчишку, ссаживают со ступенек трамвая, а называется это защитой от аракчеевщины. Физике что до того, марксист Чепыжин, буддист или ламаист. Чепыжин школу создал. Чепыжин друг Резерфорда. Уравнение Чепыжина знает каждый дворник.

— Ну, насчет дворников, папа, ты хватил, — сказала Надя.

Штрум сказал:

— Смотри, будешь болтать, погубишь не только себя, но и всех нас.

— Я знаю, такие речи только для домашних.

Штрум сказал кротко:

— Увы, Наденька, что я могу сделать для изменения решения ЦК? Головой об стену биться? И ведь Дмитрий Петрович сам заявил о желании уйти. И, как говорится, народ не одобрил его деятельность.

Людмила Николаевна сказала мужу:

— Не надо так кипеть. Да, кроме того, ты ведь сам спорил с Дмитрием Петровичем.

— Если не спорят, нет настоящей дружбы.

— Вот именно, — сказала Людмила Николаевна. — И увидишь, тебя с твоим языком еще отстранят от руководства лабораторией.

— Не это меня волнует, — сказал Штрум. — Надя права, действительно, все мои разговоры для внутреннего употребления, дуля в кармане. Позвони Четвериковой, зайди к ней! Ведь вы знакомы.

— Это не принято, да и не так близко мы знакомы, — сказала Людмила Николаевна. — Помочь я ничем не могу ей. Не до меня ей теперь. Ты-то кому звонил после таких событий?

— А по-моему, надо, — сказала Надя.

Штрум поморщился.

— Да звонки, по существу, та же дуля в кармане.

Он хотел поговорить с Соколовым об уходе Чепыжина, не с женами и дочерьми говорить об этом. Но он заставлял себя не звонить Петру Лаврентьевичу, разговор не для телефона.

Странно все же. Почему Шишакова? Вот ведь ясно, что последняя работа Штрума — событие в науке. Чепыжин сказал на Ученом совете, что это — самое значительное событие за десятилетие в советской физической теории. А во главе Института ставят Шишакова. Шутка ли? Человек смотрит на сотни фотографий, видит следы электронов, отклоняющихся влево, и вдруг перед ним фотографии таких же следов, таких же частиц, отклоняющихся вправо. Можно сказать, зажал в руке позитрон. Вот молодой Савостьянов сообразил бы! А Шишаков оттопырил губы и отложил фотографии в сторону, как дефектные. «Эх, — сказал Селифан, — так это же есть направо, не знаешь, где право, а где лево».

Но самое удивительное то, что никого такие вещи почему-то не удивляют. Они каким-то образом сами по себе стали естественны. И все друзья Штрума, и жена его, и он сам считают это положение законным. Штрум не годится в директора, а Шишаков годится.

Как сказал Постоев? Ага, да... «Самое главное, что мы с вами русские люди».

Но уж трудно, кажется, быть более русским, чем Чепыжин.

Утром, идя в Институт, Штрум представлял себе, что там все сотрудники, от докторов до лаборантов, только и говорят о Чепыжине.

Перед институтским подъездом стоял ЗИС, шофер, пожилой человек в очках, читал газету.

Старик сторож, с которым Штрум летом пил чай в лаборатории, встретил его на лестнице, сказал:

— Новый начальник приехал. — И сокрушенно добавил: — Дмитрий-то Петрович наш, а?

В зале лаборанты говорили о монтаже оборудования, которое накануне прибыло из Казани. Большие ящики загромождали главный лабораторный зал. Вместе со старым оборудованием прибыла новая аппаратура, сделанная на Урале. Ноздрин, с показавшимся Штруму надменным лицом, стоял возле огромного дощатого ящика.

Перепелицын прыгал вокруг этого ящика на одной ноге и держал под мышкой костыль.

Анна Степановна, показывая на ящики, проговорила:

— Вот видите, Виктор Павлович!

— Такую махину слепой увидит, — сказал Перепелицын.

Но Анна Степановна имела в виду не ящики.

— Вижу, вижу, конечно, вижу, — сказал Штрум.

— Через час рабочие приедут, — сказал Ноздрин. — Мы с профессором Марковым договорились.

Он произнес эти слова спокойным, медленным голосом хозяина. Пришла пора его силы.

Штрум прошел к себе в кабинет. Марков и Савостьянов сидели на диване, Соколов стоял у окна, заведующий соседней магнитной лабораторией Свечин сидел за письменным столом и курил самокрутку.

Когда Штрум вошел, Свечин встал, уступая ему кресло:

— Хозяйское место.

— Ничего, ничего, сидите, — сказал Штрум и тут же спросил: — О чем беседа в высоком собрании?

Марков сказал:

— Вот о лимитах. Будто для академиков лимит поднимут до полутора тысяч, а для смертных повысят до пятисот, как у народных артистов и великих поэтов типа Лебедева-Кумача.

— Начинаем монтаж оборудования, — сказал Штрум, — а Дмитрия Петровича нет в Институте. Как говорится: дом горит, а часы идут.

Но сидевшие не приняли предложенного Штрумом разговора. Савостьянов сказал:

— Вчера приехал двоюродный брат, по дороге из госпиталя на фронт, понадобилось выпить, и я купил у соседки пол-литра водки за триста пятьдесят рублей.

— Фантастика! — сказал Свечин.

— Науку делать — не мыло варить, — весело сказал Савостьянов, но по лицам собеседников увидел, что шутка его неуместна.

— Новый шеф уже здесь, — сказал Штрум.

— Человек большой энергии, — сказал Свечин.

— Мы за Алексеем Алексеевичем не пропадем, — сказал Марков. — У товарища Жданова дома чай пил.

Удивительный был человек Марков, — казалось, знакомств у него немного, а всегда знал все: и про то, что в соседней лаборатории забеременела кандидат наук Габричевская, и что у уборщицы Лиды муж снова попал в госпиталь, и что ВАК не утвердил Смородинцева в звании доктора.

— Чего уж, — проговорил Савостьянов. — Прославленная ошибка Шишакова нам известна. А человек он, в общем, неплохой. Знаете, кстати, разницу между хорошим и плохим человеком? Хороший человек подлости делает неохотно.

— Ошибка ошибкой, — проговорил заведующий магнитной лабораторией, — но ведь за ошибку человека не делают академиком.

Свечин был членом партбюро Института, в партию он вступил осенью 1941 года и, как многие люди, недавно приобщенные к партийной жизни, был непоколебимо прямолинеен, относился к партийным поручениям с молитвенной серьезностью.

— Виктор Павлович, — сказал он, — у меня к вам дело, партбюро просит вас выступить на собрании в связи с новыми задачами.

— Ошибка руководства, проработка Чепыжина? — спросил Штрум с раздражением, разговор шел совсем не так, как ему хотелось. — Не знаю, хороший я или плохой, но подлости я делаю неохотно.

Повернувшись к сотрудникам лаборатории, он спросил:

— Вы, товарищи, например, согласны с уходом Чепыжина? — Он был заранее уверен в их поддержке и смутился, когда Савостьянов неопределенно пожал плечами.

— Старам стал, плохам стал.

Свечин сказал:

— Чепыжин объявил, что никаких новых работ ставить не будет. Что же было делать? Да к тому же он ведь сам отказался, а его, наоборот, просили остаться.

— Аракчеев? — спросил Штрум. — Вот, наконец обнаружили.

Марков, понизив голос, сказал:

— Виктор Павлович, говорят, что в свое время Резерфорд дал клятву не начинать работу с нейтронами, опасаясь, что с их помощью можно будет добраться до огромных взрывных сил. Благородно, но чистоплюйство бессмысленное. А Дмитрий Петрович, так рассказывают, вел разговор в подобном же баптистском духе.

«Господи, — подумал Штрум, — откуда он узнает все?»

Он проговорил:

— Петр Лаврентьевич, выходит, мы с вами не в большинстве.

Соколов покачал головой:

— Виктор Павлович, мне кажется, что в такое время индивидуализм, строптивость недопустимы. Война ведь. Не о себе, не о своих интересах должен был думать Чепыжин, когда с ним говорили старшие товарищи.

— Ах так, и ты, Брут? — сказал Штрум, скрывая в насмешливой фразе свою растерянность.

Но вот что удивительно: он не только растерялся, он словно бы обрадовался. «Ну, конечно, так я и знал», — подумал он. Но почему: «Ах, ну, конечно?» Ведь он не предполагал, что Соколов может ответить таким образом. А если б предполагал, то чему было радоваться?

— Вы должны выступить, — сказал Свечин. — Совершенно не обязательно вам критиковать Чепыжина. Хотя бы несколько слов о перспективах вашей работы в связи с решением ЦК.

До войны Штрум встречался со Свечиным на симфонических концертах в консерватории. Рассказывали, что в молодые годы, учась на физмате, Свечин писал заумные стихи, носил хризантему в петлице. А теперь Свечин говорил о решениях партбюро так, словно речь шла о формулировании конечных истин.

Штруму иногда хотелось подмигнуть ему, легонько толкнуть пальцем в бок, сказать: «Э, старик, поговорим по-простому».

Но он знал, что со Свечиным теперь по-простому не поговорить. И все же, пораженный словами Соколова, Штрум заговорил по-простому.

— Посадка Четверикова, — спросил он, — тоже связана с новыми задачами? А старший Вавилов тоже в связи с этим сел? А если я вообще позволю себе заявить, что Дмитрий Петрович для меня больший авторитет в физике, чем товарищ Жданов, заведующий отделом науки ЦК и даже...

Он увидел глаза людей, смотревших на него и ждавших, что он произнесет имя Сталина, махнул рукой, сказал:

— Ну, ладно, хватит, пойдем в лабораторный зал.

Ящики с новой аппаратурой, прибывшей с Урала, были уже раскрыты, и из опилок, бумаги, взломанных нетесаных досок осторожно освободили основную, весившую три четверти тонны часть установки. Штрум приложил ладонь к полированной поверхности металла.

Из этого металлического чрева будет рождаться, словно Волга из-под часовенки на Селигере, стремительный пучок частиц.

Хорошими были глаза у людей в эти минуты. Хорошо, когда чувствуешь, есть на свете вот такая чудесная махина, чего ж еще?

После работы Штрум и Соколов остались одни в лаборатории.

— Виктор Павлович, зачем вы выскакиваете, как петух? Нет в вас смирения. Я рассказал Маше о ваших успехах на заседании в Академии, когда вы за полчаса ухитрились испортить отношения с новым директором и с великим мальчишкой из отдела науки. Маша ужасно расстроилась, даже ночью не спала. Вы знаете время, в котором мы живем. Я видел ваше лицо, как вы смотрели на аппаратуру. И всем этим жертвовать ради пустой фразы.

— Постойте, постойте, — сказал Штрум. — Дышать нечем.

— А, господи, — перебил его Соколов. — В работе никто вам не станет мешать. Дышите себе вовсю.

— Знаете, дорогой мой, — сказал Штрум и кисло улыбнулся, — у вас дружеские претензии ко мне, спасибо от души. Разрешите и мне, в порядке взаимной искренности. Ну, зачем вы, ей-богу, вдруг при Свечине так сказали о Дмитрии Петровиче? Мне как-то очень это больно после казанского свободомыслия. А обо мне... к сожалению, не такой уж я отчаянный. Не Дантон, как говорили мы в студенческие времена.

— Ну, и слава богу, что не Дантон. Откровенно говоря, я всегда считал, что политические ораторы как раз те люди, которые не могут себя выразить в творчестве, в созидании. А мы с вами можем.

— Ну, вот тебе раз, — сказал Штрум, — а куда вы денете французика Галуа? А куда деть Кибальчича?

Соколов отодвинул стул, сказал:

— Кибальчич, знаете, на плаху пошел, а я говорю о пустой болтовне. Вот той, которой занимался Мадьяров.

Штрум спросил:

— Это значит, и я пустой болтун?

Соколов молча пожал плечами.

Ссора, казалось, забудется так же, как были забыты многие их столкновения и споры. Но почему-то эта короткая вспышка не прошла без следа, не забылась. Когда жизнь одного человека дружески сходится с жизнью второго, они, случается, ссорятся и бывают несправедливы в споре, и все же их взаимные обиды уходят без следа. Но если намечается внутреннее разделение между людьми, еще не понимающими этого внутреннего разделения, то и случайное слово, мелкая небрежность в отношениях превращаются в острие, смертельное для дружбы.

И часто внутреннее расхождение лежит так глубоко, что никогда не выходит на свет, никогда не осознается людьми. Пустой, шумный спор, сорвавшееся недоброе слово кажутся им тогда роковой причиной, погубившей многолетнее товарищество.

Нет, не из-за гусака поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем!

28

О новом заместителе директора Института Касьяне Терентьевиче Ковченко говорили: «Верный шишаковский кадр». Ласковый, вставляющий в разговор украинские слова, Ковченко с удивительной быстротой получил квартиру и персональную машину.

Марков, знаток множества историй об академиках и академическом начальстве, рассказывал, что Ковченко получил звание лауреата Сталинской премии за работу, которую впервые прочел после того, когда она была опубликована, — его участие в работе состояло в том, что он добыл дефицитные материалы и ускорил прохождение работы по инстанциям.

Шишаков поручил Ковченко организовать конкурс на замещение новых вакансий. Был объявлен набор старших научных сотрудников, были вакантные должности заведующих вакуумной лаборатории и лаборатории низких температур.

Военвед выделил материалы и рабочих, перестраивались механические мастерские, ремонтировалось институтское здание, МоГЭС снабжал Институт безлимитной энергией, номерные заводы выделяли Институту дефицитные материалы. Всеми этими делами также заправлял Ковченко.

Обычно, когда в учреждение приходит новый начальник, о нем с уважением говорят: «Приезжает раньше всех на работу, сидит позже всех». Так говорили о Ковченко. Но еще большее уважение служащих вызывает новый начальник, о котором говорят: «Вот уж две недели, как назначен, а он один раз на полчасика заехал. Не бывает совершенно». Это свидетельствует о том, что начальник вырабатывает новые скрижали, витает в государственной стратосфере.

Так в Институте первое время говорили об академике Шишакове.

А Чепыжин уехал на дачу работать, как он сказал, в хате-лаборатории. Знаменитый сердечник профессор Файнгарт советовал ему не делать резких движений, не поднимать тяжестей. Чепыжин на даче колол дрова, копал канавы и чувствовал себя хорошо, писал Файнгарту, что строгий режим помог ему.

В голодной и холодной Москве Институт казался теплым и сытым оазисом. Сотрудники, намерзшиеся за ночь в сырых квартирах, приходя утром на работу, с наслаждением прикладывали ладони к горячим радиаторам.

Особенно нравилась институтской публике новая столовая, устроенная в полуподвальном помещении. При столовой имелся буфет, где продавались простокваша, сладкий кофе, колбаса. При отпуске продуктов буфетчица не отбирала талонов на мясо и жиры с продовольственных карточек, это особенно ценилось институтской публикой.

Обеды в столовой делились на шесть категорий: для докторов наук, для старших научных сотрудников, для младших научных сотрудников, для старших лаборантов, для технического и для обслуживающего персонала.

Главные волнения возникали вокруг обедов двух высших категорий, отличавшихся друг от друга наличием на третье блюдо компота из сухофруктов либо порошкового киселя. Волнения возникали и в связи с продовольственными пакетами, которые выдавались на дом докторам, заведующим отделами.

Савостьянов говорил, что, вероятно, о теории Коперника было меньше произнесено речей, чем об этих продовольственных пакетах.

Иногда казалось, что в создании мистических распределительных скрижалей участвуют не только дирекция и партком, но и более высокие, таинственные силы.

Вечером Людмила Николаевна сказала:

— Странно, однако, получала я сегодня твой пакет, Свечин, полное научное ничтожество, получил два десятка яиц, а тебе почему-то причитается пятнадцать. Я даже по списку проверила. Тебе и Соколову по пятнадцать.

Штрум произнес шутливую речь:

— Черт знает что такое! Как известно, ученые у нас распределяются по категориям — величайший, великий, знаменитый, выдающийся, наконец, старейший. Поскольку величайших и великих нет среди живых, яиц им выдавать не надо. Всем остальным капуста, манка и яйца выдаются в соответствии с ученым весом. А у нас все путается: общественно пассивен, руководит семинаром по марксизму, близок к дирекции. Получается ерунда. Зав. гаражом Академии приравнен к Зелинскому: двадцать пять яиц. Вчера в лаборатории у Свечина одна очень милая женщина даже разрыдалась от обиды и отказалась принимать пищу, как Ганди.

Надя, слушая отца, хохотала, а потом сказала:

— Знаешь, папа, удивительно, как вы не стесняетесь лопать свои отбивные рядом с уборщицами. Бабушка ни за что бы не согласилась.

— Видишь ли, — сказала Людмила Николаевна, — ведь в этом принцип: каждому по труду.

— Да ну, ерунда. Социализмом от этой столовки не пахнет, — сказал Штрум и добавил: — Ну, хватит об этом, я плюю на все это. А знаете, — вдруг сказал он, — что мне сегодня рассказывал Марков? Мою работу люди не только в нашем Институте, но и в Институте математики и механики перепечатывают на машинке, друг другу дают читать.

— Как стихи Мандельштама? — спросила Надя.

— Ты не смейся, — сказал Штрум. — И студенты старших курсов просят, чтобы им прочли специальную лекцию.

— Что ж, — сказала Надя, — мне и Алка Постоева говорила: «Твой папа в гении вышел».

— Ну, положим, до гениев мне далеко, — сказал Штрум.

Он пошел к себе в комнату, но вскоре вернулся и сказал жене:

— Не выходит из головы эта чепуха. Свечину выписали два десятка яиц. Удивительно у нас умеют оскорблять людей!

Стыдно было, но Штрума кольнуло, почему Соколов стоял в списке в одной категории с ним. Конечно, надо было отметить преимущество Штрума хоть одним яичком, ну, дали бы Соколову четырнадцать, чуток меньше, отметить только.

Он высмеивал себя, но жалкое раздраженное ощущение от равенства выдач с Соколовым было почему-то обидней, чем преимущества Свечина. Со Свечиным дело было проще, — он член партийного бюро, его преимущества шли по государственной линии. К этому Штрум был равнодушен.

А с Соколовым дело касалось научной силы, ученых заслуг. Тут уж Штрум не был равнодушен. Томительное, из глубины души идущее раздражение охватило его. Но в какой смешной, жалкой форме происходили эти оценки. Он понимал это. Но что же делать, если человек не всегда велик, бывает он и жалок.

Ложась спать, Штрум вспомнил свой недавний разговор с Соколовым о Чепыжине и громко, сердито сказал:

— Гомо лакеус.

— Ты о ком? — спросила Людмила Николаевна, читавшая в постели книгу.

— Да о Соколове, — сказал Штрум. — Лакей он.

Людмила, заложив палец в книгу, сказала, не поворачивая к мужу головы:

— Вот ты дождешься, что тебя выставят из Института, и все ради красного словца. Раздражителен, всех поучаешь... Перессорился со всеми, а теперь, я вижу, хочешь и с Соколовым поссориться. Скоро ни один человек не будет бывать в нашем доме.

Штрум сказал:

— Ну, не надо, не надо, Люда, милая. Ну, как тебе объяснить? Понимаешь, снова тот же довоенный страх за каждое слово, та же беспомощность. Чепыжин! Люда, ведь это великий человек! Я думал, что Институт гудеть будет, а оказалось, один лишь старик сторож посочувствовал ему. Вот Постоев сказал Соколову: «А самое главное, мы с вами русские люди». К чему это он сказал?

Ему хотелось долго говорить с Людмилой, рассказать ей о своих мыслях. Ему ведь стыдно, что все эти дела с выдачей продуктов невольно занимают его. Почему это? Почему в Москве он словно бы постарел, потускнел, его волнуют житейские мелочи, мещанские интересы, служебные дела? Почему в казанской провинции его душевная жизнь была глубже, значительней, чище? Почему даже его главный научный интерес, его радость замутились, связались с мелкими честолюбивыми мыслишками?

— Люда, тяжело мне, трудно. Ну, чего же ты молчишь? А, Люда?

Людмила Николаевна молчала. Она спала.

Он тихонько рассмеялся, ему показалось смешным, что одна женщина, узнав о его художествах, не спала, а другая уснула. Потом он представил себе худое лицо Марьи Ивановны и вновь повторил слова, только что сказанные жене:

— Ты понимаешь меня? А, Маша?

«Черт, что за чушь лезет в голову», — подумал он, засыпая.

В голову действительно лезла чушь.

29

У Штрума были бездарные руки. Обычно, когда дома перегорал электрический утюг, погасал свет из-за короткого замыкания, починками занималась Людмила Николаевна.

Людмилу Николаевну в первые годы жизни со Штрумом умиляла его беспомощность. Но в последнее время она начала раздражаться на него и однажды, когда он поставил пустой чайник на огонь, сказала:

— Глиняные руки у тебя, Фитюлькин ты какой-то!

Это сердившее и обижавшее его слово Штрум часто вспоминал, когда в Институте началась работа по монтажу аппаратуры.

В лаборатории воцарились Марков и Ноздрин. Савостьянов первым ощутил это и сказал на производственном совещании:

— Нет бога, кроме профессора Маркова и Ноздрина, пророка его!

Чопорность и сдержанность Маркова исчезли. Он восхищал Штрума смелостью мысли, на ходу решал внезапно возникавшие задачи. Штруму казалось, что Марков хирург, действующий скальпелем среди сплетений кровеносных сосудов и нервных узлов. Казалось, рождалось разумное существо с сильным, зорким разумом. Казалось, что новый, впервые в мире возникший металлический организм наделен сердцем, чувствами, способен радоваться и страдать наравне с создавшими его людьми.

Штрума всегда немного смешила непоколебимая уверенность Маркова в том, что его работа, приборы, построенные им, значат больше, чем пустые дела, которыми занимались Будда и Магомет, либо книги, написанные Толстым и Достоевским.

Толстой сомневался в пользе своей великой писательской работы! Гений не был уверен в том, что делает дело, нужное людям. Но физики не сомневались в том, что их дело нужно людям. Марков не сомневался.

Но сейчас эта уверенность Маркова не казалась Штруму смешной.

Штрум любил наблюдать, как Ноздрин работает напильником, щипцами, отвертками либо задумчиво перебирает пряди проводов, помогая электрикам, ведущим подводку электроэнергии к новой установке.

На полу лежали мотки проводов, тусклые, синеватые листы свинца. Посередине зала на чугунной плите стояла привезенная с Урала основная часть установки с расточенными круглыми и прямоугольными прорезями. Какая-то щемящая, тревожная прелесть была в этой грубой глыбе металла, служащей фантастически тонким исследованиям вещества.

На берегу моря тысячу или две тысячи лет тому назад несколько человек строили плот из толстых бревен, скрепляли их веревками и скобами. На песчаном берегу стояли вóроты, верстаки и грелись на кострах горшки со смолой... Приближался час отплытия.

Вечером строители плота возвращались в свои дома, вдыхали запах жилья, тепло жаровень, слушали руготню и смех женщин. Иногда они встревали в домашние свары, шумели, замахивались на детей, ссорились с соседями. А ночью в теплой мгле становился слышен шум моря, и сердце сжималось в предчувствии неведомой дороги.

Соколов, наблюдая за работой, обычно молчал. Штрум, оглядываясь, обычно встречал его серьезный, внимательный взгляд, и, казалось, то хорошее, важное, что всегда было между ними, продолжало существовать.

Штруму хотелось откровенного разговора с Петром Лаврентьевичем. В самом деле, все так странно. Вот эти унижающие душу талонные, лимитные страсти, мыслишки о мере почета, о внимании начальства. И тут же в душе продолжается то, что не зависит от начальства, от служебных успехов и неуспехов, премий.

Теперь снова казанские вечера кажутся хорошими, молодыми, что-то в них было от студенческих дореволюционных сходок. Только бы Мадьяров оказался честным человеком. Странно ведь: Каримов подозревает Мадьярова, Мадьяров — Каримова... Оба честные! Он уверен в этом. Впрочем, может быть, как сказал Гейне: «Die beiden stincken»[1].

Ему иногда вспоминается разговор с Чепыжиным о квашне. Почему теперь, когда он вернулся в Москву, в душе поднимается все мелкое, ничтожное? Почему на поверхность поднимаются люди, которых он не уважает? Почему оказываются негодны те, в чью силу, талант, честность он верит? Ведь Чепыжин говорил о гитлеровской Германии, ведь Чепыжин был не прав.

— Удивительно, — сказал Соколову Штрум, — посмотреть на работу по сбору нашей установки приходят люди из разных лабораторий. А вот Шишаков не удосужился, ни разу не был.

— Делов у него много, — сказал Соколов.

— Конечно, конечно, — поспешно согласился Штрум.

Да, попробуй затей с Петром Лаврентьевичем после возвращения в Москву искренний, дружеский разговор. Свой своя не познаша.

Странно, но он перестал спорить с Соколовым по любому поводу, появилось желание уходить от спора.

Но и уйти от спора было нелегко. Иногда спор возникал внезапно, неожиданно для Штрума.

Штрум протяжно сказал:

— Вспомнил я наши казанские разговоры... Кстати, как Мадьяров, пишет вам?

Соколов покачал головой.

— Не знаю, не знаю, как Мадьяров. Я ведь говорил вам, что мы перестали встречаться перед отъездом. Мне все неприятней вспоминать о наших разговорах той поры. От подавленности мы пытались объяснить временные военные трудности какими-то вымышленными пороками советской жизни. Все, что ставилось в минус советскому государству, оказалось его преимуществом.

— Тридцать седьмой год, например? — спросил Штрум.

Соколов сказал:

— Виктор Павлович, вы в последнее время любой наш разговор превращаете в спор.

Штрум хотел ему сказать, что, наоборот, он-то миролюбив, а Соколов раздражен, и это внутреннее раздражение и побуждает его спорить по любому поводу.

Но он сказал:

— Возможно, Петр Лаврентьевич, дело в моем скверном характере, он день ото дня становится хуже. Это установлено не только вами, но и Людмилой Николаевной.

Произнося эти слова, он подумал: «Как я одинок. И дома, и с другом своим — одинок».

30

У рейхсфюрера СС Гиммлера предполагалось совещание по специальным мероприятиям, проводимым Главным имперским управлением безопасности. Совещанию придавалось особое значение, оно связывалось с поездкой Гиммлера в полевую Ставку вождя.

Оберштурмбанфюрер Лисс получил распоряжение из Берлина доложить о ходе строительства специального объекта, расположенного вблизи лагерного управления.

Прежде чем приступить к осмотру объекта, Лисс должен был поехать

[1] «Оба воняют» (*нем.*).

на механические заводы фирмы Фосс и на химическую фабрику, выполнявшую заказы Управления безопасности. Затем Лиссу предлагалось доложить в Берлине о положении дел оберштурмбанфюреру СС Эйхману, ответственному за подготовку совещания.

Командировка обрадовала Лисса, его тяготила лагерная обстановка, постоянное общение с грубыми, примитивными людьми.

Садясь в машину, он вспомнил о Мостовском.

Вероятно, старик, сидя в изоляторе, день и ночь старается разгадать, с какой целью вызывал его Лисс, напряженно ждет.

Всего лишь потребность проверить кое-какие мысли да вот желание написать работу «Идеология врага и ее лидеры».

Какой интересный характер! Действительно, когда влезаешь в ядро атома, на тебя начинают действовать не только силы отталкивания, но и силы притяжения.

Автомобиль выехал за ворота лагеря, и Лисс забыл о Мостовском.

На следующий день рано утром Лисс приехал на заводы Фосса.

Позавтракав, Лисс разговаривал в кабинете Фосса с конструктором Прашке, затем он разговаривал с инженерами, руководившими производством; в конторе коммерческий директор ознакомил его с калькуляцией стоимости заказанных агрегатов.

Он провел несколько часов в заводских цехах, путешествовал среди грохота металла и к концу дня очень устал.

Завод Фосса выполнял важную часть заказа Управления безопасности, и Лисс остался доволен—руководители предприятия вдумчиво отнеслись к делу, технические условия выполнялись точно, инженеры-механики усовершенствовали конструкцию транспортеров, теплотехники разработали наиболее экономичную схему работы печей.

После тяжелого дня на заводе вечер в семье Фосса показался особенно приятным.

Посещение химической фабрики разочаровало Лисса: в производстве оказалось лишь немногим больше сорока процентов запланированного химиката.

Люди на фабрике раздражали Лисса своими многочисленными жалобами: производство сложно и капризно; во время воздушного налета испортилась вентиляция, и в цехе произошло массовое отравление рабочих; кизельгур, которым пропитывается стабилизованная продукция, поступает нерегулярно; герметическая тара задерживается на железной дороге...

Однако в дирекции химического общества ясно представляли себе значение заказа Управления безопасности. Главный химик акционерного общества, доктор Кирхгартен, сказал Лиссу, что заказ Управления безопасности будет выполнен в срок. Правление пошло на то, чтобы притормозить выполнение заданий министерства боеприпасов,— случай беспрецедентный начиная с сентября 1939 года.

Лисс отказался присутствовать на ответственном испытании в лаборатории химического объединения, но просмотрел протоколы, подписанные физиологами, химиками и биохимиками.

В этот же день Лисс встретился с научными работниками, проводившими испытания,—это были молодые ученые, две женщины—физиолог и биохимик, врач патологоанатом, химик—специалист по органическим соединениям с низкой температурой кипения, руководитель группы—токсиколог, профессор Фишер. Участники совещания произвели на Лисса прекрасное впечатление.

Хотя все они были заинтересованы в том, чтобы разработанная ими методика была одобрена, они не скрыли от Лисса слабые стороны своей работы и свои сомнения.

На третий день Лисс на самолете вместе с инженером монтажной фирмы Оберштайна вылетел на стройку. Он чувствовал себя хорошо, поездка развлекала его. Впереди предстояло самое приятное—после осмотра строительства он должен был вместе с техническими руководителями стройки выехать в Берлин—доложить в Главном управлении безопасности о положении дел.

Погода была скверная, лил холодный ноябрьский дождь. Самолет с трудом приземлился на центральном лагерном аэродроме—на небольшой высоте начиналось обледенение крыльев, над землей стлался туман. На рассвете шел снег, и кое-где на комьях глины лежали серые, не смытые дождем, осклизлые пятна снега.

Поля фетровых шляп у инженеров поникли, пропитавшись ртутно тяжелым дождем.

К строительной площадке были проложены железнодорожные пути — они связывались непосредственно с главной магистралью.

Вблизи железной дороги располагались складские помещения. С них начался инспекторский осмотр. Под навесом происходила сортировка грузов: детали различных механизмов, рештаки и разобранные части роликовых конвейерных устройств, трубы разного диаметра, воздуходувные и вентиляционные устройства, костеизмельчающие шаровые мельницы, газоизмерительная и электроизмерительная контрольная аппаратура, еще не вмонтированная на пульты, мотки кабеля, цемент, самоопрокидывающиеся вагонетки, горы рельсов, конторская мебель.

В особых, охраняемых чинами СС помещениях с множеством вытяжных устройств и низко гудящими вентиляторами находился склад начавшей поступать продукции химического объединения—баллоны с красными вентилями и пятнадцатикилограммовые банки с красно-синими наклейками, издали похожие на банки с болгарским джемом.

Выходя из этого наполовину вдавленного в землю помещения, Лисс и его спутники встретились с только что прибывшим поездом из Берлина главным проектировщиком комбината профессором Штальгангом и с начальником работ инженером фон-Рейнике, огромным мужчиной в желтой кожаной куртке.

Штальганг хрипло дышал, сырой воздух вызвал у него приступ астмы. Окружившие Штальганга инженеры стали укорять его, что он не бережется; все они знали, что альбом работ Штальганга находится в личной библиотеке Гитлера.

Площадка строительства ничем не отличалась от обычных для середины двадцатого века циклопических строек.

Вокруг котлованов слышались свистки часовых, скрежет экскаваторов, движение кранов, птичий крик паровозиков.

Лисс и его спутники подошли к прямоугольному серому без окон зданию. Весь ансамбль промышленных зданий, печей из красного кирпича, широкожерлых труб, диспетчерских башенок и башен охраны со стеклянными колпаками,— все тянулось к этому серому, слепому и безлобому зданию.

Рабочие-дорожники заканчивали асфальтирование дорожки—из-под катков шел серый горячий дым, смешивался с серым холодным туманом.

Рейнеке сказал Лиссу, что при проверке объекта № 1 на герметичность результаты оказались неудовлетворительными. Штальганг возбужденным сиплым голосом, забывая о своей астме, разъяснял Лиссу архитектурную идею нового сооружения.

При кажущейся простоте и малых габаритах обычная промышленная гидротурбина является средоточием огромных сил, масс и скоростей, в ее витках геологическая мощь воды преобразуется в работу.

По принципу турбины построено и это сооружение. Оно превращает жизнь и все виды связанной с ней энергии в неорганическую материю. В турбине нового типа нужно преодолеть силу психической, нервной, дыхательной, сердечной, мышечной, кровеверной энергии. В новом сооружении соединены принципы турбины, скотобойни, мусоросжигательного агрегата. Все эти особенности надо было объединить в простом архитектурном решении.

— Наш дорогой Гитлер,—сказал Штальганг,—как известно, при осмотре самых прозаических промышленных объектов не забывает об архитектурной форме.

Он понизил голос так, чтобы его слышал один лишь Лисс.

— Вы ведь знаете, что увлечение мистической стороной архитектурного оформления лагерей под Варшавой принесло большие неприятности рейхсфюреру. Все это необходимо было учесть.

Внутреннее устройство бетонной камеры соответствовало эпохе промышленности больших масс и скоростей.

Втекая в подводящие каналы, жизнь подобно воде уже не могла ни остановиться, ни потечь обратно, скорость ее движения по бетонному коридору определялась формулами, подобными формуле Стокса о движении жидкости в трубе, зависящем от плотности, удельного веса, вязкости, трения, температуры. Электрические лампы были вделаны в потолок и защищены толстым мутно-прозрачным стеклом.

Чем дальше, тем свет становился ярче, и у входа в камеру, преграждённого полированной стальной дверью, слепил своей сухой белизной.

У двери царило то особое возбуждение, которое всегда возникает у строителей и монтажников перед пуском нового агрегата.

Чернорабочие мыли шлангами пол. Пожилой химик в белом халате производил у закрытой двери замеры давления. Рейнеке приказал открыть дверь камеры. Войдя в просторный зал с низко нависшим бетонным небом, некоторые инженеры сняли шляпы. Пол камеры был составлен из тяжелых раздвижных плит, оправленных в металлические рамы и плотно сходившихся одна с другой. При действии механизма, управляемого из диспетчерской, плиты, составлявшие пол, становились вертикально и содержимое камеры уходило в подземные помещения. Там органическое вещество подвергалось обработке бригадами стоматологов, они извлекали ценные металлы, используемые для протезирования. После этого приводилась в действие лента транспортера, ведущего к кремационным печам, где потерявшее мышление и чувствительность органическое вещество под действием тепловой энергии терпело дальнейшее разрушение — превращалось в фосфорные туки, известь и золу, аммиак, углекислый и сернистый газы.

К Лиссу подошел офицер связи, протянул ему телеграмму. Все увидели, как стало угрюмо лицо оберштурмбанфюрера, прочитавшего телеграмму.

Телеграмма извещала Лисса о том, что оберштурмбанфюрер СС Эйхман встретится с ним на строительстве сегодня ночью, он выехал машиной по мюнхенской автостраде.

Рухнула поездка Лисса в Берлин. А он рассчитывал будущую ночь провести у себя на даче, где жила больная, тоскующая по нему жена. Перед сном он бы посидел в кресле, надев на ноги мягкие туфли, и на час-два в тепле и уюте забыл бы о суровом времени. Как приятно ночью в постели на загородной даче прислушиваться к далекому гулу зенитных орудий берлинской ПВО.

А вечером в Берлине, после доклада на Принц-Альбертштрассе и перед отъездом за город, в тихий час, когда не бывает воздушных тревог и налетов, он собирался навестить молодую референтку Института философии, она одна знала, как тяжело ему живется, какая смута в его душе. У него были уложены в портфель для этой встречи бутылка коньяка и коробка шоколада. Теперь все это рухнуло.

Инженеры, химики, архитекторы смотрели на него, — какие тревоги заставляют хмуриться инспектора Главного управления безопасности? Кто мог знать это?

Людям мгновениями казалось, что камера уже не подчиняется своим создателям, а ожила, живет своей бетонной волей, бетонной жадностью, начнет выделять токсины, жеванет стальной дверной челюстью, станет пищеварить.

Штальганг подмигнул Рейнеке и шепотом сказал:

— Вероятно, Лисс получил сообщение, что оберштурмбанфюрер примет его доклад здесь, я-то об этом знал еще утром. А у него лопнул отдых в семье и, вероятно, встреча с какой-нибудь милой дамой.

31

Лисс встретился с Эйхманом ночью.

Эйхману было лет тридцать пять. Перчатки, фуражка, сапоги, три предмета, воплотившие в себя поэзию, надменность и превосходство германского оружия, походили на те, что носил рейхсфюрер СС Гиммлер.

Лисс знал семью Эйхманов с довоенных лет, они были земляками. Лисс, учась в Берлинском университете, работая в газете, потом в философском журнале, изредка навещал родной город, узнавал о своих гимназических сверстниках. Одни поднимались на общественной волне, затем волна уходила и успех исчезал, и тогда другим улыбались известность, материальные удачи. А молодой Эйхман неизменно жил тускло и однообразно. Орудия, бившие под Верденом, и вот-вот, казалось, рождавшаяся победа, поражение и инфляция, политическая борьба в рейхстаге, вихрь левых, сверхлевых направлений в живописи, театре, музыке, новые моды и крушения новых мод, — ничто не меняло его однообразного бытия.

Он работал агентом провинциальной фирмы. В семье и в своих отношениях к людям он бывал в меру груб и в меру внимателен. Все большие дороги в жизни были забиты шумной, жестикулирующей, враждебной ему толпой. Всюду он видел отталкивающих его быстрых, юрких людей с блестящими темными глазами, ловких и опытных, снисходительно усмехавшихся в его сторону...

В Берлине, после окончания гимназии, ему не удалось устроиться. Директора контор и владельцы столичных фирм говорили ему, что, к сожалению, вакансия закрыта, а Эйхман стороной узнавал, что вместо него принят какой-то гнилой человечек неясной национальности, не то поляк, не то итальянец. Он пробовал поступить в университет, но несправедливость, царившая там, помешала ему. Он видел, что экзаменаторы, глядя на его светлоглазое полное лицо, светлый ежик волос, на короткий прямой нос, становились скучными. Казалось, их тянуло к длинномордым, темноглазым, сутулым и узкоплечим, к дегенератам. Не он один был отброшен обратно в провинцию. Это была судьба многих. Порода людей, царившая в Берлине, встречалась на всех этажах общества. Но больше всего эта порода плодилась в потерявшей национальные черты космополитической интеллигенции, не делавшей разницы между немцем и итальянцем, немцем и поляком.

Это была особая порода, странная раса, подавлявшая всех, кто пытался соревноваться с ней умом, образованностью, насмешливым безразличием. Ужасно было безысходное ощущение живой и не агрессивной умственной мощи, исходившей от этой породы, — эта мощь проявлялась в странных вкусах этих людей, в их быте, в котором соблюдение моды соединялось с неряшливостью и с безразличием к моде, в их любви к животным, соединенной с их совершенно городским образом жизни, в их способности к абстрактному мышлению, соединенной со страстью к грубому в искусстве и быту... Эти люди двигали германскую химию красок и синтеза азота, исследования жестких лучей, производство качественной стали. Ради них приезжали в Германию иностранные ученые и художники, философы и инженеры. Но именно эти люди меньше всего походили на немцев, они болтались по всему свету, их дружеские связи были совсем не немецкими, их немецкое происхождение неясно.

Где уж тут было служащему провинциальной фирмы пытаться пробиться к лучшей жизни, хорошо, что он не голодал.

И вот он выходит из своего кабинета, закрыв в сейфе бумаги, о которых знают в мире три человека — Гитлер, Гиммлер, Кальтенбруннер. Черный большой автомобиль ждет его у подъезда. Часовые приветствуют его, адъютант распахивает дверцу машины — оберштурмбанфюрер СС Эйхман уезжает. Шофер дает с места полный газ, и мощный гестаповский «хорхь», почтительно приветствуемый городской полицией, поспешно включающей зеленые светофоры, поколесив по берлинским улицам, вырывается на автостраду. Дождь, туман, сигнальные знаки, плавные виражи автострады.

В Смолевичах среди садов стоят тихие домики, и трава растет на тротуарах. На улицах бердичевских Яток в пыли бегают грязные куры с желтыми кадмиевыми ногами, меченные фиолетовыми и красными чернилами. На Подоле и на Васильковской в Киеве, в многоэтажных домах с немытыми окнами ступени лестниц истерты миллионами детских ботинок, стариковскими шлепанцами.

В Одессе во дворе стоит пестротелый платан, сохнет цветное белье, рубашки и кальсоны, дымятся на мангалах тазы с кизиловым вареньем, кричат в люльках новорожденные со смуглой кожей, еще ни разу не видевшей солнца.

В Варшаве, в костлявом, узкоплечем шестиэтажном доме, живут швеи, переплетчики, домашние учителя, певицы из ночных кабаре, студенты, часовщики.

В Сталиндорфе вечером зажигается огонь в избах, ветер тянет со стороны Перекопа, пахнет солью, теплой пылью, мычат, мотая тяжелыми головами, коровы...

В Будапеште, в Фастове, в Вене, в Мелитополе и в Амстердаме, в особняках с зеркальными окнами, в домах, стоящих в фабричном дыму, жили люди еврейской нации.

Лагерная проволока, стены газовни, глина противотанкового рва объединили миллионы людей разных возрастов и профессий, языков, житейских и духовных интересов, фанатически верующих и фанатиков-атеистов, рабочих, тунеядцев, врачей и торговцев, мудрецов и идиотов, воров, идеалистов, созерцателей, добросердечных, святых и хапуг. Всех их ждала казнь.

Гестаповский «хорхь» бежал, кружил по осенним автострадам.

32

Они встретились ночью. Эйхман прошел прямо в кабинет, задавая на ходу быстрые вопросы, сел в кресло.

— У меня мало времени, не позже завтрашнего дня я должен быть в Варшаве.

Он уже побывал у коменданта лагеря, беседовал с начальником строительства.

— Как работают заводы, какие у вас впечатления от личности Фосса, на высоте ли, по-вашему, химики? — быстро спрашивал он.

Большие белые пальцы с большими розовыми ногтями перекладывали бумаги на столе, время от времени оберштурмбанфюрер делал пометки автоматической ручкой, и Лиссу казалось, что Эйхман не различает особенности дела, вызывающего тайный холодок ужаса даже в каменных сердцах.

Лисс много пил все эти дни. Усилилась одышка, и по ночам он чувствовал свое сердце. Но ему казалось, что для здоровья зло от алкоголя меньше, чем зло от нервного напряжения, в котором он все время находился.

Он мечтал вернуться к изучению выдающихся деятелей, враждебных национал-социализму, решать жестокие и сложные, но бескровные задачи. Тогда он перестанет пить, будет выкуривать за день не больше двух-трех сигарет. Вот недавно он вызвал к себе ночью старого русского большевика, разыграл с ним партию политических шахмат и, вернувшись домой, спал без снотворного, проснулся в десятом часу утра.

Оберштурмбанфюреру и Лиссу при ночном осмотре газовой камеры был устроен маленький сюрприз. Посреди камеры строители установили столик с вином и закусками, и Рейнеке пригласил Эйхмана и Лисса выпить бокал вина.

Эйхман рассмеялся милой выдумке и сказал:

— Я с удовольствием закушу.

Он передал фуражку своему охраннику и сел к столу. Его большое лицо вдруг стало добродушно-озабоченным, таким, каким оно становится у всех миллионов любящих покушать мужчин, когда они садятся за накрытый стол.

Рейнеке стоя разлил вино, и все взялись за бокалы, ожидая тост Эйхмана.

В этой бетонной тишине, в этих налитых бокалах было такое напряжение, что Лиссу казалось — сердце не выдержит его. Хотелось, чтобы громкий тост за немецкий идеал разрядил напряжение. Но напряжение не проходило, а росло, — оберштурмбанфюрер жевал бутерброд.

— Что ж вы, господа? — спросил Эйхман. — Прекрасная ветчина.

— Мы ждем хозяйского тоста, — сказал Лисс.

Оберштурмбанфюрер поднял бокал.

— За дальнейшие служебные успехи, которые, мне кажется, достойны быть отмечены.

Он один почти ничего не пил и много ел.

Утром Эйхман делал в трусиках гимнастику перед открытым настежь окном. В тумане вырисовывались ровные ряды лагерных бараков, доносились паровозные гудки.

Лисс не завидовал Эйхману. У Лисса было высокое положение без высоких должностей — он считался умным человеком в Имперском управлении безопасности. Гиммлер любил беседовать с ним.

Высокопоставленные люди в большинстве случаев старались не показывать ему своего служебного превосходства. Он привык к тому, что его уважали не только в полиции безопасности. Имперское управление безопасности дышало и жило всюду — и в университете, и в подписи директора детского санатория, и на приемных пробах молодых певцов в опере, и в решении жюри, отбиравшего картины для весенней выставки, и в списке кандидатов при выборах в рейхстаг.

Здесь был стержень жизни. Основой вечной правоты партии, победы ее логики либо нелогичности над всякой логикой, ее философии над всякой другой философией была работа государственной тайной полиции. Это была волшебная палочка! Стоило уронить ее, и волшебство исчезало — великий оратор превращался в болтуна, корифей науки в популяризатора чужих идей. Эту волшебную палочку нельзя было выпускать из рук.

Поглядывая на Эйхмана, Лисс в это утро впервые в жизни почувствовал шевеление завистливой тревоги.

За несколько минут до отъезда Эйхман задумчиво сказал:

— А ведь мы с вами земляки, Лисс.

Они стали перечислять приятные им названия городских улиц, ресторанов, кино.

— Кое-где, конечно, я не бывал, — сказал Эйхман и назвал клуб, в который сына владельца мастерской не пускали.

Лисс спросил, меняя предмет разговора:

— Скажите, можно примерно иметь представление, о каком количестве евреев идет речь?

Он знал, что задал сверхвопрос, может быть, три человека в мире, кроме Гиммлера и вождя, могли ответить на него.

Но именно после воспоминания о тяжелых молодых годах Эйхмана в пору демократии и космополитизма следовало спросить его о том, чего Лисс не знал, признаться в своем незнании.

Эйхман ответил.

Лисс, пораженный, спросил:

— Миллионов?

Эйхман пожал плечами.

Некоторое время они молчали.

— Я очень жалею, что мы не встретились с вами в пору студенчества, — сказал Лисс, — в годы учения, как сказано у Гете.

— Я не был берлинским студентом, я учился в провинции, не жалейте, — сказал Эйхман и добавил: — Цифру эту, земляк, я впервые произношу вслух. Если считать Берхтесгаден, Рейхсканцеляй и ведомство нашего рейхсфюрера, она была названа семь или восемь раз.

— Я понимаю, завтра мы не прочтем ее в газете.

— Я имею в виду именно газету, — сказал Эйхман.

Он с усмешкой поглядел на Лисса, и тот почувствовал тревогу от ощущения, что собеседник умней его.

А Эйхман проговорил:

— Помимо того, что тихий наш городок весь утопает в зелени, была еще одна причина, по которой я назвал вам эту цифру. Мне хочется, чтобы она связывала нас для дальнейшей совместной работы.

— Благодарю, — сказал Лисс, — надо подумать, дело очень серьезное.

— Конечно. Предложение исходит не только от меня. — Эйхман поднял палец вертикально вверх. — Если вы разделите со мной труд, а Гитлер проиграет, мы будем висеть вместе — вы и я.

— Перспектива прекрасная, стоит подумать, — проговорил Лисс.

— Представляете, через два года мы вновь сядем в этой камере за уютный столик и скажем: «За двадцать месяцев мы решили вопрос, который человечество не решило за двадцать веков!»

Они простились. Лисс глядел вслед машине.

У него имелся свой взгляд на человеческие отношения в государстве. Жизнь в национал-социалистическом государстве не могла развиваться свободно, каждым ее шагом нужно было управлять.

Для того чтобы руководить дыханием людей, материнским чувством, кругом чтения, заводами, пением, армией, летними экскурсиями, нужны были вожаки. Жизнь ведь потеряла право расти, как трава, волноваться, как море. Вожаки, казалось Лиссу, тяготели к четырем типа́м характеров.

Первый характер — цельные натуры, обычно лишенные остроты ума и способности к анализу. Эти люди ловили лозунги, формулы из газет и журналов, цитаты из речей Гитлера и статей Геббельса, из книг Франка и Розенберга. Они терялись, не чувствуя подпорок. Они не задумывались о связи явлений, проявляли жестокость и нетерпимость по любому поводу. Они все принимали всерьез: и философию, и национал-социалистическую науку, и туманные откровения, и достижения нового театра, и новую музыку, и кампанию по выборам в рейхстаг. Они, как школяры, зубрили в кружках «Mein Kampf», конспектировали доклады и брошюры. Обычно они были скромны в личной жизни, иногда испытывали нужду, чаще остальных категорий попадали в партийные мобилизации, отрывавшие их от семей.

Именно к этой категории, казалось сперва Лиссу, принадлежал и Эйхман.

Второй тип характеров: умные циники. Эти знали о существовании волшебной палочки. В проверенном кругу друзей они посмеивались над многим — над невежеством новых докторов и магистров, над ошибками и нравами ляйтеров и гауляйтеров. Они не смеялись только над вождем и над высокими идеалами. Эти люди обычно жили широко, много пили. На высших ступенях партийной иерархии эти характеры встречались чаще, чем на низших. Внизу царствовали характеры первого типа.

На самом верху, казалось Лиссу, царил третий характер, — там умещалось восемь-девять человек и бывали допускаемы еще пятнадцать — двадцать, там существовал мир, лишенный догм, там свободно судили обо всем. Там не было идеалов, одна лишь математика, веселье, не ведающие жалости высокие мастера.

Иногда Лиссу казалось, что все в Германии происходит ради них и их блага.

Лисс заметил, что появление на вершине ограниченных людей всегда знаменовало начало зловещих событий. Мастера социальной механики возвышали догматиков, чтобы поручить им особо кровавые дела. Простаки временно упивались высшей властью, но обычно, закончив дела, исчезали, а иногда разделяли судьбу своих жертв. Наверху вновь оставались веселые мастера.

В простаках, характерах первого типа, имелось чрезвычайно ценное свойство — они были народны. Они не только цитировали классиков национал-социализма, но и говорили языком народа. Их грубость казалась народной, крестьянской. Их шутки вызывали смех на рабочих собраниях.

Четвертый тип характеров: исполнители, полностью равнодушные к догме, идеям, философии, но также чуждые и аналитических способностей. Национал-социализм платил им, и они служили ему. Их единственной, высшей страстью были сервизы, костюмы, дачи, драгоценности, мебель, легковые машины, холодильники. Деньги они не очень любили, не верили в их прочность.

Лисс тяготел к высшим руководителям, мечтал об их обществе и о близости с ними, там, в царстве насмешливого ума, щегольской логики, он чувствовал себя легко, естественно, хорошо.

Но Лисс видел, что в страшной высоте, над высшими руководителями, над стратосферой был мир туманный, непонятный, неясный, мучающий своей алогичностью, — в этом высшем мире существовал вождь Адольф Гитлер.

В Гитлере, и это страшило Лисса, непонятным образом соединялось несоединимое — он был главой мастеров, сверхмехаником, шеф-монтером, обер-мастером, обладавшим высшей математической жестокостью, даже по сравнению со всеми своими ближайшими помощниками, вместе взятыми. И в то же время в нем была догматическая исступленность, фанатическая вера и слепота веры, бычья нелогичность, которые Лисс встречал лишь на самых низких, полуподвальных этажах партийного руководства. Он, создатель волшебной палочки, первосвященник, был одновременно и темным, исступленным верующим.

И вот сейчас, глядя вслед уходившей машине, Лисс ощутил, что Эйхман неожиданно вызвал в нем то пугающее и влекущее, неясное чувство, которое вызывал в нем лишь один человек в мире — вождь немецкого народа Адольф Гитлер...

33

Движение к Сталинградскому фронту вновь сформированных частей шло тайно, в ночное время.

Северо-западней Сталинграда, в среднем течении Дона, сгущалась, тяжелела сила нового фронта. Эшелоны разгружались на вновь построенной железной дороге, прямо в степи.

Едва рассветало, шумевшие ночью железные реки замирали, и лишь легкий пыльный туман стоял над степью. Днем стволы пушек обрастали сухим бурьяном и охапками соломы, и, казалось, не было в мире более молчаливых существ, чем эти слившиеся с осенней степью артиллерийские стволы. Самолеты, распластав крылья, словно мертвые, высосанные насекомые, стояли на аэродромах, прикрытые паутиной маскировочных сеток.

День ото дня все гуще и гуще делались условные треугольники, ромбики, кружки, все гуще становилась сеть цифр — номеров на той карте, которую видели в мире всего лишь несколько человек, — то строились, кристаллизовались, выходили на исходные рубежи новые армии нового Юго-Западного фронта, ныне фронта наступления.

А по левому берегу Волги, пустынными, солончаковыми степями шли на юг, минуя дымящийся и гремящий Сталинград, танковые соединения, артиллерийские дивизии и уходили к тихим заводям и затонам. Войска, переправившись через Волгу, оседали в калмыцкой степи, в соленом межозерье, и тысячи русских людей начинали произносить странные им слова: «Барманцак», «Цаца́»... То шло южное скопление сил в калмыцких степях на правом плече немцев. Советское Верховное командование готовило окружение сталинградских дивизий Паулюса.

Темными ночами под осенними облаками и звездами пароходы, паромы, баржи переправили на правый, калмыцкий берег, что южней Сталинграда, танковый корпус Новикова...

Тысячи людей видели написанные на броне белой краской имена военных вождей России: «Кутузов», «Суворов», «Александр Невский».

Миллионы людей видели, как пошли в сторону Сталинграда тяжелые русские пушки, минометы и полученные по ленд-лизу колонны грузовых «доджей» и «фордов».

И все же, хотя движение это было видимо миллионами людей, сосредоточение огромных воинских масс, нацеленных для наступления северо-западнее и южнее Сталинграда, шло втайне.

Как же это могло случиться? Ведь и немцы знали об этом огромном движении. Ведь скрыть его нельзя было, как нельзя скрыть степной ветер от идущего степью человека.

Немцы знали о движении войск к Сталинграду, а сталинградское наступление оставалось для них тайной. Каждый немецкий лейтенант, взглянув на карту, где были предположительно помечены места скопления русских войск, мог расшифровать высшую военно-государственную тайну Советской России, известную лишь Сталину, Жукову, Василевскому.

И все же окружение немцев в районе Сталинграда было внезапно для немецких лейтенантов и фельдмаршалов.

Как же могло это случиться?

Сталинград продолжал держаться, по-прежнему немецкие атаки не приводили к решающим успехам, хотя в них участвовали большие воинские массы. А в истаявших сталинградских полках оставались лишь десятки красноармейцев. Эти малые десятки, принявшие на себя сверхтяжесть ужасных боев, и были той силой, которая путала все представления немцев.

Противник не мог представить, что мощь его усилий расщепляется горстью людей. Казалось, советские резервы готовятся поддержать и питать оборону. Солдаты, отбивавшие на волжском откосе напор дивизий Паулюса, были стратегом сталинградского наступления.

А неумолимое лукавство истории таилось еще глубже, и в его глубине свобода, рождавшая победу, оставаясь целью войны, превращалась от соприкосновения лукавых пальчиков истории в ее средство.

34

Старуха с охапкой сухого камыша прошла к дому, хмурое лицо ее было поглощено заботой, она шла мимо запыленного «виллиса», мимо перекрытого брезентом штабного танка, подпиравшего плечом дощатую стену дома. Она шла, костистая, скучная, и, казалось, ничего не было обычней этой старухи, идущей мимо танка, подпиравшего ее дом. Но не было ничего значительней в событиях мира, чем связь этой старухи и ее некрасивой дочери, доившей в это время под навесом корову, связь ее белоголового внука, запустившего палец в нос и следившего, как молоко прыскало из коровьих сосцов, с войсками, стоявшими в степи.

И все эти люди — майоры из корпусных и армейских штабов, генералы, дымившие папиросами под темными деревенскими иконами, генеральские повара, жарившие баранину в русских печах, телефонистки, накручивающие на патроны и гвозди локоны в амбарах, водитель, бривший во дворе щеку перед жестяным умывальником и скосивший один глаз на зеркальце, а второй на небо — летит ли немец, — и весь этот стальной, электрический и бензиновый мир войны были непрерывной частью долгой жизни степных деревень, поселков, хуторков.

Непрерывная связь существовала для старухи между сегодняшними ребятами на танках и теми замученными, что летом притопали пешком, попросились ночевать и все боялись, не спали ночью, выходили поглядеть.

Непрерывная связь существовала между этой старухой с хуторка в калмыцкой степи и той, что на Урале вносила в штаб резервного танкового корпуса шумный медный самовар, и с той, что в июне под Воронежем стелила полковнику солому на пол и крестилась, оглядываясь на красное зарево в окошке. Но так привычна была эта связь, что ее не замечали ни старуха, шедшая в дом топить колючкой печь, ни полковник, вышедший на крыльцо.

Дивная, томящая тишина стояла в калмыцкой степи. Знали ли люди, сновавшие в это утро по Унтер-ден-Линден, о том, что здесь Россия повернула свое лицо на Запад, готовилась ударить и шагнуть?

Новиков с крыльца окликнул водителя Харитонова:

— Шинели прихвати, мою и комиссара, поздно вернемся.

На крыльцо вышли Гетманов и Неудобнов.

— Михаил Петрович, — сказал Новиков, — в случае чего звоните к Карпову, а после пятнадцати к Белову и Макарову.

Неудобнов сказал:

— Какие тут могут быть случаи.

— Мало ли, командующий нагрянет, — сказал Новиков.

От солнца отделились две пичужки и пошли в сторону хутора. И сразу в их нарастающем гуле, в их скользкой стремительности раздробилась степная неподвижность.

Харитонов, выскочив из машины, побежал под стенку амбара.

— Ты что это, дурак, своих перелякался? — закричал Гетманов.

В этот момент один из самолетов дал пулеметную очередь по хуторку, от второго отделилась бомба. Завыло, зазвенело, пронзительно закричала женщина, заплакал ребенок, дробно застучали комья земли, поднятые взрывом.

Новиков, услыша вой падающей бомбы, пригнулся. На миг все смешалось в пыли и дыму, и он видел только Гетманова, стоявшего рядом с ним. Из пылевого тумана выступила фигура Неудобнова. Он стоял, расправив плечи, подняв голову, единственный из всех не пригнувшись, точно вырезанный из дерева.

Гетманов, счищая со штанов пыль, немного побледневший, но возбужденный и веселый, с милой хвастливостью сказал:

— Ничего, молодцом, штаны вроде остались сухие, а генерал наш даже не шелохнулся.

Потом Гетманов и Неудобнов пошли смотреть, как далеко разбросало вокруг воронки землю, удивлялись, что выбиты стекла в дальних домах, а в самом ближнем стекла уцелели, смотрели на поваленный плетень.

Новиков любопытствовал на людей, впервые увидевших разрыв бомбы; их, видимо, поражало, что бомбу эту выточили, подняли на воздух и сбросили на землю лишь с одной целью: убить отца маленьких Гетмановых и отца маленьких Неудобновых. Вот чем, оказывается, занимались люди на войне.

Сидя в машине, Гетманов все говорил о налете, потом перебил самого себя:

— Тебе, видно, Петр Павлович, смешно меня слушать, на тебя тысячи падали, а на меня первая. — И, снова перебивая самого себя, спросил: — Слушай, Петр Павлович, этот Крымов самый, он в плену вроде был?

Новиков сказал:

— Крымов? Да на что он тебе?

— Слышал о нем разговор один интересный в штабе фронта.

— В окружении был, в плену, кажется, не был. Что за разговор?

Гетманов, не слыша Новикова, тронул Харитонова за плечо, сказал:

— Вот по этому большачку в штаб первой бригады, минуя балочку. Видишь, у меня глаз фронтовой.

Новиков уже привык, что в разговоре Гетманов никогда не шел за собеседником — то начнет рассказывать, то задаст вопрос, снова расскажет, снова перебьет рассказ вопросом. Казалось, мысль его идет не имеющим закона зигзагом. Но это не было так, только казалось.

Гетманов часто рассказывал о своей жене, о детях, носил при себе толстую пачку семейных фотографий, дважды посылал в Уфу порученца с посылками.

И тут же он затеял любовь с чернявой злой докторшей из санчасти, Тамарой Павловной, и любовь нешуточную. Вершков как-то утром трагически сказал Новикову:

— Товарищ полковник, докторша у комиссара ночь провела, на рассвете выпустил.

Новиков сказал:

— Не ваше дело, Вершков. Вы бы лучше у меня конфеты тайком не таскали.

Гетманов не скрывал свою связь с Тамарой Павловной, и сейчас в степи он привалился плечом к Новикову, шепотом проговорил:

— Петр Павлович, полюбил нашу докторицу один паренек. — И посмотрел ласково, жалобно на Новикова.

— Вот это комиссар, — сказал Новиков и показал глазами на водителя.

— Что ж, большевики не монахи, — шепотом объяснил Гетманов, — понимаешь, полюбил ее, старый дурак.

Они молчали несколько минут, и Гетманов, точно не он вел только что доверительный, приятельский разговор, сказал:

— А ты не худеешь, Петр Павлович, попал в родную фронтовую обстановку. Вот, знаешь, я, например, создан для партийной работы. Пришел в обком в самый тяжелый год, другой чахотку бы нажил: план по зерновым сорван, два раза товарищ Сталин меня по телефону вызывал, а мне хоть бы что, толстею, как на курорте. Вот и ты так.

— А черт его знает, для чего я создан, — сказал Новиков, — может быть, и в самом деле для войны.

Он рассмеялся.

— Я замечаю, чуть что случится интересного, я первым делом думаю, не забыть бы Евгении Николаевне рассказать. На тебя с Неудобновым первую бомбу немцы кинули, а я подумал: надо ей рассказать.

— Политдонесения составляешь? — спросил Гетманов.

— Вот, вот, — сказал Новиков.

— Жена, ясно, — сказал Гетманов. — Она ближе всех.

Они подъехали к расположению бригады, сошли с машины.

В голове Новикова постоянно тянулась цепь людей, фамилий, наиме-

нований населенных пунктов, задач, задачек, ясностей и неясностей, предполагаемых, отменяемых распоряжений.

Вдруг ночью он просыпался и начинал томиться, его охватывали сомнения: следует ли вести стрельбу на дальности, превышающие нарезку дистанционной шкалы прицела? Оправдывает ли себя стрельба с ходу? Сумеют ли командиры подразделений быстро и правильно оценивать изменения боевой обстановки, принимать самостоятельные решения, отдавать мгновенные приказы?

Потом он представлял себе, как эшелон за эшелоном танки, проломав немецко-румынскую оборону, входят в прорыв, переходят к преследованию, объединенные с штурмовой авиацией, самоходной артиллерией, мотопехотой, саперами, мчатся все дальше на Запад, захватывая речные переправы, мосты, обходя минные поля, подавляя узлы сопротивления. В счастливом волнении он спускал босые ноги с кровати, сидел в темноте, тяжело дыша от предчувствия счастья.

Ему никогда не хотелось об этих своих ночных мыслях говорить с Гетмановым.

В степи он чаще, чем на Урале, испытывал раздражение против него и Неудобнова.

«К пирожкам поспели», — думал Новиков.

Он уже не тот, каким был в 1941 году. Он пьет больше, чем раньше. Он частенько матерится, раздражается. Однажды он замахнулся на начальника снабжения горючим.

Он видел, что его боятся.

— А черт его знает, создан ли я для войны, — сказал он. — Лучше всего с бабой, которую любишь, жить в лесу, в избе. Пошел на охоту, а вечером вернулся. Она сварит похлебку, и легли спать. А войной человека не накормишь.

Гетманов, склонив голову, внимательно посмотрел на него.

Командир первой бригады полковник Карпов, мужчина с пухлыми щеками, рыжими волосами и пронзительно яркими голубыми глазами, какие бывают лишь у очень рыжих людей, встретил Новикова и Гетманова возле полевой рации.

Его военный опыт был некоторое время связан с боями на Северо-Западном фронте; там Карпову не раз приходилось закапывать свои танки в землю, превращая их в неподвижные огневые точки.

Он шел рядом с Новиковым и Гетмановым к расположению первого полка, и могло показаться, что он и есть главный начальник, такими неторопливыми были его движения.

По конституции своей, казалось, должен он быть человеком добродушным, склонным к пиву и обильной еде. Но был он другой натурой — неразговорчивый, холодный, подозрительный, мелочный. Гостей он не угощал, слыл скупым.

Гетманов похваливал добросовестность, с которой рылись землянки, укрытия для танков и орудий.

Все учел командир бригады — и танкоопасные направления, и возможность флангового нажима, не учел он лишь, что предстоящие бои заставят его перейти к стремительному вводу бригады в прорыв, к преследованию.

Новикова раздражали одобрительные кивки и словечки Гетманова.

А Карпов, точно нарочно разогревая раздражение Новикова, говорил:

— Вот разрешите, товарищ полковник, рассказать. Под Одессой мы превосходно окопались. Вечерком перешли в контратаку, дали румынам по башке, а ночью по приказу командарма вся наша оборона, как один человек, ушла в порт грузиться на корабль. Румыны спохватились часов в десять утра, кинулись атаковать брошенные окопы, а мы уже по Черному морю плыли.

— Как бы тут вы не остались стоять перед пустыми румынскими окопами, — сказал Новиков.

Сможет ли Карпов в период наступления день и ночь рваться вперед, оставляя позади себя боеспособные части противника, узлы сопротивления?.. Рваться вперед, подставив под удар голову, затылок, бока, охваченный одной лишь страстью преследования? Не тот, не тот у него характер.

Все кругом носило на себе следы прошедшей жары, и странно было, что воздух так прохладен. Танкисты занимались своими солдатскими делами — кто брился, сидя на броне, пристроив к башне зеркальце, кто чистил оружие, кто писал письмо, рядом забивали козла на расстеленной плащ-палатке, большая группа стояла, позевывая, возле девушки-санитарки. И все в этой обыденной картине под огромным небом, на огромной земле наполнилось предвечерней грустью.

А в это время к подходившим начальникам бежал, на ходу одергивая гимнастерку, командир батальона, пронзительно кричал:

— Батальон, смирно!

Новиков, точно споря с ним, ответил:

— Вольно, вольно.

Там, где проходил, роняя словечко, комиссар, слышался смех, танкисты переглядывались, лица делались веселей.

Комиссар спрашивал, кто как переживает разлуку с уральскими девушками, спрашивал, много ли бумаги извели на письма, аккуратно ли в степь доставляют «Звездочку».

Комиссар напустился на интенданта:

— Что сегодня ели танкисты? А что вчера? А что позавчера? А ты тоже три дня ел суп из перловки и зеленых помидор? А ну, позвать сюда повара, — сказал он под смех танкистов, — пусть скажет, что готовил интенданту на обед.

Он своими вопросами о быте и жизни танкистов как бы упрекал строевых командиров:

— Что же это вы только о технике да о технике.

Интендант, худой человек в пыльных кирзовых сапогах, с красными руками, точно у прачки, полоскавшей белье в холодной воде, стоял перед Гетмановым, покашливал.

Новикову стало жалко его, он сказал:

— Товарищ комиссар, к Белову отсюда вместе проедем?

Гетманов с довоенных времен заслуженно считался хорошим массовиком, вожаком. Едва заводил он разговор, люди начинали посмеиваться, его простецкая, живая речь, грубые словечки сразу стирали различие между секретарем обкома и замурзанным человеком в спецовке.

Он всегда входил в житейский интерес — не запаздывает ли зарплата, есть ли дефицитные продукты в сельмагах и рабкоопах, хорошо ли отапливаются общежития, налажена ли кухня в полевых станах.

Особенно просто, хорошо говорил он с пожилыми заводскими работницами и колхозницами, всем нравилось, что секретарь — слуга народа, что он жестоко придирается к снабженцам, орсовцам, комендантам общежитий, а если надо, и к директорам заводов и МТС, когда они пренебрегают интересами трудового человека. Он был крестьянским сыном, он сам когда-то работал слесарем в цеху, и рабочие чувствовали это. Но в своем обкомовском кабинете он был всегда озабочен своей ответственностью перед государством, тревога Москвы была его главной тревогой; об этом знали и директоры больших заводов, и секретари сельских райкомов.

— План срываешь государству, понял? Партбилет хочешь положить на стол? Знаешь, что доверила тебе партия? Объяснять не надо?

В его кабинете не смеялись и не шутили, не говорили о кипятке в общежитиях и об озеленении цехов. В его кабинете утверждали жесткие производственные планы, говорили о повышении норм выработки, о том, что с жилстроительством придется подождать, что надо потуже подтянуть кушаки, решительней снижать себестоимость, завышать розничные цены.

Сила этого человека особенно чувствовалась, когда он вел заседания в обкоме. На этих заседаниях возникало ощущение, что все люди пришли в его кабинет не со своими мыслями, претензиями, а для того, чтобы помочь Гетманову, что весь ход заседания заранее определен напором, умом и волей Гетманова.

Он говорил негромко, не торопясь, уверенный в послушании тех, к кому обращены его слова.

«Скажи-ка о своем районе, дадим, товарищи, слово агроному. Хорошо, если ты, Петр Михайлович, добавишь. Пусть выскажется Лазько, у него не все благополучно по этой линии. Ты, Родионов, я вижу, тоже

хочешь речь произнести; по-моему, товарищи, вопрос ясен, пора закруглять, возражений, думаю, не будет. Тут, товарищи, подготовлен проект резолюции, зачти-ка, Родионов». И Родионов, который хотел посомневаться и даже поспорить, старательно зачитывал резолюцию, поглядывая на председателя, достаточно ли четко он читает. «Ну вот, товарищи не возражают».

Но самым удивительным было то, что Гетманов, казалось, оставался искренен, был самим собой, и когда требовал плана с секретарей райкомов и срезал последние граммы с колхозных трудодней, и когда занижал зарплату рабочим, и когда требовал снижения себестоимости, и когда повышал розничные цены, и когда растроганный говорил с женщинами в сельсовете, вздыхал об их нелегкой жизни, сокрушался по поводу тесноты в рабочих общежитиях.

Понять это трудно, но разве все в жизни легко поймешь.

Когда Новиков и Гетманов подошли к машине, Гетманов шутя сказал провожавшему их Карпову:

— Придется обедать у Белова, от вас и вашего интенданта обеда не дождешься.

Карпов сказал:

— Товарищ бригадный комиссар, интенданту пока ничего не дали с фронтовых складов. А сам он, между прочим, ничего не ест — болеет желудком.

— Болеет, ай-ай-ай, какая беда, — сказал Гетманов, зевнул, махнул рукой. — Ну что ж, поехали.

Бригада Белова была значительно выдвинута на запад по сравнению с карповской.

Белов, худой, носатый человек, на кривых кавалерийских ногах, с острым быстрым умом, пулеметной речью, нравился Новикову.

Он казался Новикову человеком, созданным для танковых прорывов и стремительных бросков.

Характеристика его была хороша, хотя в боевых действиях он участвовал недолго — совершил в декабре под Москвой танковый рейд по немецким тылам.

Но сейчас Новиков, тревожась, видел лишь недостатки командира бригады: пьет, как конь, легкомыслен, пристает к женщинам, забывчив, не пользуется любовью подчиненных. Обороны Белов не подготовил. Материально-техническая обеспеченность бригады, видимо, не интересовала Белова. Его занимала лишь обеспеченность горючим и боеприпасами. Вопросами организации ремонта и эвакуации с поля боя поврежденных машин он занимался недостаточно.

— Что же вы, товарищ Белов, все же не на Урале, а в степи, — сказал Новиков.

— Да, как цыгане, табором, — добавил Гетманов.

Белов быстро ответил:

— Против авиации принял меры, а наземный противник нестрашен, мне кажется, в таком тылу нереален.

Он вдохнул воздух:

— Не обороны хочется, в прорыв войти. Душа плачет, товарищ полковник.

Гетманов проговорил:

— Молодец, молодец, Белов. Суворов советский, полководец настоящий. — И, перейдя на «ты», добродушно и тихо сказал: — Мне начальник политотдела доложил, будто ты сошелся с сестрой из медсанбата. Верно это?

Белов из-за добродушного тона Гетманова не сразу понял плохой вопрос, переспросил:

— Виноват, что он сказал?

Но, так как и без повторения слова дошли до его сознания, он смутился:

— Мужское дело, товарищ комиссар, в полевых условиях.

— А у тебя жена, ребенок.

— Трое, — мрачно поправил Белов.

— Ну, вот видишь, трое. Ведь во второй бригаде командование сняло хорошего комбата Булановича, пошло на крайнюю меру, перед выходом из резерва заменило его Кобылиным только из-за этого дела. Какой же пример подчиненным, а? Русский командир, отец трех детей.

Белов, озлившись, громко произнес:

— Никому нет до этого дела, поскольку я к ней насилия не применял. А пример этот показали до вас, и до меня, и до вашего батька.

Не повышая голоса, вновь перейдя на «вы», Гетманов сказал:

— Товарищ Белов, не забывайте про свой партийный билет. Стойте как следует, когда с вами говорит ваш старший начальник.

Белов, приняв воинский, совершенно деревянный вид, проговорил:

— Виноват, товарищ бригадный комиссар, я, конечно, понимаю, осознаю.

Гетманов сказал ему:

— В твоих боевых успехах я уверен, комкор тебе верит, не срами себя только по личной линии. — Он посмотрел на часы. — Петр Павлович, мне надо в штаб, я с тобой к Макарову не поеду. Я у Белова машину возьму.

Когда они вышли из блиндажа, Новиков, не удержавшись, спросил:

— Что, по Томочке соскучился?

На него недоуменно посмотрели ледяные глаза, и недовольный голос произнес:

— Меня вызывает член Военного совета фронта.

Перед возвращением в штаб корпуса Новиков заехал к своему любимцу Макарову, командиру первой бригады.

Вместе пошли они к озеру, у которого расположился один из батальонов.

Макаров, с бледным лицом и грустными глазами, которые, казалось, никак не могли принадлежать командиру бригады тяжелых танков, сказал Новикову:

— Помните то болото, белорусское, товарищ полковник, когда немцы нас гоняли по камышам?

Новиков помнил белорусское болото.

Он подумал о Карпове и Белове. Тут дело, очевидно, не только в опыте, но и в натуре. Надо прививать командирам опыт, которого у них нет. Но ведь натуру никак не следует подавлять. Нельзя людей из истребительной авиации перебрасывать в саперные части. Не всем же быть, как Макаров, — он хорош и в обороне и в преследовании.

Гетманов говорит — создан для партийной работы. А Макаров вот солдат. Не перекроить. Макаров, Макаров, золотой вояка!

От Макарова Новикову не хотелось отчетов, сведений. Ему хотелось советоваться с ним, делиться. Как достичь в наступлении полной сыгранности с пехотой и мотопехотой, с саперами, с самоходной артиллерией? Совпадают ли их предположения о возможных замыслах и действиях противника после начала наступления? Одинаково ли оценивают они силу его противотанковой обороны? Правильно ли определены рубежи развертывания?

Они пришли на командный пункт батальона.

Командный пункт разместился в неглубокой балке. Командир батальона Фатов, увидя Новикова и командира бригады, смутился — штабная землянка, казалось ему, не подходила для таких высоких гостей. А тут еще красноармеец растапливал дрова порохом, и печь крайне неприлично ухала.

— Запомним, товарищи, — сказал Новиков, — корпусу поручат одну из самых ответственных частей общей фронтовой задачи, а я выделяю самую трудную часть Макарову, а Макаров, сдается мне, самую сложную часть своей задачи прикажет выполнить Фатову. А как решать задачу, это вам самим придется подумать. Я вам не буду в бою навязывать решение.

Он спрашивал Фатова об организации связи со штабом полка, командирами рот, о работе радио, о количестве боеприпасов, о проверке моторов, о качестве горючего.

Перед тем, как проститься, Новиков сказал:

— Макаров, готовы?

— Нет, не совсем еще готов, товарищ полковник.

— Трех суток вам достаточно?

— Достаточно, товарищ полковник.

Сидя в машине, Новиков сказал водителю:

— Ну как, Харитонов, все в порядке у Макарова как будто?

Харитонов, покосившись на Новикова, ответил:

— Порядок, конечно, полный, товарищ полковник. Начальник продснабжения пьяным напился, из батальона пришли концентрат получать, а он ушел спать и ключ забрал. Так и вернулись, не нашедши его. А старшина мне рассказывал — командир роты получил водку на бойцов и справил себе именины. Всю водку эту выпил. Хотел я запаску, камеру подклеить, а у них клею даже нет.

35

Выглянув в окно штабной избы и увидя в облаке пыли «виллис» командира корпуса, генерал Неудобнов обрадовался.

Так однажды было в детстве, когда взрослые ушли в гости и он радовался, что остался хозяином в доме, но едва закрылась дверь, ему стали мерещиться воры, пожар, и он ходил от двери к окну, млея, прислушивался, потягивал носом — не пахнет ли дымом.

Он почувствовал себя беспомощным, способы, которыми он управлял большими делами, здесь не годились.

Вдруг противник полезет — ведь от штаба до фронта шестьдесят километров. Тут не припугнешь снятием с должности, не обвинишь в связях с врагами народа. Прут танки и прут, чем их остановишь? И эта очевидность поразила Неудобнова — мощь государственного гнева, заставлявшего склоняться и трепетать миллионы людей, здесь, на фронте, когда пер немец, не стоила ни гроша. Немцы не заполняли анкет, не рассказывали на собраниях своих биографий, не маялись, боясь ответить о занятиях родителей до семнадцатого года.

Все, что он любил, без чего не мог жить, его судьба, судьба его детей, уже не было под прикрытием великого, грозного, родного ему государства. И он впервые с робостью и приязнью подумал о полковнике.

Новиков, войдя в штабную избу, сказал:

— Мне, товарищ генерал, ясно — Макаров! Он в любом положении сам решит внезапно возникшую задачу. Белов, тот без оглядки будет рваться вперед, он иного не понимает. А Карпова придется подгонять, тяжеловоз, медлитель.

— Да, да, кадры, они все решают. Неустанно изучать кадры, этому нас товарищ Сталин учит, — проговорил Неудобнов и живо добавил: — Я все думаю — немецкий агент в станице есть, это он, подлец, утром навел авиацию на наш штаб.

Рассказывая Новикову о штабных событиях, Неудобнов сказал:

— Тут к нам собрались приехать соседи и командиры частей усиления, так, без особого дела, познакомиться, просто в гости.

— Жаль, что Гетманов уехал в штаб фронта, и чего это его понесло? — сказал Новиков.

Они условились вместе пообедать, и Новиков пошел к себе на квартиру помыться, переменить запылившуюся гимнастерку.

На широкой станичной улице было пустынно, только возле ямы, вырытой бомбой, стоял старик, в чьей избе квартировал Гетманов. Старик, словно бы яма была вырыта для хозяйственных надобностей, что-то определял над ней растопыренными руками. Поравнявшись с ним, Новиков спросил:

— Над чем это колдуешь, отец?

Старик по-солдатски взял под козырек, проговорил:

— Товарищ командующий, был я в германском плену в пятнадцатом году, работал там у одной хозяйки. — И, указав на яму, потом на небо, подмигнул. — Не иначе мой байстрюк, сукин сын, прилетал, наведывал меня.

Новиков рассмеялся:

— Ох, старик.

Он заглянул в закрытое ставнями окно Гетманова, кивнул часовому, стоявшему у крыльца, и вдруг подумал: «Какого черта Гетманов в штаб фронта ездит? Какие это дела у него?» И на миг в душе его мелькнула тревога: «Двуличный он, как это Белову за моральное поведение выговаривал, а стоило мне про Тамару вспомнить, как лед сделался».

Но тотчас мысли эти показались пустыми, не свойственна была Новикову подозрительность.

Он свернул за угол дома и увидел на полянке несколько десятков парней, должно быть, мобилизованных райвоенкоматом, отдыхавших возле колодца.

Сопровождавший ребят боец, притомившись, спал, прикрыв лицо пилоткой, рядом с ним лежали горкой сложенные узелки и мешочки. Ребята, видимо, прошли немало по степи, натрудили ноги, и некоторые из них разулись. Головы их еще не были пострижены, и издали они походили на сельских школьников, отдыхавших на переменке между уроками. Их худые лица, тонкие шеи, русые нестриженые волосы, латаная, перешитая из отцовских пиджаков и штанов одежда — все это было совершенно детским. Несколько человек играли в традиционную игру мальчишек, когда-то и комкор играл в нее, кидали пятаки в сторону вырытой ямки, прищуриваясь, целились. Остальные глядели на игру, и лишь глаза у них не были детскими — тревожные и грустные.

Они заметили Новикова и поглядывали на спящего дядьку, очевидно, им хотелось спросить его, можно ли кидать пятаки, продолжать сидеть, когда мимо них идет военное начальство.

— Дуйте, дуйте, богатыри, — бархатным голосом сказал Новиков и прошел, махнув в их сторону рукой.

Чувство пронзительной жалости охватило его с такой остротой, что он даже растерялся от ее силы. Должно быть, эти худые детские глазастые личики, эта сельская бедная одежда вдруг с какой-то прямо-таки удивительной ясностью сообщили, что ведь дети, ребята... А в армии ребячье, человечье скрыто под каской, в выправке, в скрипе сапог, в отработанных движениях и словах. А тут все было начистоту.

Он зашел в дом, и странно, что от всего сложного и тревожного груза сегодняшних мыслей и впечатлений самой тревожной оказалась эта встреча с мальчишками-новобранцами.

«Живая сила, — повторял про себя Новиков, — живая сила, живая сила».

Всю свою солдатскую жизнь он знал страх перед начальством за потерю техники и боеприпасов, за просроченное время, за машины, моторы, горючее, за оставление без разрешения высоты и развилки дорог... Не встречал он, чтобы начальники всерьез сердились на то, что боевые действия сопровождались большими потерями живой силы. А иногда начальник посылал людей под огонь, чтобы избегнуть гнева старшего начальства и сказать себе в оправдание, разведя руками: «Ничего не мог поделать, я половину людей положил, но не мог занять намеченный рубеж».

Живая сила, живая сила.

Он несколько раз видел, как гнали живую силу под огонь даже не для перестраховки и формального выполнения приказа, а от лихости, от упрямства. Тайная тайных войны, ее трагический дух были вправе одного человека послать на смерть другого человека. Это право держалось на том, что люди шли в огонь ради общего дела.

Но вот знакомый Новикова, трезвый и разумный командир, находясь на передовом НП, не изменяя своим привычкам, ежедневно пил свежее молоко. Утром под огнем противника боец из второго эшелона приносил ему термос с молоком. Случалось, немцы убивали бойца, и тогда знакомый Новикова, хороший человек, оставался без молока. А на следующий день новый посыльный нес под огнем термос с молоком. Пил молоко хороший, справедливый, заботливый к подчиненным человек, его солдаты называли отцом. Пойди-ка разберись во всем этом хозяйстве.

Вскоре Неудобнов зашел за Новиковым, и Новиков, торопливо и старательно причесывая перед зеркальцем волосы, сказал:

— Да, товарищ генерал, жуткое все же дело война! Видели, ребят на пополнение гонят?

Неудобнов сказал:

— Да, кадры бросовые, сопливые. Я этого сопровождающего разбудил, обещал его в штрафную роту отправить. Распустил их совершенно, не воинская команда, а кабак какой-то.

В романах Тургенева иногда рассказывается, как к вновь обосновавшемуся помещику приезжают соседи. В темноте подошли к штабу две легковые машины, и хозяева вышли встречать на крыльцо гостей: командира артиллерийской дивизии, командира гаубичного полка, командира бригады реактивных минометов.

...Дайте мне руку, любезный читатель, и отправимся вместе в имение Татьяны Борисовны, моей соседки...

Полковник артиллерист, командир дивизии, был знаком Новикову по фронтовым рассказам и по штабным сводкам — он ему даже ясно представлялся: багроволицый, круглоголовый. Но, конечно, он оказался пожилым, сутулым человеком.

Казалось, что веселые глаза его случайно попали на угрюмое лицо. А иногда глаза так умно смеялись, что, казалось, они-то, глаза, и есть суть полковника, а морщины, унылая, сутулая спина случайно присоединились к этим глазам.

Командир гаубичного полка Лопатин мог сойти не только за сына, но и за внука командира артиллерийской дивизии.

Командир бригады реактивных минометов Магид, смуглый, с черными усиками над оттопыренной верхней губой, с высоким лбом от ранней лысины, оказался остряком и разговорчивым человеком.

Новиков позвал гостей в комнату, где стоял уже накрытый стол.

— Прошу принять привет с Урала, — сказал он, указывая на тарелки маринованных и соленых грибов.

Повар, стоявший в картинной позе у накрытого стола, сильно покраснел, ахнул и скрылся — не выдержали нервы.

Вершков наклонился над ухом Новикова и зашептал, указывая на стол:

— Конечно, давайте, что ж ее держать взаперти.

Командир артиллерийской дивизии Морозов, показав ногтем чуть повыше четверти своего стакана, сказал:

— Никак не больше, печень.

— А вам, подполковник?

— Ничего, у меня здоровая, лейте до края.

— Наш Магид — казак.

— А у вас, майор, как печень?

Командир гаубичного полка Лопатин прикрыл свой стакан ладонью и сказал:

— Спасибо, я не пью. — И, сняв ладонь, добавил: — Символически, капельку одну, чтобы чокнуться.

— Лопатин — дошкольник, конфеты любит, — сказал Магид.

Выпили за успех общей работы. Тут же, как обычно бывает, выяснилось, что у всех оказались знакомые по академии и училищам мирных времен.

Поговорили о фронтовом начальстве, о том, как плохо стоять в холодной осенней степи.

— Ну как, скоро свадьба будет? — спросил Лопатин.

— Будет свадьба, — сказал Новиков.

— Да, да, там, где «катюша», там всегда свадьба, — сказал Магид.

Магид был высокого мнения о решающей роли оружия, которым он командовал. После стакана водки он сделался снисходительно доброжелателен, в меру насмешлив, скептичен, рассеян и сильно не нравился Новикову.

Новиков в последнее время прикидывал в душе, как бы отнеслась Евгения Николаевна к тому или другому фронтовому человеку, как бы стал с ней разговаривать и вести себя тот или другой его фронтовой знакомец.

Магид, подумалось Новикову, обязательно бы стал приставать к Жене, ломался бы, хвастался, рассказывал бы анекдоты.

Новиков ощутил тревожное, ревнивое чувство, словно Женя слушала остроты Магида, старавшегося показать товар лицом.

И, сам желая показать перед ней товар лицом, он заговорил о том, как важно понимать и знать людей, с которыми рядом воюешь, заранее знать, как поведут они себя в боевых условиях. Он рассказал о Карпове, которого придется подгонять, о Белове, которого придется сдерживать,

и о Макарове, одинаково легко и быстро ориентирующемся в условиях наступления и обороны.

Из довольно пустого разговора возник спор, который часто происходит среди командиров различных родов войск, спор хотя и горячий, но, по существу, тоже довольно-таки пустой.

— Да, людей направлять и подправлять надо, но насиловать их волю не следует, — сказал Морозов.

— Людьми надо твердо руководить, — сказал Неудобнов. — Ответственности бояться не надо, ее нужно на себя принимать.

Лопатин сказал:

— Кто не был в Сталинграде, тот вообще войны не видел.

— Нет уж вы простите, — возразил Магид. — Что Сталинград? Геройство, стойкость, упорство — не спорю, да и смешно спорить! Но я не был в Сталинграде, а имею нахальство считать, что войну видел. Я офицер наступления. В трех наступлениях я участвовал и скажу: сам прорывал, сам в прорыв входил. Пушки себя показали, обогнали не только пехоту, но и танки, а хотите знать, и авиацию.

— Ну, это вы, подполковник, бросьте: обогнали танки, — желчно сказал Новиков. — Танк — хозяин маневренной войны, тут и разговору нет.

— Есть еще такой простой прием, — сказал Лопатин. — В случае успеха все приписывать себе. А неуспех валить на соседа.

Морозов сказал:

— Эх, соседи, соседи, вот как-то командир стрелковой части, генерал, попросил меня поддержать его огнем. «Дай-ка, друг, огоньку вон по тем высоткам». «Какие ввести калибры?» А он по матушке выругался и говорит: «Давай огоньку, и все тут!» А потом оказалось, он не знает ни калибров орудий, ни дальности огня да и в карте плохо разбирается: «Давай, давай огоньку, туды твою мать...» — А своим подчиненным: «Вперед, а то зубы выбью, расстреляю!» — И уверен, что превзошел всю мудрость войны. Вот вам и сосед, прошу любить и жаловать. А тебя еще зачислят к нему в подчинение, как же — генерал.

— Эх, извините, чуждым нашему духу языком вы говорите, — сказал Неудобнов. — Нет таких командиров частей в Советских Вооруженных Силах, да еще генералов!

— Как нет? — сказал Морозов. — Да скольких я за год войны встретил подобных мудрецов, пистолетом грозят, матерятся, бессмысленно людей посылают под огонь. Вот недавно. Командир батальона плачет прямо: «Куда я поведу людей на пулеметы?» И я говорю: «Верно ведь, давайте задавим огневые точки артиллерией». А командир дивизии, генерал, с кулаками на этого комбата: «Или ты сейчас выступишь, или я тебя как собаку расстреляю». Ну и повел людей, как скот, на убой!

— Да, да, это называется: ндраву моему не препятствуй, — сказал Магид. — А размножаются генералы, между прочим, не почкованием, а портят девочек-связисток.

— И двух слов без пяти ошибок написать не могут, — добавил Лопатин.

— Вот, вот, — сказал, не расслышав, Морозов. — Повоюйте с ними малой кровью. Вся сила их в том, что они людей не жалеют.

То, что говорил Морозов, вызывало в Новикове сочувствие. Всю свою военную жизнь сталкивался он с такими и подобными делами.

Вдруг он сказал:

— А как это людей жалеть? Если человек людей жалеет, не надо ему воевать.

Его очень расстроили сегодняшние ребята-новобранцы, ему хотелось рассказать о них. И вместо того, чтобы высказать хорошее и доброе, что было в нем, Новиков с внезапной, ему самому совершенно непонятной злобой и грубостью повторил:

— А как это — людей жалеть? На то и война, чтобы себя не жалеть и людей не жалеть. Главная беда: пригонят в часть кое-как обученных и дадут им в руки драгоценную технику. Спрашивается вот, кого жалеть?

Неудобнов быстро переводил глаза с одного собеседника на другого.

Неудобнов погубил немало хороших людей, таких, что сидели сейчас за столом, и Новикова поразила мысль, что, может быть, беда от этого человека не меньше, чем та, что ждет на переднем крае Морозова, его,

Новикова, Магида, Лопатина и тех сельских ребят, что отдыхали сегодня на станичной улице.

Неудобнов назидательно сказал:

— Не тому нас учит товарищ Сталин. Товарищ Сталин нас учит, что самое дорогое — люди, наши кадры. Наш самый драгоценный капитал — кадры, люди, их и беречь надо как зеницу ока.

Новиков видел, что слушатели сочувственно относятся к словам Неудобнова, и подумал: «Вот интересно выходит. Я перед соседями зверь зверем получился, а Неудобнов, оказывается, людей бережет. Жаль, что Гетманова нет, тот уж совсем святой. И всегда у меня с ними так».

Перебивая Неудобнова, он совсем уж грубо и зло сказал:

— Людей у нас много, а техники мало. Человека сделать всякий дурак может, это не танк, не самолет. Если ты людей жалеешь, не лезь на командную должность!

36

Командующий Сталинградским фронтом генерал-полковник Еременко вызвал к себе командование танкового корпуса — Новикова, Гетманова, Неудобнова.

Накануне Еременко побывал в бригадах, но в штаб корпуса не заезжал.

Приехавшие по вызову командиры сидели, поглядывая искоса на Еременко, не зная, какой разговор ждет их.

Еременко поймал взгляд Гетманова, оглядывавшего койку со смятой подушкой, и сказал:

— Нога сильно разболелась. — И выругал свою ногу плохими словами.

Все молчали, смотрели на него.

— Вообще корпус подготовлен, успели подготовиться, — сказал Еременко.

Произнося эти слова, он искоса посмотрел на Новикова, но тот не вспыхнул радостно, услыша одобрение командующего.

Еременко был немного удивлен тем, что командир корпуса равнодушно отнесся к похвале не щедрого на похвалу командующего.

— Товарищ генерал-полковник, — сказал Новиков, — я уж вам докладывал, что части нашей штурмовой авиации два дня бомбили сосредоточенную в районе степных балок сто тридцать седьмую танковую бригаду, входящую в состав корпуса.

Еременко, прищурившись, соображал, чего он хочет: обезопасить себя, подвести ли авиационного начальника?

Новиков нахмурился, добавил:

— Хорошо, что попаданий прямых не было. Они бомбить не умеют.

Еременко сказал:

— Ничего. Они еще вас поддержат, загладят свою вину.

Гетманов вмешался в разговор:

— Конечно, товарищ командующий фронтом, мы со сталинской авиацией ссориться не будем.

— Вот, вот, товарищ Гетманов, — сказал Еременко и спросил: — Ну, как, были у Хрущева?

— Завтра велел мне приехать Никита Сергеевич.

— По Киеву знает?

— Почти два года, товарищ командующий, с Никитой Сергеевичем работали.

— Скажи, пожалуйста, товарищ генерал, тебя ли я видел как-то на квартире у Тициана Петровича? — вдруг спросил Еременко у Неудобнова.

— Так точно, — ответил Неудобнов. — Вас тогда Тициан Петрович вызывал вместе с маршалом Вороновым.

— Верно, верно.

— А я, товарищ генерал-полковник, был некоторое время прикомандирован наркомом по просьбе Тициана Петровича. Поэтому я бывал у него дома.

— Вот-вот, я вижу — знакомое лицо, — сказал Еременко и, желая показать свое расположение Неудобнову, прибавил: — Не скучно тебе, товарищ генерал, в степи, надеюсь, устроился неплохо?

И удовлетворенно кивнул, еще не выслушав ответа.

Когда посетители уходили, Еременко окликнул Новикова:

— Полковник, пойди-ка сюда.

Новиков вернулся от двери, и Еременко, привстав, приподнял над столом свое тело располневшего крестьянина, сварливо сказал:

— Вот что. Тот с Хрущевым работал, тот с Тицианом Петровичем, а ты, сукин сын, солдатская кость, помни — ты корпус в прорыв поведешь.

37

В темное, холодное утро Крымова выписали из госпиталя. Он, не заходя домой, отправился к начальнику политуправления фронта генералу Тощееву доложить о своей поездке в Сталинград.

Крымову повезло — Тощеев с утра находился у себя в служебном кабинете, в обшитом серыми досками доме, и без промедления принял Николая Григорьевича.

Начальник политуправления, чья внешность и фамилия были связаны, косил глазами на свою новую, надетую после недавнего производства в генералы форму, потягивал носом, вдыхая карболовый госпитальный дух, шедший от посетителя.

— Поручения по дому «шесть дробь один» я не выполнил из-за ранения, — сказал Крымов, — теперь могу снова отправиться туда.

Тощеев посмотрел на Крымова раздраженным, недовольным взглядом, сказал:

— Не надо, напишите на мое имя подробную докладную.

Он не задал ни одного вопроса, не одобрил и не осудил доклад Крымова.

Как всегда, странными казались генеральская форма и ордена в бедной сельской избе.

Но странным было не только это.

Николай Григорьевич не мог понять, чем вызвал хмурое недовольство начальства.

Крымов зашел в общую часть политуправления, чтобы получить талоны на обед, прикрепить продовольственный аттестат, оформить свое возвращение из командировки, оформить дни, проведенные в госпитале.

Пока в канцелярии заготовлялись документы, Крымов сидел на табуретке и оглядывал лица сотрудников и сотрудниц.

Здесь никто не интересовался им, его возвращение из Сталинграда, его ранение, все, что он видел и пережил, не имело значения, ничего не значило. Люди в общей части были заняты делом. Стучали пишущие машинки, шелестели бумаги, глаза сотрудников скользили по Крымову и вновь уходили в раскрытые папки, в разложенные на столах бумаги.

Сколько нахмуренных лбов, какое напряжение мысли в глазах, в сведенных бровях, какая погруженность, сколько плавной деловитости в движениях рук, перекладывающих, листающих бумаги.

И лишь внезапный судорожный зевок, быстрый вороватый взгляд, брошенный на часы — долго ли до обеда, — серая, сонная муть, наплывавшая на те либо иные глаза, говорили о смертной скуке киснущих в канцелярской духоте людей.

В общую часть заглянул знакомый Крымову инструктор из седьмого отдела политуправления фронта. Крымов вышел вместе с ним в коридор покурить.

— Приехали? — спросил инструктор.

— Да, как видите.

И так как инструктор не спросил Крымова, что видел он в Сталинграде и что делал там, Николай Григорьевич сам спросил:

— Что у вас нового в политуправлении?

Главной новостью была та, что бригадный комиссар наконец получил при переаттестации звание генерала.

Инструктор, посмеиваясь, рассказал, что Тощеев, ожидая нового, строевого звания, заболел от волнения — шутка ли, пошил у лучшего

фронтового портного генеральскую форму, а Москва генерала ему все не давала и не давала. Ходят жуткие рассказы о том, что при переаттестации некоторые полковые и старшие батальонные комиссары будут получать звание капитанов и старших лейтенантов.

— Представляете, — сказал инструктор, — вот так прослужить, как я, восемь лет в армии, в политорганах, и получить лейтенанта, а?

Были еще новости. Заместитель начальника отдела информации политуправления фронта отозван в Москву, в Главное политическое управление, где получил повышение, назначен заместителем начальника политуправления Калининского фронта.

Старшие инструкторы политуправления, питавшиеся раньше в столовой заведующих отделов, приравнены по указанию члена Военного совета к инструкторам, питаются теперь в общей столовой. Имеется указание отбирать у отправляющихся в командировку обеденные талоны, не компенсируя их сухим пайком. Поэты фронтовой редакции Кац и Талалаевский были представлены к награждению орденами Красной Звезды, но по новому указанию товарища Щербакова награждение работников фронтовой печати должно проходить через Главное политическое управление, и потому материалы на поэтов посланы в Москву, а фронтовой список тем временем подписан командующим, и все проходившие по этому списку обмыли свои правительственные награды.

— Вы еще не обедали? — спросил инструктор. — Пойдемте вместе.

Крымов ответил, что ждет оформления документов.

— Тогда я пойду, — сказал инструктор и вольнодумно пошутил на прощание: — Надо спешить, а то довоюемся до того, что станут нас кормить в столовой военторга вместе с вольнонаемными и девками-машинистками.

Вскоре и Крымов, закончив оформление документов, вышел на улицу, вдохнул сырой осенний воздух.

Почему так хмуро встретил его начальник политуправления? Чем был он недоволен? Крымов не выполнил поручения? Начальник политуправления не поверил, что Крымова ранило, заподозрил его в трусости? Его раздражило, что Крымов прошел к нему, минуя свое непосредственное начальство, да еще не в приемные часы? Крымов дважды назвал его «товарищ бригадный комиссар», а не «товарищ генерал-майор»? А может быть, Крымов тут ни при чем — мало ли что? Тощеев не представлен к ордену Кутузова? Письмо о болезни жены? Кто может знать, почему начальник политуправления фронта был в это утро в таком плохом настроении?

Крымов за сталинградские недели отвык от Средней Ахтубы, от равнодушных взглядов начальства в политуправлении, сослуживцев-инструкторов, официантов в столовых. В Сталинграде было не так!

Вечером он пришел к себе в комнату. Хозяйская собака, казалось, составленная из двух различных половин — клочковато-лохматого рыжего зада и черно-белой длинной морды, — очень обрадовалась ему. Обе ее половинки были рады — вилял рыжий, сбитый в войлочные комья хвост, а черно-белая морда тыкалась в руки Крымова, умильно глядела добрыми карими глазами. В вечернем полумраке казалось, что две собаки ласкаются к Крымову. Собака вместе с ним прошла в сени. Хозяйка, возившаяся в сенях, зло сказала собаке: «Пошел отсюда, окаянный», — а потом уж хмуро, как начальник политуправления, поздоровалась с Крымовым.

Какой неуютной, одинокой показалась ему эта тихая комнатка, кровать, подушка в белой наволочке, кружевные занавески на окнах после милых сталинградских землянок, берлог, прикрытых плащ-палатками, сырых дымных блиндажей.

Крымов сел за стол и принялся за докладную. Он писал быстро, мельком сверяясь с записями, сделанными в Сталинграде. Самым сложным оказалось написать о доме «шесть дробь один». Он встал, прошелся по комнате, снова сел за стол, тотчас опять встал, вышел в сени, покашлял, прислушался — неужели чертова старуха не предложит чаю? Потом он черпнул ковшиком воды из бочонка, вода была хорошая, лучше сталинградской, вернулся в комнату, сел за стол, подумал, держа перо в руке. Потом он лег на койку, закрыл глаза.

Как же получилось? Греков стрелял в него!

В Сталинграде у него все силилось ощущение связи, близости с людьми, ему в Сталинграде легко дышалось. Там не было тусклых, безразличных к нему глаз. Казалось, что, пройдя в дом «шесть дробь один», он с еще большей силой ощутил дыхание Ленина. А пришел туда и сразу почувствовал насмешливое недоброжелательство, и сам стал раздражаться, вправлять людям мозги, угрожать им. Зачем заговорил он о Суворове? Греков стрелял в него! Он особо мучительно ощущал сегодня одиночество, надменность и снисходительность людей, казавшихся ему полуграмотными, балбесами, молокососами в партии. Какая тоска тянуться перед Тощеевым! Ощущать его раздраженный, то иронический, то презирающий взгляд. Ведь Тощеев со всеми своими чинами и орденами по настоящему партийному счету не стоит крымовского пальца. Случайные для партии, не связанные с ленинской традицией люди! Ведь многие из них выдвинулись в 1937 году: писали доносы, разоблачали врагов народа. И он вспомнил чудное чувство веры, легкости, силы, с которым шел по ходку к пятну дневного света.

Ему даже душно стало от злобы — это Греков отшвырнул его от желанной жизни. Идя в этот дом, он радовался своей новой судьбе. Ленинская правда, казалось ему, жила в этом доме. Греков стрелял в большевика-ленинца! Он отшвырнул Крымова обратно в ахтубинскую канцелярию, нафталинную жизнь! Мерзавец!

Крымов вновь сел за стол. Ни одного слова неправды не было в том, что он написал.

Он прочел написанное. Конечно, Тощеев передаст его докладную в Особый отдел. Греков растлил, политически разложил воинское подразделение, произвел терракт: стрелял в представителя партии, военного комиссара. Крымова вызовут для показаний, вероятно, для очной ставки с арестованным Грековым.

Он представил себе, как Греков сидит перед столом следователя, небритый, с бледно-желтым лицом, без поясного ремня.

Как это Греков сказал: «Тоскуете вы, но об этом в рапорте не напишешь».

Генсек марксистско-ленинской партии объявлен непогрешимым, чуть ли не божественным! В тридцать седьмом году Сталин не пощадил старой ленинской гвардии. Он нарушил ленинский дух, сочетавший партийную демократию с железной дисциплиной.

Мыслимо ли, законно ли расправляться с такой жестокостью с членами ленинской партии? Вот Грекова расстреляют перед строем. Страшно, когда бьют по своим, а Греков ведь не свой, он враг.

Крымов никогда не сомневался в праве партии действовать мечом диктатуры, святом праве революции уничтожать своих врагов. Он и оппозиции никогда не сочувствовал! Он никогда не считал, что Бухарин, Рыков, Зиновьев и Каменев шли ленинским путем. Троцкий при всем блеске своего ума и революционного темперамента не изжил своего меньшевистского прошлого, не поднялся до ленинских высот. Вот сила — Сталин! Его потому и зовут хозяином. Его рука ни разу не дрогнула, в нем не было интеллигентской дряблости Бухарина. Партия, созданная Лениным, громя врагов, шла за Сталиным. Военные заслуги Грекова ничего не значат. С врагами не спорят, к их доводам не прислушиваются.

Но как ни пытался озлобить себя Николай Григорьевич, он в эти минуты уже не чувствовал злобы к Грекову.

Снова вспомнилось: «Тоскуете вы».

«Что ж это, — думал Крымов, — донос, что ли, я написал? Пусть и не ложный, но все же донос... Ничего не поделаешь, товарищ дорогой, ты член партии... Выполняй свой партийный долг».

Утром Крымов сдал свою докладную записку в политуправление Сталинградского фронта.

А через два дня Крымова вызвал заведующий отделом агитации и пропаганды политуправления фронта, полковой комиссар Огибалов, замещавший начальника политуправления. Сам Тощеев не мог принять Крымова — был занят с приехавшим с фронта комиссаром танкового корпуса.

Большеносый и бледный, обстоятельный и методичный полковой комиссар Огибалов сказал Крымову:

— Вам придется на днях снова съездить на правый берег, товарищ Крымов, на этот раз в шестьдесят четвертую к Шумилову. Кстати, наша машина пойдет на командный пункт обкома партии, а с командного пункта обкома партии вы переправитесь к Шумилову. Секретари обкома поедут на празднование Октябрьской революции в Бекетовку.

Он, не торопясь, продиктовал Крымову все, что поручалось ему сделать в политотделе 64-й армии; поручения были до обидного мелкие, неинтересные, связанные со сбором бумажных сведений, нужных не для живого дела, а для канцелярских отчетов.

— А как же с докладами? — спросил Крымов.— Я ведь готовил по вашему поручению октябрьский доклад, хотел его читать в частях.

— Пока воздержимся,—сказал Огибалов и стал объяснять, почему следует Крымову воздержаться.

Когда Крымов собрался уходить, полковой комиссар сказал ему:

— Ну и история с этой вашей докладной, меня начальник политуправления ввел в курс.

У Крымова заныла душа—наверное, делу Грекова уже дали ход. Полковой комиссар проговорил:

— Повезло этому вашему орлу Грекову, вчера нам сообщил начальник политотдела шестьдесят второй армии, что Греков убит при немецком наступлении на Тракторный, погиб вместе со всем своим отрядом.

И, утешая Крымова, добавил:

— Его командующий армией представил посмертно к званию Героя Советского Союза, но теперь ясно, мы это дело прикроем.

Крымов развел руками, как бы говоря: «Что ж, повезло так повезло, ничего не поделаешь».

Огибалов, понизив голос, сказал:

— Начальник Особого отдела считает, что он, возможно, жив. Мог перейти на сторону противника.

Дома Крымова ждала записка — его просили зайти в Особый отдел. Видимо, дело Грекова продолжалось.

Крымов решил отложить неприятный разговор в Особом отделе до своего возвращения—в посмертных делах срочности не было.

38

В южной части Сталинграда, в поселке Бекетовка, на заводе «Судоверфь» областная партийная организация решила провести торжественное заседание, посвященное двадцатипятилетию Октябрьской революции.

Рано утром 6 ноября на подземном командном пункте Сталинградского обкома, в дубовой роще на левом берегу Волги, собрались партийные руководители области. Первый секретарь обкома, отраслевые секретари, члены бюро обкома съели трехступенчатый горячий завтрак и на машинах выехали из дубовой рощи на большую дорогу, ведущую к Волге.

По этой дороге шли ночами на южную Тумакскую переправу танки и артиллерия. Пронзительно безотрадно выглядела изрытая войной степь в замерзших комьях бурой грязи, в запаянных оловянным льдом лужах. По Волге двигался лед, его шуршание было слышно за десятки метров от берега. Дул сильный низовой ветер, переправа через Волгу на открытой железной барже была в этот день невеселым делом.

Ожидавшие переправы красноармейцы в подбитых холодным волжским ветром шинелях сидели на барже, лепясь один к другому, стараясь не прикасаться к напитанному холодом железу. Люди били горькую чечетку, поджимали ноги, а когда потянул с Астрахани могучий ледяной ветер, не было сил ни дуть на пальцы, ни хлопать себя по бокам, ни утирать сопли, люди стыли. Над Волгой стлался рваный дым, шедший из трубы парохода. Дым казался особо черным на фоне льда, а лед казался особо белым под низким пологом пароходного дыма. Лед нес от сталинградского берега войну.

Большеголовый ворон сидел на льдине и думал: подумать было о чем. Рядом на льдине лежала обгорелая пола солдатской шинели, на третьей льдине стоял окаменевший валенок, торчал карабин, вмерзший согнутым дулом в лед. Легковые машины секретарей обкома и членов бюро въехали на баржу. Секретари и члены бюро вышли из машин и, стоя у бортов, смотрели на медленно идущий лед, слушали его шуршание.

Синегубый старик в красноармейской шапке, в черном полушубке, старший на барже, подошел к секретарю обкома по транспорту Лактионову и с невообразимой сипотой, рожденной речной сыростью, многолетней водкой и табаком, проговорил:

— Вот, товарищ секретарь, шли первым утренним рейсом, матросик лежал на льду, ребята его сняли, чуть вместе с ним не потонули, ломами пришлось вырубать — вон он, под брезентом на берегу.

Старик указал грязной варежкой в сторону берега. Лактионов посмотрел, не увидел вырубленного изо льда покойника и, в грубой прямоте вопроса пряча неловкость, спросил, указывая на небо:

— Как он тут вас? В какое время особенно?

Старик махнул рукой:

— Какая у него теперь бомбежка.

Старик выругал ослабевшего немца, и голос его при произнесении бранной фразы вдруг очистился от сипоты, прозвучал звонко и весело.

А буксир потихоньку тянул баржу к бекетовскому—сталинградскому берегу, казавшемуся не военным, а обычным, с нагромождением складов, будок, бараков.

Ехавшим на празднование секретарям и членам бюро наскучило стоять на ветру, и они вновь сели в машины. Красноармейцы смотрели на них сквозь стекла, как на тепловодных рыб в аквариуме.

Сидевшие в «эмках» партийные руководители Сталинградской области закуривали, почесывались, переговаривались...

Торжественное заседание состоялось ночью.

Пригласительные билеты, отпечатанные типографским способом, отличались от мирных лишь тем, что серая, рыхлая бумага была уж очень плоха, а на билете не указывалось место заседания.

Партийные руководители Сталинграда, гости из 64-й армии, инженеры и рабочие с соседних предприятий шли на заседание с провожатыми, хорошо знавшими дорогу: «Здесь поворот, еще поворот, осторожно, воронка, рельсы, осторожней, тут яма с известью...»

Отовсюду во мраке слышались голоса, шарканье сапог.

Крымов, успевший днем после переправы побывать в армейском политотделе, приехал на празднование с представителями 64-й армии.

В тайном, рассредоточенном движении людей, пробиравшихся в ночной мгле по заводскому лабиринту, было что-то напоминавшее революционные праздники старой России.

Волнение заставляло Крымова шумно вздыхать, он понимал, что сейчас, не готовясь, мог бы сказать речь, и чувством опытного массового оратора знал: люди пережили бы вместе с ним волнение, радость оттого, что сталинградский подвиг сродни революционной борьбе русских рабочих.

Да, да, да. Война, поднявшая громаду национальных сил, была войной за революцию. В том, что он в окруженном доме заговорил о Суворове, не было измены революции. Сталинград, Севастополь, судьба Радищева, мощь марксова манифеста, ленинские призывы с броневика у Финляндского вокзала были едины.

Он увидел Пряхина, как всегда неторопливого, медленного. Удивительно как-то получалось—никак Николаю Григорьевичу не удавалось поговорить с Пряхиным.

Он приехал на подземный командный пункт обкома и сразу же пошел к Пряхину, ему хотелось о многом рассказать ему. Но поговорить не удалось, почти все время звонил телефон, к первому секретарю то и дело входили люди. Неожиданно Пряхин спросил у Крымова:

— Ты Гетманова такого знал?

— Знал,—ответил Крымов.—На Украине, в ЦК партии, был членом бюро ЦК. А что?

Но Пряхин ничего не ответил. А потом началась предотъездная суета. Крымов обиделся—Пряхин не предложил ему ехать в своей машине.

Дважды они сталкивались лицом к лицу, и Пряхин словно не узнавал Николая Григорьевича, холодно и безразлично смотрели его глаза.

Военные шли по освещенному коридору — рыхлый, с толстой грудью и животом командарм Шумилов, маленький, с выпуклыми карими глазами сибиряк, генерал, член Военного совета армии Абрамов. В простодушном демократизме мужской дымящей толпы в гимнастерках, ватниках, тулупах, среди которой шли генералы, казалось Крымову, проявлялся дух первых лет революции, ленинский дух. Ступив на сталинградский берег, Крымов вновь ощутил это.

Президиум занял свои места, и председатель Сталинградского горсовета Пиксин оперся руками на стол, как все председатели, медленно покашлял в сторону, где особенно густо шумели, и объявил торжественное заседание Сталинградского горсовета и партийных организаций города совместно с представителями воинских частей и рабочих сталинградских заводов, посвященное двадцатипятилетней годовщине Великой Октябрьской революции, открытым.

По жесткому звуку аплодисментов чувствовалось, что хлопают одни лишь мужские, солдатские и рабочие ладони.

А потом Пряхин, первый секретарь, тяжелый, медлительный, лобастый, начал свой доклад. И не стало связи между давно прошедшим и сегодняшним днем.

Казалось, Пряхин открыл дискуссию с Крымовым, опровергал его волнение размеренностью своей мысли.

Предприятия области выполняют государственный план. Сельские районы на левобережье с некоторым запозданием, в основном же удовлетворительно выполнили государственные заготовки.

Предприятия, расположенные в городе и севернее города, не выполнили своих обязательств перед государством, так как находятся в районе военных действий.

Вот этот человек, когда-то стоя рядом с Крымовым на фронтовом митинге, сорвал с головы папаху, крикнул:

— Товарищи солдаты, братья, долой кровавую войну! Да здравствует свобода!

Сейчас он, глядя в зал, говорил, что резкое снижение поставок государству зерновых по области объясняется тем, что Зимовнический, Котельнический районы поставок не смогли выполнить, будучи ареной военных действий, а районы Калача, Верхне-Курмоярской частично или полностью оккупированы противником.

Затем докладчик заговорил о том, что население области, продолжая трудиться над выполнением своих обязательств перед государством, одновременно широко приняло участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Он привел цифровые данные об участии трудящихся города в частях народного ополчения, зачитал, оговорившись, что данные неполны, сведения о числе сталинградцев, награжденных за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество.

Слушая спокойный голос первого секретаря, Крымов понимал, что в разящем несоответствии его мыслей и чувств со словами о сельском хозяйстве и промышленности области, выполнивших свои обязательства перед государством, выражена не бессмысленность, а смысл жизни.

Речь Пряхина именно своей каменной холодностью утверждала безоговорочное торжество государства, обороняемого человеческим страданием и страстью к свободе.

Лица рабочих и военных были серьезны, хмуры.

Как странно, томительно было вспоминать сталинградских людей, Тарасова, Батюка, разговоры с бойцами в окруженном доме «шесть дробь один». Как нехорошо и трудно было думать о Грекове, погибшем в развалинах окруженного дома.

Кто же он Крымову — Греков, произносивший возмутительные слова? Греков стрелял в него. Почему так чуждо, так холодно звучат слова Пряхина, старого товарища, первого секретаря Сталинградского обкома? Какое странное, сложное чувство.

А Пряхин уже подходил к концу доклада, говорил:

— Мы счастливы рапортовать великому Сталину, что трудящиеся области выполнили свои обязательства перед Советским государством...

После доклада Крымов, двигаясь в толпе к выходу, искал глазами Пряхина. Не так, не так должен был делать Пряхин свой доклад в дни сталинградских боев.

И вдруг Крымов увидел его: Пряхин, спустившись с возвышения, стоял рядом с командующим 64-й армией, пристальным, тяжелым взглядом смотрел прямо на Крымова; заметив, что Крымов глядит в его сторону, Пряхин медленно отвел глаза.

«Что такое?» — подумал Крымов.

39

Ночью, после торжественного заседания, Крымов добрался попутной машиной до Стальгрэса.

Зловеще выглядела станция в эту ночь. Накануне на нее налетали немецкие тяжелые бомбардировщики. Взрывы накопали воронок, валом подняли комоватую землю. Ослепшие, без стекол, цехи кое-где от сотрясения осели, трехэтажное здание конторы было растерзано.

Масляные трансформаторы дымно горели ленивым зубчатым невысоким огнем.

Охранник, молодой грузин, вел Крымова через двор, освещенный пламенем. Крымов заметил, как дрожали пальцы у закурившего провожатого, — не только каменные здания рушатся и горят от тонных бомб, горит, приходит в хаос и человек.

О встрече со Спиридоновым Крымов думал с той минуты, как получил приказание побывать в Бекетовке.

Вдруг Женя здесь, на Стальгрэсе? Может быть, Спиридонов знает о ней, может быть, он получил от нее письмо, и она приписала в конце: «Не знаете ли вы что-нибудь о Николае Григорьевиче?»

Он волновался и радовался. Может быть, Спиридонов скажет: «А Евгения Николаевна все грустила». Может быть, он скажет: «Знаете, она плакала».

С утра все силилось нетерпеливое желание заехать на Стальгрэс. Днем ему очень хотелось хоть на несколько минут заглянуть к Спиридонову.

Но он все же пересилил себя, поехал на командный пункт 64-й армии, хотя инструктор армейского политотдела шепотом предупредил его:

— Торопиться вам сейчас к члену Военного совета незачем. Он сегодня с утра пьян.

И действительно, напрасно Крымов спешил к генералу, не заехал днем к Спиридонову. Сидя в ожидании приема на подземном командном пункте, он слышал, как за фанерной перегородкой член Военного совета диктовал машинистке поздравительное письмо соседу Чуйкову.

Он торжественно произнес:

— Василий Иванович, солдат и друг!

Сказав эти слова, генерал заплакал и несколько раз, всхлипывая, повторил: «Солдат и друг, солдат и друг».

Потом он строго спросил:

— Ты что там написала?

— «Василий Иванович, солдат и друг», — прочла машинистка.

Видимо, ее скучающая интонация показалась члену неподходящей, и он исправил ее, высоким голосом произнес:

— Василий Иванович, солдат и друг.

И снова расчувствовался, забормотал: «Солдат и друг, солдат и друг».

Потом генерал, пересилив слезы, строго спросил:

— Ты что там написала?

— «Василий Иванович, солдат и друг», — сказала машинистка.

Крымов понял, что мог не спешить.

Неясный огонь не освещал, а путал дорогу, казалось, выползал из глубины земли; а может быть, сама земля горела — таким сырым, тяжелым было это низкое пламя.

Они подошли к подземному командному пункту директора Стальгрэса. Бомбы, упавшие невдалеке, накопали высокие земляные холмы,

и к входу в убежище едва наметилась еще не протрамбованная ногами тропинка.

Охранник сказал:

— Вот пришли как раз в праздник.

Крымов подумал, что на людях Спиридонову не скажешь того, что хочешь, не спросишь. Он велел охраннику вызвать директора на поверхность, сказать, что приехал комиссар из штаба фронта. Когда он остался один, непреодолимое волнение охватило его.

«Да что это? — подумал он. — Я считал — вылечился. Неужели и война не могла закрестить? Что мне делать?»

«Гони, гони, гони, уходи, иначе погибнешь!» — бормотал он.

Но не было силы уйти, не было силы гнать.

Из блиндажа вышел Спиридонов.

— Слушаю вас, товарищ, — недовольным голосом сказал он.

Крымов спросил:

— Не узнал меня, Степан Федорович?

Спиридонов тревожно проговорил:

— Кто это? — И, всматриваясь в лицо Крымова, вдруг вскрикнул: — Николай, Николай Григорьевич!

Его руки с судорожной силой обхватили шею Крымова.

— Родной мой, Николай, — проговорил он и стал сопеть.

И Крымов, захваченный этой встречей среди развалин, почувствовал, что плачет. Один, совершенно один... В доверчивости, радости Спиридонова он почувствовал свою близость к семье Евгении Николаевны и в этой близости вновь измерил свою душевную боль. Почему, почему ушла она, почему принесла столько страданий? Как могла она сделать это?

Спиридонов сказал:

— Война что наделала, уничтожила мою жизнь. Погибла моя Маруся.

Он рассказал о Вере, сказал, что несколько дней назад она наконец уехала со Стальгрэса, перебралась на левый берег Волги. Он сказал:

— Дура она.

— А муж ее где? — спросил Крымов.

— Наверное, на свете давно нет — летчик-истребитель.

Крымов спросил, не имея больше силы сдерживаться:

— Что с Евгенией Николаевной, жива она, где она?

— Жива, не то в Куйбышеве, не то в Казани.

Глядя на Крымова, он добавил:

— Это ведь самое главное: жива!

— Да, да, конечно, это самое главное, — сказал Крымов.

Но он не знал, что самое главное. Он знал лишь одно — боль в душе не проходит. Он знал, что все, связанное с Евгенией Николаевной, причиняло ему боль. Узнавал ли он, что ей хорошо и спокойно, узнавал ли он, что она страдает и переживает беду, — все ему было одинаково плохо.

Степан Федорович говорил об Александре Владимировне, Сереже, Людмиле, а Крымов кивал головой, негромко бормотал:

— Да, да, да... Да, да, да...

— Пошли, Николай, — сказал Степан Федорович. — Пошли ко мне, у меня теперь другого дома нет. Только этот.

Струящиеся огоньки светильников не могли осветить подземелья, заставленного койками, шкафами, аппаратурой, бутылями, мешками с мукой.

На скамьях, на койках, ящиках, вдоль стен сидели люди. В душном воздухе стоял гул разговора.

Спиридонов разливал спирт в стаканы, кружки, крышки от котелков. Стало тихо, все следили за ним особым взглядом. Этот взгляд глубок и серьезен, в нем нет тревоги, одна лишь вера в справедливость.

Оглядывая лица сидящих, Крымов подумал:

«Хорошо бы был здесь Греков. Вот ему бы налить». Но Греков уже выпил отпущенное ему число чарок. Больше пить ему на этом свете не полагалось.

Спиридонов поднялся со стаканом в руке, и Крымов подумал: «Испортит все, закатит речь вроде Пряхина».

Но Степан Федорович описал стаканом в воздухе восьмерку и сказал:

— Что ж, ребята, придется выпить. С праздником вас.

Застучали стаканы, застучали жестяные кружки, закряхтели выпившие, покачали головами.

Люди тут были самые разные, и государство перед войной расселило их разно, и они не встречались за одним столом, не хлопали друг друга по плечу, не говорили: «Нет, ты послушай сюда, что я тебе скажу».

Но здесь, в подземелье, над которым стояла разрушенная электростанция и горел пожар, возникло то незатейливое братство, за которое жизнь не жалко отдать, так хорошо оно.

Седой старик, ночной сторож, запел старую песню, которую любили петь до революции царицынские ребята с французского завода.

Пел он пронзительно, тонко, голосом своей молодости, и потому, что голос молодой поры стал ему чужим, он сам себя слушал с каким-то насмешливым удивлением, как слушают загулявшего постороннего человека.

Второй черноголовый старик, серьезно нахмурившись, слушал песню про любовь и любовное страдание.

И верно, хорошо было слушать пение, хорош был чудный и страшный час, связавший директора и ездового с полевой хлебопекарни, ночного сторожа, охранника, смешавший по-людски калмыка, русских, грузина.

А черный старик, как только сторож кончил петь про любовь, еще больше нахмурил и без того хмурые брови, медленно, без слуха и без голоса запел:

— Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног...

Парторг ЦК рассмеялся, замотал головой, и Спиридонов рассмеялся, замотал головой.

И Крымов усмехнулся, спросил Спиридонова:

— Меньшевиком когда-то был старикан, наверное, а?

Спиридонов все знал об Андрееве и, конечно, все рассказал бы Крымову, но было боязно, что его услышит Николаев, и чувство простецкого братства отошло на миг, и, перебив пение, Спиридонов закричал:

— Павел Андреевич, это не из той оперы!

Андреев сразу замолчал, поглядел, потом сказал:

— А я вот думал, из той. Померещилось.

Охранник грузин показал Крымову руку с содранной кожей.

— Откапывал друга. Воробьев Сережа.

Его черные глаза вспыхнули, и он сказал с задышкой, казалось, что крикнул пронзительно:

— Я его, Сережу, больше брата любил.

А седой ночной сторож, захмелевший, весь в поту, приставал к парторгу ЦК Николаеву:

— Нет, ты лучше меня послушай, Макуладзе говорит, что Сережку Воробьева больше брата родного любил, пожалуйста! Знаешь, я на антрацитовом руднике работал, меня хозяин как уважал, как любил. Выпивал со мной, я ему песни пел. Прямо мне говорил — ты мне заместо брата, хоть и простой шахтер. И беседовали, и обедали вместе.

— Грузин какой-нибудь? — спросил Николаев.

— Зачем мне твой грузин, сам господин Воскресенский, хозяин всех рудников. Ты разве понимаешь, как он меня уважал. А у него миллион капитал был, вот какой был человек. Понял?

Николаев переглянулся с Крымовым, и они оба юмористически подмигнули, покачали головами.

— Ну и ну, — сказал Николаев, — вот это действительно. Век живи, век учись.

— Вот и учись, — сказал старик, не замечая насмешки.

Странный это был вечер. Поздно ночью, когда люди стали уходить, Спиридонов сказал Крымову:

— Николай, и не беритесь за шинель, не пущу, будете у меня ночевать.

Он стелил Крымову постель не торопясь, обдумывая, что куда постелить: одеяло, ватник, плащ-палатку. Крымов вышел из блиндажа, постоял в темноте, глядя на колышащийся огонь, вновь спустился вниз, а Спиридонов все стелил ему.

Когда Крымов снял сапоги, улегся, Спиридонов спросил:

— Ну, как, удобно?

Он погладил Крымова по голове, улыбнулся доброй, пьяной улыбкой.

Огонь, горевший наверху, почему-то напомнил Крымову костры, горевшие январской ночью 1924 года в Охотном ряду, когда хоронили Ленина.

Все, оставшиеся ночевать в подземелье, казалось, уже уснули, мрак был непроницаем.

Крымов лежал с открытыми глазами, не замечая темноты, думал, думал, вспоминал...

Сильный мороз стоял все это время. Темное зимнее небо над куполами Страстного монастыря, сотни людей в ушанках, буденовках, в шинелях и кожанках. Страстная площадь вдруг забелела от тысячи листовок — правительственное сообщение.

Тело Ленина везли из Горок до железнодорожной станции на крестьянских санях. Полозья скрипели, пофыркивали лошади. За гробом шла Крупская в круглой меховой шапочке, обвязанной серым платком, сестры Ленина — Анна и Мария, друзья, крестьяне из деревни Горки. Так провожают на вечный покой добрых интеллигентных тружеников, земских врачей, агрономов.

В Горках стало тихо. Блестел кафель голландских печей, возле застеленной белым летним одеялом кровати стоял шкафчик, уставленный бутылочками с подвязанными сигнатурками, пахло лекарствами. В пустую комнату вошла пожилая женщина в медицинском халате. Она шла по привычке на цыпочках. Женщина, проходя мимо постели, подняла со стула бечевочку с привязанным к ней кусочком газеты, и молодая кошка, спавшая в кресле, услышала привычное шуршание игрушки, быстро подняла голову, поглядела на пустую кровать и, позевывая, опять улеглась.

Шедшие за гробом родные и близкие товарищи вспоминали ушедшего. Сестры помнили белоголового мальчика, у него был трудный характер, иногда он становился насмешлив, требователен до жестокости, но он был хороший, любил мать, сестер, братьев.

Жена вспоминала — в Цюрихе он, сидя на корточках, разговаривает с маленькой внучкой квартирной хозяйки Тилли; хозяйка сказала со смешившим Володю швейцарским акцентом:

— Вам надо заводить детей.

Он лукаво, быстро поглядел снизу на Надежду Константиновну.

Рабочие с «Динамо» приехали в Горки, Володя пошел к ним навстречу, забылся, хотел заговорить, жалобно замычал и махнул рукой; и рабочие стояли вокруг, плакали, глядя, как он плакал. И этот взгляд перед концом, испуганный, жалобный, словно обращенный ребенком к матери.

Вдали показались станционные строения, среди снега чернел паровоз с высокой трубой.

Политические друзья великого Ленина, шагавшие за санями с заиндевевшими от мороза бородами — Рыков, Каменев, Бухарин, — рассеянно поглядывали на рябого смуглолицего человека в длинной шинели, в сапогах с мягкими голенищами. Они обычно со снисходительной насмешкой оглядывали его униформу кавказского человека. Будь Сталин тактичней, не следовало бы ему приезжать в Горки, где собрались родные и самые близкие друзья великого Ленина. Они не понимали, что он-то, единственный, станет наследником Ленина, оттолкнет их всех, даже самых близких, даже отгонит жену от ленинского наследства.

Не у них — Бухарина, Рыкова, Зиновьева — была ленинская правда. И не у Троцкого была она. Они ошиблись. Никто из них не стал продолжателем дела Ленина. Но и Ленин до последних своих дней не знал и не понимал, что дело Ленина станет делом Сталина.

Почти два десятилетия прошло с того дня, когда на скрипящих деревенских санях везли тело человека, определившего судьбы России, Европы, Азии, человечества.

Мысль Крымова упорно тянулась к тому времени, ему вспоминались морозные дни января 1924 года, треск ночных костров, морозные стены Кремля, стотысячные плачущие толпы, рвущий сердце вой заводских гудков, зычный голос Евдокимова, читавшего с деревянного помоста обращение к трудящемуся человечеству, тесная кучка людей, несущих гроб в деревянный, наскоро сколоченный Мавзолей.

Крымов поднимался по застланным коврами ступеням Дома союзов, мимо закрытых черными и красными лентами зеркал, и пахнущий хвоей теплый воздух был полон горестной музыкой. Войдя в зал, он увидел склоненные головы тех, кого привык видеть на трибуне в Смольном, на Старой площади. Потом здесь же, в Доме союзов, он вновь увидел эти склоненные головы в 1937 году. И, вероятно, обвиняемые, слушая нечеловеческий, звенящий голос Вышинского, вспоминали про то, как они шли за санями, стояли у гроба Ленина, и в ушах их звучала траурная мелодия.

Почему он вдруг стал думать на Стальгрэсе в праздничную годовщину об этих январских днях? Десятки людей, создававших вместе с Лениным большевистскую партию, оказались провокаторами, платными агентами иностранных разведок, а один лишь человек, никогда не занимавший центрального положения в партии, не знаменитый как теоретик, оказался спасителем дела партии, носителем истины. Почему они сознаются?

Обо всем этом лучше было не думать. Но эту ночь Крымов думал именно об этом. Почему они сознаются? А почему я молчу? Вот молчу, думал Крымов, не нахожу силы сказать: «Я сомневаюсь в том, что Бухарин диверсант, убийца, провокатор». А при голосовании я поднял руку. А после этого поставил свою подпись. А после этого сказал речь, написал статью. Моя горячность мне самому кажется искренней. А где же в это время мои сомнение, смятение? Что же это? Человек с двумя сознаниями? Или это два разных человека, и у каждого свое, несхожее со вторым, сознание? Как понять? Но это всегда и всюду, не только у меня, у самых разных людей.

Греков высказывал то, что подспудно чувствовалось во многих людях, то, что, находясь под спудом, тревожило, интересовало, иногда влекло Крымова. Но, едва это подспудное было высказано, Крымов ощутил злобу и вражду, желание согнуть, сломить Грекова. Если б понадобилось, он, не колеблясь, расстрелял бы Грекова.

А вот Пряхин говорил казенными, холодными, чиновными словами, говорил именем государства о процентах выполнения плана, о поставках, об обязательствах. Подобные чиновные, бездушные речи, чиновные, бездушные люди, произносившие эти речи, были всегда чужды, неприятны Крымову, но с этими людьми он шел нога в ногу, они теперь были его старшими товарищами. Дело Ленина дало Сталина, воплотилось в этих людях, в государстве. Крымов готов был, не колеблясь, отдать жизнь за его славу и силу.

Вот и старый большевик Мостовской. Он ни разу не выступал, защищая людей, в чьей революционной чести был уверен. Он молчал. Почему же он молчал?

А вот слушатель высших курсов журналистики, где когда-то преподавал Крымов, милый, честный парень Колосков. Он, приехав из деревни, рассказывал Крымову про коллективизацию, про районных мерзавцев, которые включают в кулацкие списки людей, чьи дома или сады им приглянулись, своих личных врагов. Он рассказывал о голоде в деревне, как с непоколебимой жестокостью забрали весь хлеб до последнего зерна... Он начал говорить о чудном деревенском старике, погибшем, чтобы спасти жизнь своей старухе и внучке, и заплакал. А вскоре Крымов в стенной газете прочел очерк Колоскова о кулачье, которое зарывает в землю зерно, дышит звериной ненавистью к росткам нового.

Почему он писал так, этот плакавший от душевной боли Колосков? Почему молчал Мостовской? Неужели из одной лишь трусости? Сколько раз Крымов говорил одно, а в душе было другое. Но вот когда он говорил и писал, ему казалось, что именно так он и думает, и он верил, что говорил то, что думает. А иногда он говорил себе: «Ничего не поделаешь, революции так нужно».

Было, было, всякое было. Плохо защищал Крымов своих друзей, в чьей невиновности был уверен. Иногда он молчал, иногда он мычал, иногда бывало хуже: он не молчал и не мычал. Иногда его вызывали в партком, в райком, в горком, в обком, иногда его вызывали в органы безопасности, спрашивали его мнение о знакомых ему людях, членах партии. Он никогда не клеветал на друзей, никогда не оговаривал, он не писал доносов, заявлений...

Ну, а Греков? Греков — враг. С врагами Крымов никогда не церемонился, не знал к ним жалости.

Но почему он прекращал отношения с семьями репрессированных товарищей? Он переставал приходить к ним, звонить им; но все же, встречаясь на улице с родными своих репрессированных друзей, он никогда не переходил на другой тротуар, а здоровался.

А вот имеются какие-то люди — обычно это старухи, домашние хозяйки, беспартийные мещанки, — через них посылают в лагеря посылки, на их адрес получают из лагерей письма, и они почему-то не боятся. Иногда эти старухи — домашние работницы, безграмотные няньки, полные религиозных предрассудков, они берут к себе сирот, оставшихся от арестованных отцов и матерей, спасают детей от жизни в приемниках и детдомах. А члены партии боятся этих сирот как огня. Неужели эти старые мещанки, тетки, безграмотные няньки честней, мужественней большевиков-ленинцев, Мостовского, Крымова?

Люди умеют преодолевать страх; и дети идут в темноту, и солдаты идут в бой, и парень делает шаг и прыгает с парашютом в бездну.

А этот страх особый, тяжелый, непреодолимый для миллионов людей, это тот, написанный зловещими, переливающимися красными буквами в зимнем свинцовом небе Москвы, — Госстрах...

Нет, нет! Сам по себе страх не в силах сделать такую огромную работу. Революционная цель освобождала во имя морали от морали, она оправдывала именем будущего сегодняшних фарисеев, доносчиков, лицемеров, она объясняла, почему человеку во имя счастья народа должно толкать в яму невинных. Эта сила именем революции позволяла отворачиваться от детей, чьи родители попали в лагеря. Она объясняла, почему революция хочет, чтобы жену, не доносившую на своего ни в чем не виноватого мужа, следовало оторвать от детей и поместить на десять лет в концентрационный лагерь.

Сила революции вступила в союз со страхом смерти, с ужасом перед пытками, с тоской, охватывающей тех, кто чувствовал на себе дыхание дальних лагерей.

Когда-то люди, идя в революцию, знали, что их ждет тюрьма, каторга, годы бесприютства и бездомности, плаха.

И самым тревожным, смутным, нехорошим было теперь то, что ныне революция за верность себе, за верность великой цели платила сытными пайками, кремлевским обедом, наркомовскими пакетами, персональными машинами, путевками в Барвиху, международными вагонами.

— Вы не спите, Николай Григорьевич? — спросил из темноты Спиридонов.

Крымов ответил:

— Да почти сплю, засыпаю.

— Ну, простите, не буду мешать.

40

Прошло больше недели после ночного вызова Мостовского к оберштурмбанфюреру Лиссу.

Лихорадочное ожидание, напряжение сменилось тяжелой тоской.

Мостовскому минутами стало казаться, что он навсегда забыт друзьями и врагами, что те и другие считают его бессильным, выжившим из ума стариком «пукальщиком», бесполезным доходягой.

Ясным, безветренным утром его повели в баню. На этот раз эсэсовский конвоир, не войдя в помещение, уселся на ступеньках, положив рядом с собой автомат, закурил. День был ясный, пригревало солнце, и солдату, видимо, не хотелось заходить в сырое помещение бани.

Военнопленный, обслуживающий баню, подошел к Михаилу Сидоровичу.

— Здравствуйте, дорогой товарищ Мостовской.

Мостовской вскрикнул от неожиданности: перед ним в форменной куртке с ревирской повязкой на рукаве, помахивая тряпкой, стоял бригадный комиссар Осипов.

Они обнялись, и Осипов торопливо сказал:

— Мне удалось получить работу в бане, пошел в подсмену постоянному уборщику, я хотел с вами повидаться. Привет вам от Котикова, генерала, Златокрыльца. Скажите прежде всего, что с вами происходит, как себя чувствуете, чего от вас хотят? Вы раздевайтесь и рассказывайте.

Мостовской рассказал о ночном допросе.

Осипов, глядя на него выпуклыми темными глазами, сказал:

— Хотят обработать вас, болваны.

— Но для чего? Цель? Цель?

— Возможно, есть интерес к каким-нибудь сведениям исторического рода, к характеристике основателей и вождей партии. Может быть, связано с требованием деклараций, обращений, писем.

— Безнадежная затея, — сказал Мостовской.

— Будут мучить, товарищ Мостовской.

— Безнадежная, дурацкая затея, — повторил Мостовской и спросил: — Расскажите, что у вас.

Осипов сказал шепотом:

— Лучше, чем ожидали. Основное: удалось связаться с работающими на заводе, к нам начало поступать оружие — автоматы и гранаты. Люди приносят детали, сборку ведем в блоках ночью. Конечно, пока в ничтожных количествах.

— Это Ершов устроил, молодчина! — сказал Мостовской. И, сняв рубаху, осмотрев свою грудь, он снова рассердился на свою старость, сокрушенно покачал головой.

Осипов сказал:

— Должен вас информировать как старшего партийного товарища: Ершова уже нет в нашем лагере.

— Что, как это нет?

— Его взяли на транспорт, в лагерь Бухенвальд.

— Да что вы! — вскрикнул Мостовской. — Чудный ведь парень!

— Он и в Бухенвальде останется чудным парнем.

— А как же это, почему случилось?

Осипов хмуро сказал:

— Сразу обнаружилось раздвоение в руководстве. К Ершову существовала стихийная тяга со стороны многих, это кружило ему голову. Он ни за что не подчинился бы центру. Человек он неясный, чужой. С каждым шагом положение запутывалось. Ведь первая заповедь подполья — стальная дисциплина. А у нас получались два центра — беспартийный и партийный. Мы обсудили положение и приняли решение. Чешский товарищ, работающий в канцелярии, подложил карточку Ершова в группу отобранных дел для Бухенвальда, его автоматически внесли в список.

— Чего проще, — сказал Мостовской.

— Таково было единогласное решение коммунистов, — проговорил Осипов.

Он стоял перед Мостовским в своей жалкой одежде, держа в руке тряпку, суровый, непоколебимый, уверенный в своей железной правоте, в своем страшном, большем, чем божьем, праве ставить дело, которому он служит, высшим судьей над судьбами людей.

А голый, худой старик, один из основателей великой партии, сидел, подняв худые, иссушенные плечи, низко нагнув голову, и молчал.

Снова встал перед ним ночной кабинет Лисса.

И снова страх охватил его: неужели Лисс не лгал, неужели без тайной жандармской цели человеку хотелось поговорить с человеком?

Он распрямился и так же, как всегда, как десять лет назад, в пору коллективизации, так же, как в пору политических процессов, приведших на плаху его товарищей молодости, проговорил:

— Я подчиняюсь этому решению, принимаю его как член партии. — И вытащил из подкладки своей куртки, лежавшей на скамье, несколько клочков бумаги — составленные им листовки.

Внезапно перед ним возникло лицо Иконникова, его коровьи глаза, и Михаилу Сидоровичу захотелось вновь услышать голос проповедника бессмысленной доброты.

— Я хотел спросить про Иконникова, — сказал Михаил Сидорович. — Его карточку чех не перекладывал?

— Старый юродивый, кисель, как вы его называли? Он казнен. От-

казался выйти на работу по строительству лагеря уничтожения. Кейзе было приказано застрелить его.

В эту же ночь на стенах лагерных блоков были расклеены составленные Мостовским листовки о Сталинградском сражении.

41

Вскоре после окончания войны в архиве мюнхенского гестапо были найдены следственные материалы по делу подпольной организации в одном из концентрационных лагерей в Западной Германии. В закрывающей дело бумаге сообщалось, что приговор над участниками организации приведен в исполнение, тела казненных сожжены в крематории. Первым в списке стояло имя Мостовского.

Изучение материалов следствия не дало возможности установить имя провокатора, выдавшего своих товарищей. Вероятно, что гестапо казнило его вместе с теми, кого он выдал.

42

В общежитии зондеркоманды, обслуживавшей газовую камеру, склады отравляющих веществ и кремационные печи, было тепло и покойно.

Для заключенных, постоянно работавших на объекте № 1, были также созданы хорошие условия. У каждой кровати стоял столик, имелись графины с кипяченой водой, в проходе между нарами лежала ковровая дорожка.

Рабочие, обслуживавшие газовую камеру, были расконвоированы, обедали в особом помещении. Немцев из зондеркоманды кормили по ресторанной системе, каждый мог составить себе меню. Немцы в зондеркоманде получали внекатегорные оклады, почти втрое больше, чем соответствующие по званию военнослужащие в действующих частях. Их семьи пользовались жилищными льготами, продовольственным снабжением по высшим нормам, правом первоочередной эвакуации из угрожаемых с воздуха районов.

Солдат Розе дежурил у смотрового окошечка, и, когда процесс заканчивался, Розе давал команду к разгрузке камеры. Кроме того, ему полагалось наблюдать за тем, чтобы дантисты работали добросовестно и аккуратно. Он несколько раз докладывал начальнику объекта, штурмбанфюреру Кальтлуфту, о трудности одновременно выполнять оба задания: случалось, что, пока Розе следит наверху за газированием, внизу, где работали дантисты и шла погрузка на транспортер, рабочие оставались без присмотра, начинались мухлевка и воровство.

Розе привык к своей работе, он уже не волновался, как в первые дни, глядя в смотровое стекло. Его предшественника однажды застукали за занятием, которое подходило двенадцатилетнему мальчику, а не солдату СС, выполняющему особое задание. Розе вначале не понял, почему товарищи намекали на какие-то неприличия, лишь потом он узнал, в чем дело.

Розе новая работа не нравилась, хотя он и привык к ней. Розе волновал тот непривычный почет, которым его окружали. Официантки в столовой спрашивали, почему он бледен. Всегда, сколько Розе помнит себя, мать плакала. Отца почему-то всегда увольняли, казалось, его принимали на работу реже, чем увольняли. Розе перенял от старших вкрадчивую, мягкую походку, которая никого не должна тревожить, перенял тревожную, приветливую улыбку, обращенную к соседям, владельцу дома, к кошке владельца дома, к директору школы и шуцману, стоящему на углу. Казалось, мягкость и приветливость были основными чертами его характера, и он сам удивлялся, сколько в нем жило ненависти, как мог он годами не проявлять ее.

Он попал в зондеркоманду; знаток человеческих душ — начальник — понял его мягкий, женственный характер.

Ничего привлекательного не было в том, чтобы наблюдать, как корчатся в камере евреи. Розе испытывал неприязнь к солдатам, которым работа на объекте нравилась. Чрезвычайно неприятен был военнопленный Жученко, дежуривший в утреннюю смену у входа в камеру. На его лице была все время какая-то детская и потому особо неприятная улыбка. Розе не любил своей работы, но он знал все явные и тайные выгоды ее.

Ежедневно к концу рабочего дня солидный человек, зубной врач, передавал Розе бумажный пакетик с несколькими золотыми коронками. Маленькие пакетики составляли ничтожную долю драгметалла, поступавшего в управление лагеря, но Розе уже дважды передавал жене около килограмма золота. Это было их светлое будущее — осуществление мечты о спокойной старости. Ведь в молодости он был слаб и робок, не мог по-настоящему бороться за жизнь. Он никогда не сомневался в том, что партия имеет одну лишь цель — благо слабых и малых людей. Он уже чувствовал на самом себе благотворные последствия политики Гитлера, ведь и он был слабый, маленький человек, а жить ему и его семье стало несравненно легче, лучше.

43

В душе Антон Хмельков иногда ужасался своей работе и вечерами, лежа на нарах и прислушиваясь к смеху Трофима Жученко, чувствовал тяжелую, холодную оторопь.

Руки Жученко с длинными и толстыми пальцами, которые закрывали герметический затвор камеры, всегда казались немытыми, и неприятно было брать хлеб из хлебницы, к которой тянулся Жученко.

Жученко переживал счастливое волнение, выходя на утреннюю смену и поджидая колонну людей со стороны железной дороги. Движение колонны казалось ему нестерпимо медленным, и он издавал горлом тонкий, жалобный звук, и челюсти его слегка подергивались, как у кошки, что через оконное стекло следит за воробьями.

Для Хмелькова этот человек стал причиной беспокойства. Конечно, Хмельков тоже мог выпить и пьяным побаловаться с женщиной, ожидавшей очереди. Имелась лазейка, через которую работники зондеркоманды проходили в предбанник выбирать бабу. Мужчина есть мужчина. Хмельков выбирал женщину либо девочку, заводил ее в пустой отсек барака и через полчасика приводил обратно в вагон и сдавал охраннику. Он молчал, и женщина молчала. Он оказался здесь не ради баб и вина, не ради габардинового галифе, не ради командирских хромовых сапог.

В июльский день 1941 года он попал в плен. Его били прикладом по шее и по голове, он болел кровавой дизентерией, его гнали в порванных сапогах по снегу, его поили желтой водой с пятнами мазута, он отрывал пальцами куски вонючего черного мяса от лошадиного трупа, он жрал гнилую брюкву и картофельные очистки. Он выбирал лишь одно — жизнь, большего он не хотел, он отбивался от десяти смертей — от голодной и морозной, он не хотел смерти от кровавого поноса, он не хотел упасть с девятью граммами металла в башке, он не хотел опухнуть и дать своему сердцу захлебнуться в воде, поднявшейся от ног. Он не был преступником, он был парикмахером в городе Керчи, и никто никогда не думал о нем дурно — ни родные, ни соседи по двору, ни мастера на работе, ни приятели, с которыми он пил вино, ел копченую кефаль и играл в домино. И он думал, что ничего общего не было у него с Жученко. Но иногда ему казалось, что разница между ним и Жученко в какой-то незначащей ерунде; а уже там важно ли — богу и людям, — с каким чувством выходят они на работу, один весело, другой не весело — работа одна.

Но он не понимал, что Жученко тревожил его не тем, что был виноват больше него. Тем и страшен был ему Жученко, что страшное, прирожденное уродство оправдывало его. А он, Хмельков, не был уродом, он был человеком.

Он смутно знал, что в пору фашизма человеку, желающему остаться человеком, случается выбор более легкий, чем спасенная жизнь, — смерть.

44

Начальник объекта, командир зондеркоманды штурмбанфюрер Кальтлуфт, добился того, что центральная диспетчерская давала каждый вечер график прибытия эшелонов на день вперед. Кальтлуфт заранее инструктировал своих работников о предстоящей им работе — об общем числе ва-

гонов, количестве прибывших людей; в зависимости от того, из какой страны прибывал эшелон, вызывались соответствующие подсобные команды заключенных — парикмахеров, провожатых, грузчиков.

Кальтлуфт не любил разгильдяйства; он не пил и сердился, если его подчиненные бывали в нетрезвом виде. Лишь однажды его видели веселым и оживленным; уезжая на пасхальные дни к семье и уже сидя в автомобиле, он подозвал к себе штурмфюрера Гана и стал ему показывать фотографии дочери, большелицей и большеглазой, похожей на отца девочки.

Кальтлуфт любил работать, жалел тратить зря время, он не заходил после ужина в клубные помещения, не играл в карты и не смотрел кинофильмов. На рождество для зондеркоманды была устроена елка и выступал самодеятельный хор, а к ужину бесплатно выдавали бутылку французского коньяка на двоих. Кальтлуфт зашел в клуб на полчаса, и все увидели на его пальцах свежий след чернил — он работал в рождественский вечер.

Когда-то он жил в деревенском доме родителей, и казалось, что в этом доме пройдет его жизнь — ему нравилось спокойствие деревни, он не боялся работы. Он мечтал расширить отцовское хозяйство, но ему казалось, что, как бы велики ни стали доходы от разведения свиней, от торговли брюквой и пшеницей, он всю жизнь проживет в уютном и тихом отцовском доме. Но жизнь сложилась по-иному. В конце первой мировой войны он попал на фронт, пошел дорогой, которую судьба прокладывала для него. Казалось, судьба определила ему движение из деревенских в солдаты, от окопов к охране штаба, от канцелярии к адъютантству, от работы в центральном аппарате Имперской безопасности к работе в управлении лагерей и, наконец, переход к должности начальника зондеркоманды в лагере уничтожения.

Если б Кальтлуфту пришлось отвечать перед небесным судом, он бы, оправдывая свою душу, правдиво рассказал судье, как судьба толкала его на путь палача, убившего пятьсот девяносто тысяч человек. Что мог сделать он перед волей могучих сил: мировой войны, огромного национального движения, непреклонной партии, государственного принуждения? Кто в состоянии плыть по-своему? Он человек, он жил бы в доме отца. Не он шел, его толкали, не он хотел, его вели, он шел, как мальчик с пальчик, судьба вела его за руку. И так же или примерно так оправдывали бы себя перед богом те, кого посылал на работу Кальтлуфт, и те, кто посылал на работу Кальтлуфта.

Кальтлуфту не пришлось оправдывать свою душу перед небесным судом. И потому богу не пришлось подтвердить Кальтлуфту, что нет в мире виноватых.

Есть суд небесный и суд государства и общества, но есть высший суд — это суд грешного над грешным. Грешный человек измерил мощь тоталитарного государства — она беспредельно велика; пропагандой, голодом, одиночеством, лагерем, угрозой смерти, безвестностью и бесславием сковывает эта страшная сила волю человека. Но в каждом шаге человека, совершаемом под угрозой нищеты, голода, лагеря и смерти, всегда наряду с обусловленным проявляется и нескованная воля человека. В жизненной дороге начальника зондеркоманды — от деревни к окопам, от беспартийной обывательщины к сознательности члена национал-социалистической партии, всегда и всюду отпечатывалась его воля. Судьба ведет человека, но человек идет потому, что хочет, и он волен не хотеть. Судьба ведет человека, человек становится орудием истребительных сил, но сам он при этом выигрывает, а не проигрывает. Он знает об этом, и он идет к выигрышу; у страшной судьбы и у человека разные цели, но у них один путь.

Не безгрешный и милостивый небесный судья, не мудрый верховный государственный суд, руководствующийся благом государства и общества, не святой, не праведник, а жалкий, раздавленный фашизмом грязный и грешный человек, сам испытавший ужасную власть тоталитарного государства, сам падавший, склонявшийся, робевший, подчинявшийся, произнесет приговор.

Он скажет:

— Есть в страшном мире виноватые! Виновен!

45

Вот и пришел последний день дороги. Вагоны заскрипели, заскрежетали тормоза, и стало тихо, потом загрохотали запоры, послышалась команда:

— Alle heraus! [1]

На мокрую после недавнего дождя платформу стали выходить люди.

Какими странными казались после тьмы вагона знакомые лица!

Пальто, платки изменились меньше, чем люди; кофты, платья напоминали о домах, где их надевали, о зеркалах, у которых их примеряли.

Выходившие из вагонов сбивались в кучи, в стадной скученности было что-то привычное, успокаивающее; в знакомом запахе, в знакомом тепле, в знакомых измученных лицах и глазах, в плотной огромности толпы, вышедшей из сорока двух товарных вагонов.

Звеня по асфальту коваными каблуками, медленно шли два патрульных солдата-эсэсовца в длинных шинелях. Они шагали, надменные и задумчивые, не взглянули на молодых евреев, вынесших на руках мертвую старуху с белыми волосами, рассыпавшимися по белому лицу, на курчавого человечка-пуделя, ставшего на четвереньки и пьющего из лужи воду, на горбунью, поднявшую юбку, чтобы приладить вырванную из штанов тесемку.

Время от времени эсэсовцы переглядывались, произносили два-три слова. Они шли по асфальту так же, как солнце идет по небу. Солнце ведь не следит за ветром, облаками, морской бурей и шумом листвы, но в своем плавном движении оно знает, что все на земле совершается благодаря ему.

Люди в синих комбинезонах, в кепи с большими козырьками, с белыми повязками на рукавах, кричали, поторапливали прибывших на странном языке — смеси русских, немецких, еврейских, польских и украинских слов.

Быстро, умело организуют ребята в синих комбинезонах толпу на платформе, отсеивают падающих с ног, более сильных заставляют грузить полуживых на автофургоны, лепят из хаоса противоречивых движений колонну, внушают ей идею движения, придают этому движению направление и смысл.

Колонна строится по шесть человек в ряд, и по рядам бежит известие: «В баню, сперва в баню!»

Казалось, милостивый бог не придумал бы ничего добрей.

— Ну, евреи, сейчас пойдем, — кричит человек в кепи, старший над командой, проводившей разгрузку эшелона, и оглядывает толпу.

Мужчины и женщины подхватывают сумки, дети вцепляются в материнские юбки и борта отцовских пиджаков.

«В баню... в баню...» — эти слова чаруют, гипнотически заполняют сознание.

В рослом человеке в кепи есть что-то свойское, привлекающее, он кажется близким несчастному миру, а не тем, в серых шинелях и касках. Старуха с молитвенной осторожностью гладит кончиками пальцев рукав его комбинезона, спрашивает:

— Ир зынд а ид, а лытвек, майн кынд?

— Да, да, маменька, их бын а ид, прентко, прентко, панове! — И вдруг зычно, сипло, соединяя в одной команде слова, принятые в двух борющихся между собой армиях, он кричит: — Die Kolonne marsch! Шагом марш!

Платформа опустела, люди в комбинезонах сметают с асфальта куски тряпья, обрывки бинтов, брошенную кем-то изорванную калошу, уроненный детский кубик, с грохотом закрывают двери товарных вагонов. Железная волна скрежещет по вагонам. Пустой эшелон трогается, идет на дезинфекцию.

Команда, кончив работу, возвращается через служебные ворота в лагерь. Эшелоны с востока — самые скверные, в них больше всего мертвецов, больных, в вагонах наберешься вшей, надышишься зловонием. В этих эшелонах не найдешь, как в венгерских, либо голландских,

[1] Все наружу! *(нем.)*

либо бельгийских, флакон духов, пакетик какао, банку сгущенного молока.

46

Великий город открылся перед путниками. Его западные окраины тонули в тумане. Темный дым далеких фабричных труб смешивался с туманом, и шахматная сеть бараков покрылась дымкой, и удивительным казалось соединение тумана с геометрической прямизной барачных улиц.

На северо-востоке поднималось высокое черно-красное зарево, казалось, что, раскалившись, рдеет сырое осеннее небо. Иногда из сырого зарева вырывался медленный огонь, грязный, пресмыкающийся.

Путники вышли на просторную площадь. Посреди площади на деревянном помосте, какие обычно устраиваются в местах народных гуляний, стояло несколько десятков людей. Это был оркестр; люди резко отличались друг от друга, так же, как их инструменты. Некоторые оглядывались на приближающуюся колонну. Но вот седой человек в светлом плаще сказал что-то, и люди на помосте взялись за свои инструменты. Вдруг показалось, робко и дерзко вскрикнула птица, и воздух, разодранный колючей проволокой и воем сирен, смердящий нечистотами, жирной гарью, весь наполнился музыкой. Словно теплая громада летнего цыганского дождя, зажженного солнцем, рухнула, сверкая, на землю.

Люди в лагерях, люди в тюрьмах, люди, вырвавшиеся из тюрем, люди, идущие на смерть, знают потрясающую силу музыки.

Никто так не чувствует музыку, как те, кто изведал лагерь и тюрьму, кто идет на смерть.

Музыка, коснувшись гибнущего, вдруг возрождает в душе его не мысли, не надежды, а лишь одно слепое, пронзительное чудо жизни. Рыдание прошло по колонне. Все, казалось, преобразилось, все соединилось в единстве, все рассыпанное, дом, мир, детство, дорога, стук колес, жажда, страх и этот вставший в тумане город, эта тусклая красная заря, все вдруг соединилось не в памяти, не в картине, а в слепом, горячем, томящем чувстве прожитой жизни. Здесь, в зареве печей, на лагерном плацу, люди чувствовали, что жизнь больше, чем счастье,— она ведь и горе. Свобода не только благо. Свобода трудна, иногда и горестна — она жизнь.

Музыка сумела выразить последнее потрясение души, объединившей в своей слепой глубине все перечувствованное в жизни, радость и горе ее, с этим туманным утром, с заревом над головой. Но, может быть, и не так. Может быть, музыка была лишь ключом к чувствам человека, она распахнула нутро его в этот страшный миг, но не она наполнила человека.

Ведь бывает, что детская песенка заставляет плакать старика. Но не над песенкой плачет старик, она лишь ключ к тому, что находила душа.

Пока колонна медленно вычерчивала полукруг по площади, из лагерных ворот выехал кремово-белый автомобиль. Из него вышел офицер-эсэсовец в очках, в шинели с меховым воротником, сделал нетерпеливый жест, и дирижер, следивший за ним, сразу каким-то отчаянным движением опустил руки — музыка оборвалась.

Раздалось многократно повторенное «halt».

Офицер проходил мимо рядов. Он указывал пальцем, и колонновожатый вызывал людей из рядов. Офицер оглядывал вызванных безразличным взглядом, и колонновожатый негромко, чтобы не помешать его задумчивости, спрашивал:

— Сколько лет? Профессия?

Отобранных оказалось человек тридцать.

Вдоль рядов послышалось:

— Врачи, хирурги!

Никто не отозвался.

— Врачи, хирурги, выходи!

Снова тишина.

Офицер пошел к машине, потеряв интерес к тысяче людей, стоявших на площади.

Отобранных стали строить по пять в ряд, повернули лицом к транспаранту на лагерных воротах: «Arbeit macht frei!» [1]

Из рядов закричал ребенок, дико и пронзительно закричали женщины. Отобранные люди стояли молча, опустив головы.

Но как передать чувство человека, разжимающего руку жены, и этот последний быстрый взгляд на милое лицо? Как жить, безжалостно вспоминая, что в миг молчаливого расставания глаза твои в какую-то долю секунды заморгали, чтобы прикрыть грубое радостное чувство сохраненного существования?

Как утопить память о том, что жена сунула мужу в руку узелок, где было обручальное кольцо, несколько кусков сахара, сухарь? Неужели можно существовать, видя, как с новой силой вспыхнуло зарево в небе — то горят руки, которые он целовал, глаза, радовавшиеся ему, волосы, чей запах он узнавал в темноте, то его дети, жена, мать? Разве можно в бараке просить себе место ближе к печке, подставлять миску под черпак, наливавший литр серой жижи, прилаживать оборвавшуюся подметку ботинка? Разве можно бить ломом, дышать, пить воду? А в ушах крик детей, вопль матери.

Продолжающих существовать погнали в сторону лагерных ворот. До них доносятся крики, они сами кричат, рвут на груди рубахи, а навстречу идет их новая жизнь: полные электричества проволочные струны, бетонированные вышки с пулеметами, бараки, девушки и женщины с бледными лицами глядят на них из-за проволоки, идут люди в рабочих колоннах с красными, желтыми, синими лоскутами, пришитыми к груди.

Снова заиграл оркестр. Отобранные для лагерной работы люди входят в построенный на болоте город. Темная вода в угрюмой немоте пробивает себе дорогу в осклизлых плитах бетона, среди тяжелых каменных глыб. Эта вода черно-рыжая, пахнет гнилью; она в клочьях зеленой химической пены, с кусками загаженных тряпок, с кровавыми шматками, вышвырнутыми из лагерных операционных. Вода уйдет под лагерную землю, снова выйдет на поверхность, снова уйдет под землю. Но она пройдет свой путь, в ней ведь живут и морская волна и утренняя роса, в этой угрюмой лагерной воде.

А обреченные пошли на смерть.

47

Софья Осиповна шла ровным тяжелым шагом, мальчик держался за ее руку. Другой рукой мальчик ощупывал в кармане спичечную коробку, где в грязной ватке лежала темно-коричневая куколка, недавно в вагоне вышедшая из кокона. Рядом шагал, бормоча, слесарь Лазарь Янкелевич, его жена Дебора Самуиловна несла на руках ребенка. За спиной Ревекка Бухман бормотала: «Ой, боже, ой, боже, ой, боже». Пятой в ряду шла библиотекарша Муся Борисовна. Волосы ее были причесаны, воротничок казался белым. Она в дороге несколько раз отдавала пайку хлеба за полкотелка теплой воды. Эта Муся Борисовна никому ничего не жалела, в вагоне ее считали святой, старухи, знавшие толк в людях, целовали ей платье. Впереди ряд состоял из четырех человек — при отборе офицер вызвал из этого ряда сразу двоих — отца и сына Слепых, на вопрос о профессии они выкрикнули: «Zahnarzt!» [2]. И офицер кивнул: Слепые угадали, выиграли жизнь. Трое оставшихся в ряду шли, болтая руками, их руки оказались не нужны; четвертый шел, приподняв воротник пиджака, заложив руки в карманы, независимой походкой, закинув голову. Впереди, может быть, на четыре-пять рядов выделялся огромный старик в зимней красноармейской шапке.

В затылок Софье Осиповне шла Муся Винокур, которой в теплушке исполнилось четырнадцать лет.

Смерть! Она стала своей, компанейской, запросто заходила к людям, во дворы, в мастерские, встречала хозяйку на базаре и уводила ее с кошелочкой картошки, вмешивалась в игру ребятишек, заглядывала в мастерскую, где дамские портные, напевая, спешили дошить манто для же-

[1] Работа делает свободным *(нем.)*.
[2] Зубной врач! *(нем.)*.

ны гебитскомиссара, стояла в очереди за хлебом, подсаживалась к старухе, штопавшей чулок.

Смерть делала свое будничное дело, а люди свое. Иногда она давала докурить, дожевать, иногда настигала человека по-приятельски, грубо, с глупым гоготом, хлопнув ладонью по спине.

Казалось, люди, наконец, стали понимать ее, она открыла им свою будничность, детскую простоту. Уж очень легок был этот переход, словно через мелкую речушку, где переброшены деревянные кладки с берега, где дымят избы, на пустынную луговую сторону, — пять-шесть шагов. И все! Чего же, казалось, бояться? Вот по мостушке, стуча копытцами, прошел теленок, вот, ударяя голыми пятками, пробежали мальчишки.

Софья Осиповна услышала музыку. Эту музыку она впервые слышала ребенком, слушала студенткой, молодым врачом; эта музыка всегда волновала живым предчувствием будущего.

Музыка обманула ее. У Софьи Осиповны не было будущего, была лишь прожитая жизнь.

И чувство своей особой, отдельной, прожитой жизни на миг заслонило перед ней настоящее — край жизненного обрыва.

Самое странное из всех чувств! Оно непередаваемо, им нельзя поделиться с самым близким человеком, женой, матерью, братом, сыном, другом, отцом, оно тайна души, и душа, даже если она страстно этого хочет, не может выдать своей тайны. Человек унесет чувство своей жизни, не разделит его ни с кем. Чудо отдельного, особого человека, того, в чьем сознании, в чьем подсознании собрано все хорошее и все плохое, смешное, милое, стыдное, жалкое, застенчивое, ласковое, робкое, удивленное, что было от детства до старости, — слитое, соединенное в немом и тайном одиноком чувстве одной своей жизни.

Когда заиграла музыка, Давиду захотелось вынуть из кармана коробочку, на мгновение приоткрыть ее, чтобы куколка не простудилась, и показать ей музыкантов. Но, пройдя несколько шагов, он перестал замечать людей на помосте, лишь зарево в небе и музыка остались. Печальная, могучая мелодия, как чашечку, наполнила его душу до самых краев тоской по матери. Мать, не сильная и спокойная, а стыдящаяся того, что ее бросил муж. Она пошила Давиду рубашку, и соседи в коридоре смеялись, что Давидка носит рубашку из ситца с цветочками, с криво пришитыми рукавами. Единственной защитой, надеждой его была мать. Он все время непоколебимо и бессмысленно надеялся на нее. Но, может быть, музыка сделала так: он перестал надеяться на маму. Он любил ее, но она была беспомощной и слабой, как те, что шли сейчас рядом с ним. А музыка, сонная, тихая, казалась ему маленькими волнами, он видел их в бреду, когда у него поднималась температура и он сползал с горячей подушки на теплый и влажный песок.

Оркестр взвыл, заголосила огромная иссохшая глотка.

Темная стена, которая вставала из воды, когда он болел ангиной, теперь нависла над ним, занимала все небо.

Все, все, страшившее его сердечко, соединилось, слилось в одно. И страх перед картинкой, где козленок не замечает волчьей тени между стволами елей, и синеглазые головы убитых телят на базаре, и мертвая бабушка, и задушенная девочка Ревекки Бухман, и первый безотчетный ночной страх, заставлявший его отчаянно кричать и звать мать. Смерть стояла во всю громадную величину неба и смотрела — маленький Давид шел к ней своими маленькими ногами. Вокруг была одна лишь музыка, за которую нельзя было схватиться, об которую нельзя было разбить себе голову.

А куколка — у ней ни крыльев, ни лапок, ни усиков, ни глаз, она лежит в коробочке, глупая, доверчивая, ждет.

Раз еврей — все!

Он икал, задыхался. Если б он мог, он бы сам себя задушил. Музыка смолкла. Его маленькие ноги и десятки других маленьких ног торопились, бежали. У него не было мыслей, он не мог ни кричать, ни плакать. Пальцы, мокрые от пота, сжимали в кармане коробочку, но он не помнил уже и о куколке. Одни лишь маленькие ноги шли, шли, спешили, бежали.

Если б охвативший его ужас длился еще несколько минут, он упал бы с разорвавшимся сердцем.

Когда музыка прекратилась, Софья Осиповна вытерла слезы и сердито произнесла:

— Так, сказал бедняк!

Потом она взглянула на лицо мальчика, оно было так ужасно, что даже здесь выделялось своим особым выражением.

— Что ты? Что с тобой? — вскрикнула Софья Осиповна и резко дернула его за руку. — Что ты, что с тобой, ведь мы идем мыться в баню.

Когда стали выкликать врачей-хирургов, она молчала, противясь ненавистной ей силе.

Рядом шла жена слесаря, и большеголовый жалкий младенец на ее руках всматривался в окружавшее беззлобным и задумчивым взглядом. Эта жена слесаря ночью в вагоне украла для своего ребенка у одной женщины горсточку сахара. Пострадавшая оказалась совсем слабой. За нее вступился старик по фамилии Лапидус, возле которого никто не хотел сидеть, так как он много мочился под себя.

И вот теперь Дебора, жена слесаря, задумавшись, шла, держа ребенка на руках. И ребенок, день и ночь кричавший, молчал. Печальные темные глаза женщины делали незаметным уродство ее грязного лица, ее бледных, мятых губ.

«Матерь божья», — подумала Софья Осиповна.

Когда-то, года за два до войны, она глядела, как восходящее из-за тяньшаньских сосен солнце освещает снеговые белки, а озеро лежит в сумерке, словно бы выточенное из одной сгущенной до каменной плотности синевы; тогда она подумала, что нет в мире человека, который не позавидовал бы ей, и тут же с обжегшей ее пятидесятилетнее сердце силой ощутила, что все бы отдала, если б где-нибудь в нищей, темной комнате с низким потолком ее обняли бы руки ребенка.

Маленький Давид вызвал в ней особую нежность, которую она никогда не испытывала к детям, хотя всегда любила детей. В вагоне она отдавала ему часть своего хлеба, он поворачивал к ней в полутьме лицо, и ей хотелось плакать, прижать его к себе, целовать частыми, быстрыми поцелуями, которыми обычно матери целуют маленьких детей; она шепотом, так, чтобы он не расслышал, повторяла:

— Кушай, сыночек, кушай.

Она мало разговаривала с мальчиком, странный стыд заставлял ее скрывать возникшее в ней материнское чувство. Но она заметила, что мальчик всегда тревожно следит за ней, если она перебиралась в другую сторону вагона, становился спокоен, когда она была вблизи него.

Ей не хотелось признаться себе, почему она не откликнулась, когда вызывали врачей-хирургов, осталась в колонне и почему чувство душевного подъема охватило ее в эти минуты.

Колонна шла вдоль проволочных заграждений, бетонированных башен с турельными пулеметами, вдоль рвов, и людям, забывшим свободу, казалось — проволока и пулеметы не для того, чтобы помешать лагерникам бежать, а для того, чтобы обреченные смерти не сумели укрыться в каторжный лагерь.

Дорога отделилась от лагерной проволоки, повела к невысоким приземистым постройкам с плоскими крышами; издали эти прямоугольники с серыми стенами без окон напоминали Давиду огромные кубики, от которых отклеились картинки.

Мальчик из-за образовавшегося в поворачивавших рядах просвета увидел постройки с распахнутыми дверьми, и, не зная почему, вынул из кармана коробочку с куколкой, не простившись с ней, швырнул ее в сторону. Пусть живет!

— Капитальные люди немцы, — точно стража могла услышать и оценить его льстивость, сказал шедший впереди.

Человек с поднятым воротником как-то странно, по-особому, это видно было и со стороны, повел плечами, оглянулся направо, налево и стал большим, высоким, и вдруг, легко прыгнув, словно расправив крылья, ударил кулаком в лицо эсэсовского стражника, свалил его на землю. Софья Осиповна, злобно крикнув, кинулась следом, но споткнулась, упала. Сразу несколько рук схватили ее, помогли подняться. А шед-

шие сзади напирали, и Давид, оглядываясь, боясь, что его собьют с ног, мельком увидел, как стражники оттаскивают в сторону мужчину.

В миг, когда Софья Осиповна пыталась броситься на стражника, она забыла о мальчике. Теперь она снова держала его за руку. Давид увидел, какими ясными, злыми, прекрасными могут быть глаза человека, на долю секунды почуявшего свободу.

А в это время первые ряды уже вступили на асфальтированную площадку перед входом в баню, по-новому зазвучали шаги людей, идущих в просторно распахнутые двери.

48

В сыром теплом предбаннике, освещенном небольшими прямоугольными окошками, стояла спокойная полутьма.

Деревянные из некрашеных толстых досок скамьи, с написанными масляной краской номерами, терялись в полутьме. Посреди зала, до стены, противоположной входу, проходила невысокая перегородка, по одну сторону ее раздевались мужчины, по другую — женщины с детьми.

Это разделение не вызывало в людях тревоги, так как они продолжали видеть друг друга, перекликались: «Маня, Маня, ты здесь?» «Да, да, я вижу тебя». Кто-то крикнул: «Матильда, приходи с мочалкой, потрешь мне спину!» Чувство успокоения охватило почти всех.

Между рядами ходили серьезные люди в халатах, следили за порядком и говорили разумные слова о том, что носки, чулки, портянки следует вкладывать в ботинки, что нужно обязательно запомнить номер ряда и номер места.

Голоса звучали негромко, приглушенно.

Когда человек раздевается догола, он приближается к самому себе. Господи, еще жестче, гуще стали волосы на груди, и сколько седых. Какие некрасивые ногти на пальцах. Голый человек, глядя на себя, не делает выводов, кроме одного: «Вот я». Он узнает себя, определяет свое «я» — оно всегда одно. Мальчишка, скрестив худые руки на ребристой груди, глядит на свое лягушачье тело — «Вот я», и он же спустя пятьдесят лет, рассматривая узловатые, синие жилы на ногах, жирную, обвисшую грудь, узнает себя: «Вот я».

Но Софью Осиповну поразило странное чувство. В обнажении молодых и старых тел: и носатенького худенького мальчика, о котором старуха, покачав головой, сказала: «Ой, несчастный хусид», и четырнадцатилетней девочки, на которую даже здесь, любуясь, смотрели сотни глаз, в уродстве и немощи вызывавших молитвенную почтительность старух и стариков, в силе волосатых мужских спин, жилистых женских ног и больших грудей, обнажилось скрытое под тряпьем тело народа. Софье Осиповне показалось, что она ощутила это, относящееся не к ней одной, а к народу: «Вот я». Это было голое тело народа, одновременно молодое и старое, живое, растущее, сильное и вянущее, с кудрявой и седой головой, прекрасное и безобразное, сильное и немощное. Она смотрела на свои толстые белые плечи, никто их не целовал, только мама когда-то в детстве, потом с кротким чувством перевела глаза на мальчика. Неужели несколько минут назад она, забыв о нем, бросилась с пьяным бешенством в сторону эсэсовца? «Молодой еврейский дурень, — подумала она, — и его старый русский ученик проповедовали непротивление злу насилием. При них не было фашизма». Уж не стыдясь проснувшегося в ней, девице, материнского чувства, Софья Осиповна, наклонившись, взяла в свои рабочие большие ладони узенькое лицо Давида, ей показалось, что она взяла в руки его теплые глаза, и поцеловала его.

— Да, да, детка, — сказала она, — вот мы и добрались до бани.

В полутьме бетонного предбанника, казалось, мелькнули глаза Александры Владимировны Шапошниковой. Жива ли она? Они простились, и Софья Осиповна пошла, вот и дошла, и Аня Штрум дошла.

Жене рабочего хотелось показать мужу маленького голого сына, но муж был за перегородкой, и она протянула Софье Осиповне наполовину прикрытого пеленкой ребенка, гордясь, сказала:

— Только его раздели, и он уже не плачет.

А из-за перегородки мужчина, обросший черной бородой, носивший вместо кальсон рваные пижамные штаны, крикнул, блеснув глазами и золотом искусственных зубов:

— Манечка, тут продается купальный костюм, купить?

Муся Борисовна, прикрывая рукой грудь, выступавшую из широкого выреза рубахи, улыбнулась шутке.

Софья Осиповна уже знала, что в этом острословии приговоренных не проявлялась сила духа, слабым и робким не так страшен был страх, когда они над ним смеялись.

Ревекка Бухман, с измученным, осунувшимся прекрасным лицом, отворачивая от людей горячие огромные глаза, растрепала свои могучие косы, прятала в них кольца и серьги.

Слепая и жестокая сила жизни владела ею. Фашизм, хотя она была несчастна и беспомощна, пригнул ее до своего уровня, ее уже ничто не могло остановить в стремлении сохранить свою жизнь. И теперь, пряча кольца, она не вспоминала о том, что этими руками сжала горло своему ребенку из страха, что его плач может раскрыть убежище на чердаке.

Но когда Ревекка Бухман медленно вздохнула, словно животное, наконец добравшееся до безопасной чащи, она увидела женщину в халате, снимавшую ножницами косы с головы Муси Борисовны. А рядом жница волос стригла девочку, и шелковые черные струи бесшумно сбегали на бетонированный пол. Волосы лежали на полу, и казалось, что женщины моют ноги в темной и светлой воде.

Женщина в халате неторопливо отвела руку Ревекки, прикрывшую голову, захватила волосы у затылка, концы ножниц коснулись кольца, спрятанного в волосах, и женщина, не прекращая работы и ловко перебирая пальцами запутанные в волосах кольца, сказала, склонившись над ухом Ревекки: «Все будет вам обратно. — И еще тише шепнула: — Немец тут, надо ganz ruig». Лицо женщины в халате не запомнилось Ревекке, у ней не было глаз, губ, была одна лишь желтоватая рука с синими жилами.

По другую сторону перегородки появился седой мужчина в очках, криво сидящих на кривом носу, похожий на больного, печального дьявола, оглядел скамьи и раздельно, печатая буквы, голосом человека, привыкшего разговаривать с глухими, спросил:

— Мама, мама, мама, как себя чувствуешь?

Морщинистая маленькая старуха, вдруг расслышав голос сына среди гула сотен голосов, нежно улыбнулась ему, ответила, угадывая привычный вопрос:

— Хороший, хороший пульс, никаких перебоев, не волнуйся.

Кто-то рядом с Софьей Осиповной сказал:

— Это Гельман, знаменитый терапевт.

А молодая голая женщина, держа за руку губастую девочку в белых трусиках, громко кричала:

— Нас убьют, нас убьют, нас убьют!

— Тише, тише, успокойте сумасшедшую, — говорили женщины. Они оглядывались, стражи не было видно. Уши и глаза отдыхали в полусумраке и в тишине. Какое огромное, уже много месяцев не испытанное блаженство снять с себя одеревеневшую от грязи и пота одежду, полусгнившие носки, чулки, портянки. Ушли женщины, окончившие стрижку, и люди еще свободнее вздохнули. Одни задремали, другие просматривали швы на одежде, третьи негромко разговаривали. Кто-то сказал:

— Жаль, нет колоды, можно бы сыграть в подкидного.

Но в эти минуты начальник зондеркоманды, дымя сигаркой, снимал телефонную трубку, кладовщик грузил на моторную тележку банки «Цейлона» с красными, как на фруктовом джеме, наклейками и дежурный особого отряда, сидевший в служебном помещении, поглядывал на стену — вот-вот зажжется красная сигнальная лампочка.

Команда «Встать!» внезапно возникла с разных концов предбанника.

Там, где кончались скамьи, стояли немцы в черной форме. Люди вошли в широкий коридор, освещенный вделанными в потолок неяркими лампами, покрытыми толстым овальным стеклом. Здесь видна была мускульная сила медленно, плавно изгибающегося бетона, втягивавшего в себя человеческий поток. Было тихо, лишь шелестели шаги идущих босыми ногами людей.

Когда-то до войны Софья Осиповна сказала Евгении Николаевне Шапошниковой: «Если человеку суждено быть убитым другим человеком, интересно проследить, как постепенно сближаются их дороги: сперва они, может быть, страшно далеки, — вот я на Памире собираю альпийские розы, щелкаю своим «контаксом», а он, моя смерть, в это время за восемь тысяч верст от меня — после школы ловит на речке ершей. Я собираюсь на концерт, а он в этот день покупает на вокзале билет, едет к теще, но все равно, уж мы встретимся, дело будет». И теперь этот странный разговор вспомнился Софье Осиповне. Она поглядела на потолок: через эту бетонную толщу над головой ей уже не услышать грозы, не увидеть опрокинутого ковша Большой Медведицы... Она шла босыми ногами навстречу завитку коридора, а коридор бесшумно, вкрадчиво плыл навстречу ей; движение шло без насилия, само собой, какое-то полусонное скольжение, как будто все кругом и все внутри было смазано глицерином и сонно скользило само собой.

Вход в камеру открылся и постепенно и вдруг. Медленно скользил народный поток. Старуха и старик, прожившие вместе пятьдесят лет, разделенные при раздевании, сейчас снова шли рядом, жена рабочего несла проснувшегося ребенка, мать и сын смотрели поверх голов идущих, разглядывая не пространство, а время. Мелькнуло лицо терапевта, а совсем рядом смотрели глаза доброй Муси Борисовны, налитый ужасом взор Ревекки Бухман. Вот Люся Штеренталь, нельзя заглушить, уменьшить красоту этих молодых глаз, легко дышащих ноздрей, шеи, полуоткрытых губ, и рядом шел старик Лапидус со смятым синегубым ртом. Софья Осиповна снова прижала к себе плечи мальчика. Такой нежности к людям никогда еще не было в ее сердце.

Шедшая рядом Ревекка закричала, крик ее был невыносимо страшен, крик человека, превращающегося в золу.

У входа в газовую камеру стоял человек с куском водопроводной трубы в руке. На нем была коричневая рубаха с застежкой-«молнией», с короткими до локтей рукавами. Увидев его неясную, детскую и безумную, упоенную улыбку, так страшно закричала Ревекка Бухман.

Глаза скользнули по лицу Софьи Осиповны: вот это он и есть, наконец встретились!

Она почувствовала, что ее пальцы должны схватить эту шею, выползшую из раскрытого ворота. Но улыбающийся коротко, быстро взмахнул палкой. Сквозь звон колоколов и хруст стекла она услышала: «Не бодайся, пархата».

Она сумела устоять на ногах и тяжелым, медленным шагом вместе с Давидом переступила стальной порог.

49

Давид провел ладонью по стальной дверной раме, ощутил гладкий холод. Он увидел в стальном зеркале светло-серое расплывчатое пятно — отражение своего лица. Босые подошвы определили, что пол в камере холодней, чем в коридоре, его недавно мыли, поливали.

Он шел маленькими, небыстрыми шагами по бетонному ящику с низким потолком. Он не видел ламп, но в камере стоял серый свет, словно солнце проникало сквозь затянутое бетоном небо, каменный свет казался не для живых существ.

Люди, которые были все время вместе, рассыпались, теряя друг друга. Мелькнуло лицо Люси Штеренталь. Давид в вагоне смотрел на нее, испытывая сладкую и грустную влюбленность. Но через миг на месте Люси появилась низкорослая женщина без шеи. И сразу на этом же месте появился голубоглазый старик с белым пушком на голове. И тут же наплыл остановившийся расширенный взор молодого мужчины.

Это было несвойственное людям движение. Это было движение, несвойственное и низшим живым существам. В нем не было смысла и цели, в нем не проявлялась воля живущих. Людской поток втекал в камеру, вновь входившие подталкивали уже вошедших, те подталкивали своих соседей, и из этих бесчисленных маленьких толчков локтем, плечом, животом рождалось движение, ничем не отличавшееся от молекулярного движения, открытого ботаником Броуном.

Давиду казалось, что его ведут, нужно было двигаться. Он дошел до стены, коснулся ее холодной простоты коленом, потом грудью, дороги больше не было. Софья Осиповна стояла, привалившись к стене.

Несколько мгновений они глядели на движущихся от двери людей. Дверь оказалась далеко, и понять, где она, можно было по особо густой белизне человеческих тел, сжатых, уплотненных при входе, а затем уже рассыпающихся в пространстве газовой камеры.

Давид видел лица людей. С утра, как только был разгружен эшелон, он видел спины, а сейчас весь эшелон, казалось, двигался на него лицом. Необычной вдруг стала Софья Осиповна — ее голос в плоском бетонном пространстве звучал по-иному, вся она, войдя в камеру, стала измененной. Когда она сказала: «Крепко держись за меня, мой хлопчик», он почувствовал — она боялась его отпустить, чтобы не остаться одной. Но они не удержались у стены, отделились от нее и стали двигаться мелкими шажками. Давид почувствовал, что он двигается быстрее, чем Софья Осиповна. Ее рука сжала его руку, притягивая к себе. А какая-то мягкая, постепенная сила оттягивала Давида, пальцы Софьи Осиповны стали разжиматься.

Все плотнее становилась толпа в камере, все медленней стали движения, все короче шажки людей. Никто не руководил движением в бетонном ящике. Немцам стало безразлично, стоят ли люди в газовой камере неподвижно или совершают бессмысленные зигзаги, полукружия. И голый мальчик делал крошечные бессмысленные шажки. Кривая движения его легкого маленького тела перестала совпадать с кривой движения большого и тяжелого тела Софьи Осиповны, и вот они разделились. Не за руку надо было держать его, а вот так, как эти две женщины — мать и девушка, — судорожно, с угрюмым упорством любви, прижаться щека к щеке, грудь к груди, стать одним неразделимым телом.

Людей становилось все больше, и молекулярное движение по мере сгущения и уплотнения отступало от закономерности Авогадро. Потеряв руку Софьи Осиповны, мальчик закричал. Но тут же Софья Осиповна сдвинулась в прошлое. Существовало только сейчас, теперь. Губы людей дышали рядом, тела их касались, их мысли и чувства стали соединяться.

Давид попал в ту часть вращения, которая, отразившись от стены, двигалась обратно к двери. Давид увидел трех людей, соединившихся вместе: двух мужчин и старуху, она защищала детей, и они поддерживали мать. И вдруг новое, по-новому возникшее движение произошло рядом с Давидом. Шум тоже был новый, отличавшийся от шороха и бормотаний.

— Пустите с дороги! — И сквозь единую массу тел пробивался человек с могучими, напруженными руками, толстой шеей, наклоненной головой. Он хотел вырваться из гипнотического бетонного ритма, его тело бунтовалось, как рыбье тело на кухонном столе, слепо, без мысли. Он вскоре затих, задохнулся и стал семенить ногами, совершать то, что совершали все.

От нарушения, которое произвел он, изменились кривые движения, и Давид оказался рядом с Софьей Осиповной. Она прижала к себе мальчика с той силой, которую открыли и измерили рабочие в лагерях уничтожения, — разгружая камеру, они никогда не пытались отделять тела обнявшихся близких людей.

Со стороны двери раздавались крики; люди, видя плотную человеческую массу, заполнявшую камеру, отказывались проходить в распахнутые двери.

Давид видел, как закрылась дверь: дверная сталь, словно притянутая магнитом, мягко, плавно приближалась к стали дверной рамы, и они слились, стали едины.

Давид заметил, что в верхней части стены, за квадратной металлической сеткой, шевельнулось что-то живое, ему показалось, серая крыса, но Давид понял — завертелся вентилятор. Почувствовался слабый сладковатый запах.

Затих шорох шагов, изредка слышались невнятные слова, стон, вскрикивание. Речь уже не служила людям, действие было бессмысленно — оно направлено к будущему, а в газовой камере будущего не было. Движение головы и шеи Давида не породило в Софье Осиповне желания посмотреть туда, куда смотрит другое живое существо.

Ее глаза, читавшие Гомера, газету «Известия», «Гекльберри Финна», Майн Рида, гегелевскую «Логику», видевшие хороших и плохих людей, видевшие гусей на зеленых курских лужках, звезды в Пулковский рефрактор, блеск хирургической стали, Джоконду в Лувре, помидоры и репу на базарных рундуках, синеву Иссык-Куля, теперь не были нужны ей. Ослепи ее кто-либо в этот миг, она не почувствовала бы потери.

Она дышала, но дыхание стало тяжелой работой, и она выбивалась из сил, производя работу дыхания. Она хотела сосредоточиться на последней мысли под оглушающий звон колоколов. Но мысль не рождалась. Софья Осиповна стояла, немая, не закрывая невидящих глаз.

Движение ребенка наполняло ее жалостью. Ее чувство к мальчику было так просто — слова и глаза не стали ей нужны. Полумертвый мальчик дышал, но воздух, данный ему, не продлевал жизнь, а угонял ее. Голова его поворачивалась, ему все еще хотелось смотреть. Он видел тех, кто оседал на землю, видел открытые беззубые рты, рты с белыми и золотыми зубами, видел тоненькую струйку крови, бежавшую из ноздри. Он видел любопытствующие глаза, глядевшие в камеру через стекло; созерцающие глаза Розе на миг встретились с глазами Давида. Ему и голос был нужен, он спросил бы тетю Соню об этих волчьих глазах. И мысли его нужны были ему. Он сделал в мире лишь несколько шагов, он увидел следы босых детских пяток на горячей, пыльной земле, в Москве жила его мама, луна смотрела вниз, а снизу ее видели глаза, на газовой плите кипел чайник; мир, где бежала безголовая курица; мир, где лягушки, которых он заставлял танцевать, держа за передние лапки, и утреннее молоко, — продолжал тревожить его.

Все время сильные, горячие руки обнимали Давида, мальчик не понял, что стало темно в глазах, гулко, пустынно в сердце, скучно, слепо в мозгу. Его убили, и он перестал быть.

Софья Осиповна Левинтон ощутила, как осело в ее руках тело мальчика. Она опять отстала от него. В подземных выработках с отравленным воздухом и индикаторы газа — птицы и мыши — погибают сразу, у них маленькие тела, и мальчик с маленьким, птичьим телом ушел раньше, чем она.

«Я стала матерью», — подумала она.

Это была ее последняя мысль.

А в ее сердце еще была жизнь: оно сжималось, болело, жалело вас, живых и мертвых людей; хлынула тошнота, Софья Осиповна прижимала к себе Давида, куклу, стала мертвой, куклой.

50

Человек умирает и переходит из мира свободы в царство рабства. Жизнь — это свобода, и потому умирание есть постепенное уничтожение свободы; сперва ослабляется сознание, затем оно меркнет; процессы жизни в организме с угасшим сознанием некоторое время еще продолжаются, совершаются кровообращение, дыхание, обмен веществ. Но это неотвратимое отступление в сторону рабства — сознание угасло, огонь свободы угас.

Потухли звезды на ночном небе, исчез Млечный Путь, погасло солнце, погасли Венера, Марс, Юпитер, замерли океаны, замерли миллионы листьев, и замер ветер, цветы потеряли цвет и запах, исчез хлеб, исчезли вода, прохлада и духота воздуха. Вселенная, существовавшая в человеке, перестала быть. Эта Вселенная поразительно походила на ту, единственную, что существует помимо людей. Эта Вселенная поразительно походила на ту, что продолжает отражаться в миллионах живых голов. Но эта Вселенная особенно поразительна была тем, что имелось в ней нечто такое, что отличало шум ее океана, запах ее цветов, шорох листвы, оттенки ее гранитов, печаль ее осенних полей, от каждой из тех, что существовали и существуют в людях, и от той, что вечно существует вне людей. В ее неповторимости, в ее единственности душа отдельной жизни — свобода. Отражение Вселенной в сознании человека составляет основу человеческой мощи, но счастьем, свободой, высшим смыслом жизнь становится лишь тогда, когда человек существует как мир, никогда никем не повторимый в бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье свободы и доброты, находя в других то, что нашел в самом себе.

51

Водитель Семенов, попавший в плен вместе с Мостовским и Софьей Осиповной Левинтон, после десяти недель голодного лагеря в прифронтовой полосе, был направлен вместе с большой партией пленных красноармейцев в сторону западной границы.

В прифронтовом лагере его ни разу не ударили кулаком, прикладом, сапогом.

В лагере был голод.

Вода журчит в арыке, плещет, вздыхает, шумит у берега, и вот вода гремит, ревет, волочит каменные глыбы, подобно соломинкам стремит огромные стволы, и сердце холодеет, когда глядишь на сдавленную среди тесных берегов реку, сотрясающую скалы, и кажется, то не вода, а тяжелые массы ожившего, взбесившегося, ставшего на дыбы прозрачного свинца.

Голод подобно воде постоянно и естественно связан с жизнью, и вдруг он превращается в силу, уничтожающую тело, ломающую и коверкающую душу, истребляющую многомиллионные живые массы.

Бескормица, гололедица и снегопады, степные и лесные засухи, наводнения, мор режут стада овец и лошадей, убивают волков, певчих птиц и лис, диких пчел, верблюдов, окуней, гадюк. Люди во время стихийных бедствий в своих страданиях становятся равными животным.

Государство по своей воле способно принудительно, искусственно сжать, сдавить плотинами жизнь, и тогда подобно воде среди тесных берегов страшная сила голода потрясает, коверкает, ломает, уничтожает человека, племя, народ.

Голод выжимает молекулу за молекулой белок и жир из клеточек тела, голод размягчает кости, искривляет рахитичные ножки детей, разжижает кровь, кружит голову, сушит мышцы, съедает нервную ткань, голод угнетает душу, гонит радость, веру, уничтожает силу мысли, рождает покорность, низость, жестокость, отчаяние и безразличие.

Человеческое иногда полностью гибнет в человеке, и голодное существо становится способно на убийство, на пожирание трупов, на людоедство.

Государство способно построить плотину, отделяющую пшеницу, рожь от тех, кто сеял ее, и тем вызвать страшный мор, подобный мору, убившему сотни тысяч ленинградцев в пору гитлеровской блокады, убившему миллионы военнопленных в гитлеровских лагерных загонах.

Пища! Еда! Кушанье! Шамовка! Заправка и подзаправка! Едушка и жратва! Хлебово! Жарево! Питание! Жирный, мясной, диетический, скудный стол. Стол богатый и щедрый, изысканный, простой, деревенский! Яства. Корм. Корм...

Картофельные очистки, собаки, лягушатина, улитки, гнилые капустные листья, лежалая свекла, дохлая конина, кошачье мясо, мясо ворон и галок, сырое горелое зерно, кожа поясных ремней, халява сапог, клей, земля, пропитавшаяся жирными помоями, вылитыми из офицерской кухни, — все это корм. Это то, что просачивается через плотину.

Этот корм добывают, его делят, его выменивают, его крадут друг у друга.

На одиннадцатый день пути, когда эшелон стоял на станции Хутор Михайловский, охрана вытащила впавшего в беспамятство Семенова из вагона и передала станционным властям.

Пожилой немец, комендант, несколько мгновений глядел на полуживого красноармейца, сидевшего у стенки пожарного сарая.

— Пусть ползет в деревню, в камере он умрет через день, а расстреливать его не за что, — сказал переводчику комендант.

Семенов побрел в расположенную около станции деревню.

В первую хату его не пустили.

— Нема ничого, идить соби, — ответил ему из-за двери старушечий голос.

Во вторую хату он долго стучался, никто не отвечал. То ли хата была пустой, то ли заперта изнутри.

В третьей хате дверь была полуоткрыта, он вошел в сени, никто его не окликнул, и Семенов прошел в комнату.

Тепло пахнуло на него. Голова закружилась, и он лег на лавку у двери.

Семенов тяжело и быстро дышал, оглядывая белые стены, иконы, стол, печь. Все это потрясало после лагерных загонов.

В окне мелькнула тень, и в хату вошла женщина, увидела Семенова и вскрикнула:

— Хто вы?

Он ничего не ответил. Ясно было, кто он.

В этот день не безжалостные силы могучих государств, а человек, старая Христя Чуняк решала его жизнь и судьбу.

Солнце глядело из серых облаков на военную землю, и ветер, тот, что шел над траншеями и дзотами, над колючей лагерной проволокой, над трибунами и особыми отделами, подвывал под окошком хаты.

Женщина дала Семенову кружку молока, и он, жадно и трудно заглатывая, стал пить.

Он выпил молоко, и его стошнило. Его выворачивало от рвоты, глаза плакали, и он, словно кончаясь, с воем втягивал в себя воздух, и его опять и опять рвало.

Он старался удержать рвоту, в голове была одна лишь мысль — хозяйка выгонит его, поганого и грязного.

Он видел воспаленными глазами, что она принесла тряпку, стала подтирать пол.

Он хотел сказать ей, что сам все почистит, вымоет, только пусть не гонит его. Но он лишь бормотал, показывая дрожащими пальцами. Время шло. Старуха то входила в хату, то выходила. Она не гнала Семенова. Может быть, она просила соседку привести немецкий патруль, позвать полицая?

Хозяйка поставила в печь чугун с водой. Стало жарко, пар задымился над водой. Лицо старухи казалось нахмуренным, недобрым.

«Выгонит и дезинфекцию после меня делать будет», — подумал он.

Женщина достала из сундука белье, брюки. Она помогла Семенову раздеться, свернула в узелок его белье. Он ощутил запах своего грязного тела, пропитанных мочой, кровавыми испражнениями подштанников.

Она помогла Семенову сесть в корыто, и его изъеденное вшами тело почувствовало прикосновение ее шершавых, сильных ладоней, по плечам и по груди его потекла мыльная теплая вода. Он вдруг захлебнулся, затрясся, его забило, и, взвизгивая, глотая сопли, он вскрикивал: «Мама... маманька... маманька».

Она вытирала серым холщовым полотенцем его слезящиеся глаза, волосы, плечи. Подхватив Семенова под мышки, она посадила его на скамью и, нагнувшись, вытирала его похожие на палки ноги, надела на него рубаху и подштанники, застегнула белые, обшитые материей пуговки.

Она вылила из корыта в ведро черную, поганую воду и унесла ее.

Она постелила на печке овчинный кожух, накрыла его полосатым рядном, сняла с кровати большую подушку и положила ее в изголовье.

Потом она легко, как куренка, приподняла Семенова и помогла ему взобраться на печку.

Семенов лежал в полубреду. Его тело ощущало немыслимую перемену — стремление безжалостного мира уничтожить замученную скотину перестало действовать.

Но ни в лагере, ни в эшелоне он не испытывал таких страданий, как сейчас, — ноги томились, ныли пальцы, ломало в костях, подкатывала тошнота, голова наполнялась сырой, черной кашей, то вдруг, легкая и пустая, начинала кружиться, глаза резало, била икота, веки чесались. А минутами сердце ныло, замирало, нутро наполнялось дымом, и казалось, пришла смерть.

Прошло четыре дня. Семенов слез с печки, стал ходить по комнате. Его поражало, что мир оказался полон еды. В лагерной жизни была лишь гнилая свекла. Казалось, на земле есть одна лишь мутная болтушка — лагерный суп, жижица, пахнущая гнилью.

А теперь он видел пшено, картошку, капусту, сало, он слышал крик петуха.

Ему, как ребенку, казалось, что в мире есть два волшебника — добрый и злой, и он все боялся, что злой волшебник снова осилит доброго, и сытый, теплый, добрый мир исчезнет, и он опять будет мять зубами кусок своего поясного ремня.

Его занимала ручная мельница, производительность у нее была жуткая — лоб становился мокрым, пока удавалось намолоть несколько горстей серой, сырой муки.

Семенов почистил напильником и шкуркой передачу, подтянул болт, который связывал механизм с устроенным из плоских камней жерновом. Он все сделал, как полагалось грамотному московскому механику, исправил грубую работу деревенского мастера, но мельница стала работать после этого хуже.

Семенов лежал на печке и думал, как получше молоть пшеницу.

Утром он вновь разобрал мельницу, пустил в дело колеса и части старых ходиков.

— Тетя Христя, посмотрите, — хвастливо проговорил он и показал, как ходит приспособленная им двойная зубчатая передача.

Они почти не говорили друг с другом. Она не рассказывала об умершем в 1930 году муже, о пропавших без вести сыновьях, о дочери, уехавшей в Прилуки и забывшей о матери. Она не спрашивала его, как он попал в плен, откуда он родом, деревенский он или городской.

Он боялся выходить на улицу, долго вглядывался в окно, прежде чем выйти во двор, всегда спешил обратно в хату. Если громко хлопала дверь, падала на пол кружка, он пугался, казалось, доброе кончилось, перестала действовать сила старой Христи Чуняк.

Когда соседка шла к Христиной хате, Семенов залезал на печку, лежал, стараясь не сопеть, не чихать. Но соседи редко заходили к ним.

Немцы в деревне не стояли, они квартировали в железнодорожном поселке около станции.

Мысль, что он живет в тепле и покое, а кругом идет война, не вызывала у Семенова угрызений, он очень боялся, что его снова затянет в мир лагерей и голода.

Утром, просыпаясь, он опасался сразу открыть глаза, казалось, что за ночь волшебство исчезло и он увидит лагерную проволоку, охрану, услышит звяканье пустого котелка.

Он лежал с закрытыми глазами, прислушивался, не исчезла ли Христя.

Он мало думал о недавнем времени, не вспоминал комиссара Крымова, Сталинград, немецкий лагерь, эшелон. Но каждую ночь он кричал и плакал во сне.

Однажды ночью он слез с печи и пополз по полу, забился под нары, проспал там до утра. А утром не мог вспомнить, что ему померещилось во сне.

Несколько раз видел он, как по деревенской улице проезжали грузовые машины с картошкой, мешками зерна, однажды он видел легковую машину «оппель-капитан». Мотор тянул хорошо, колеса не буксовали по деревенской грязи.

Сердце замирало, когда он представлял себе — вот картавые голоса загалдят в сенях, потом в хату ввалится немецкий патруль.

Он спрашивал тетю Христю о немцах.

Она отвечала:

— А есть неплохие немцы. Як фронт у нас проходив, у мене в хати двое стояли — иден студент, другий художник. Завжды играли с детьми. А потом шофер стоял, вин с собой кницку возыв. Вернется с поездки — кишка до него, вин ий сала, масла. Казав, от самой границы вона с ним ихала. Сидит за столом и на руках ее держит. И до мене вин був дуже добрый, дров мени привиз, другим разом мишок муки скынув. А есть нимцы — детей убивают, дида сусида убыли, за людей нас не считают, в хати гадять, голи перед женщинами ходять. И наши тут есть деревеньски, полицаи, — лютують над людьми.

— Наших таких зверей нет, как у немцев, — сказал Семенов и спросил: — А вы не боитесь, тетя Христя, что я у вас живу?

Она покачала головой и сказала, что в деревне много отпущенных домой пленных, правда, это украинцы, вернувшиеся в родные села. Но

она ведь может сказать, что Семенов ее племянник, сын сестры, уехавшей с мужем в Россию.

Семенов уже знал лица соседей, знал старуху, не пустившую его в первый день. Он знал, что вечером девушки шли в кино на станцию, что по субботам на станции «грала оркестра» и были танцы. Его очень интересовало, какие картины немцы показывают в кино. Но к тете Христе заходили лишь старики, они кино не смотрели. И спросить было некого.

Соседка принесла письмо от дочери, уехавшей по вербовке в Германию. Некоторые места в письме Семенов не понял, и ему их объяснили. Девушка писала: «Прилетели Ванька и Гришка: стеклили викна». Ванька и Гришка служили в авиации. Значит, на немецкий город был налет советской авиации.

В другом месте девушка писала: «Шов такой дощ, як в Бахмачи». И это тоже значило, что налетали самолеты, в начале войны были сильные налеты на станцию Бахмач.

В тот же вечер к Христе зашел высокий худой старик. Он оглядел Семенова и чисто произнес по-русски:

— Откуда, герой, будешь?

— Пленный я, — ответил Семенов.

Старик сказал:

— Мы все пленные.

Он при Николае служил в армии, был артиллеристом и с удивительной памятью стал воспроизводить перед Семеновым артиллерийские команды. Команды он подавал хрипло, по-русски, а об исполнении доносил звонко, с украинским выговором, по-молодому, видимо, запомнив интонации своего и начальнического голоса, звучавшие много лет назад.

Потом он стал ругать немцев.

Он рассказал Семенову — вначале люди надеялись, что немцы «знулируют» колхозы, а оказалось, немцы догадались — колхозы и для них хорошее дело. Завели пятихатки, десятихатки, те же звенья и бригады. Тетя Христя протяжным, печальным голосом проговорила:

— Ой, кольхозы, кольхозы!

Семенов проговорил:

— Что ж, колхозы, известное дело, у нас повсюду колхозы.

И тут старуха Чуняк сказала:

— Ты мовчи. Догадуешь, як прийшов до мене с эшелона? От так вся Украина була в эшелони в тридцатом роци. Крапыву всю зъилы, землю илы... Хлеб до последнего зерна забралы. Мой чоловик помер, а як вин мучывся! Я опухла, голос потиряла, ходыть не могла.

Семенова поразило, что старая Христя голодала, как и он. Ему все казалось, голод, мор бессильны перед хозяйкой доброй хаты.

— А может, вы кулаками были? — спросил он.

— Та яки там кулаки. Вись народ пропадав, хуже чим в вийну.

— А ты деревенский? — спросил старик.

— Нет, — ответил Семенов, — я прирожденный московский, и отец мой прирожденный московский.

— Вот, — хвастливо сказал старик, — если б ты тут был в коллективизацию, пропал бы, городской, сразу бы пропал. Почему я жив остался? Природу понимаю. Ты думаешь, желудь, липовый лист, крапиву, лебеду? Их сразу чисто подобрали. А я пятьдесят шесть растений знаю, которые человек кушать может. Вот и остался жив. Весна только-только пришла, ни одного еще листочка нет, а я из земли уже корешки копаю. Я все, брат, знаю: каждый корешок, и кору, и цветочки, и каждую траву понимаю. Корова, овца, лошадь, кто хочешь с голоду пропадет, а я не пропаду, я лучше их травоядный.

— Московский? — медленно переспросила Христя. — А я и не знала, что ты московский.

Сосед ушел, Семенов лег спать, а Христя сидела, подперев скулы руками, и смотрела в черное ночное небо.

Богатый урожай был в тот год. Пшеница стояла плотной стеной, высокая, по плечо ее Василию, а Христю с головой закрывало.

Тихий протяжный стон стоял над селом, живые скелетики, дети, ползали по полу, чуть слышно скулили; мужики с налитыми водой ногами

бродили по дворам, обессиленные голодной одышкой. Женщины выискивали варево для еды — все было съедено, сварено — крапива, желуди, липовый лист, валявшиеся за хатами копыта, кости, рога, невыделанные овчинные шкуры... А ребята, приехавшие из города, ходили по дворам, мимо мертвых и полумертвых, открывали подвалы, копали ямы в сараях, тыкали железными палками в землю, искали, выколачивали кулацкое зерно.

В душный летний день Василий Чуняк затих, перестал дышать. В этот час в хату вновь зашли приехавшие из города хлопцы, и голубоглазый человек, по-кацапски «акая», совсем так же, как «акал» Семенов, проговорил, подойдя к умершему:

— Уперлось кулачье, жизни своей не жалеет.

Христя вздохнула, перекрестилась и стала разбирать постель.

52

Штрум считал, что работу его оценит лишь узкий круг физиков-теоретиков. Но оказалось не так. Ему в последнее время звонили по телефону не только знакомые физики, но и математики, и химики. Некоторые просили его разъяснить: математические выводы его были сложны.

В институт к нему явились делегаты от студенческого общества, просили сделать доклад для студентов-физиков и математиков старших курсов. Он дважды выступал в академии. Марков, Савостьянов рассказывали ему, что о работе его спорят во многих институтских лабораториях.

Людмила Николаевна слышала в лимитном магазине, как одна супруга ученого спросила другую: «Вы за кем стоите?» Та ответила: «Вот за женой Штрума». И вопрошавшая сказала: «Того самого?»

Виктор Павлович не показывал, что неожиданно широкий интерес к его работе радует его. Но он не был равнодушен к славе. На Ученом совете института работа его была выдвинута на Сталинскую премию. Штрум на это заседание не пошел, но вечером все поглядывал на телефон, ждал звонка Соколова. Первым позвонил ему после заседания Савостьянов.

Обычно насмешливый, даже циничный, Савостьянов сейчас говорил не по-обычному.

— Это триумф, настоящий триумф! — повторял он.

Он рассказал о выступлении академика Прасолова. Старик говорил, что со времени его покойного друга Лебедева, исследовавшего световое давление, в стенах физического института не рождалась работа такого значения.

Профессор Свечин говорил о математическом методе Штрума, доказывал, что в самом методе есть элементы новаторства. Он сказал, что только советские люди способны в условиях войны так беззаветно отдавать свои силы на служение народу.

Выступали еще многие, выступал Марков, но самую яркую и сильную речь сказал Гуревич.

— Молодчина, — сказал Савостьянов, — он-то сказал нужные слова, сработал без ограничителя. Назвал вашу работу классической и сказал, что ее нужно поставить рядом с трудами основателей атомной физики — Планка, Бора, Ферми.

«Сильно», — подумал Штрум.

Вскоре после Савостьянова позвонил Соколов.

— К вам сегодня не пробиться, звоню уж двадцать минут, все занято, — сказал он.

Соколов был тоже взволнован и обрадован.

Штрум сказал:

— Я забыл спросить у Савостьянова о голосовании.

Соколов сказал, что против Штрума голосовал профессор Гавронов, занимающийся историей физики; по его мнению, работа Штрума ненаучно построена, вытекает из идеалистических воззрений западных физиков, практически бесперспективна.

— Это даже хорошо, что Гавронов против, — сказал Штрум.

— Да, пожалуй, — согласился Соколов.

Гавронов был странным человеком, его шутя называли «братья славяне», он с фанатической упорностью доказывал, что все достижения фи-

зики связаны с трудами русских ученых, ставил мало кому известные имена Петрова, Умова, Яковлева выше имен Фарадея, Максвелла, Эйнштейна.

Соколов шутливо сказал:

— Видите, Виктор Павлович, вот Москва и признала значение вашей работы. Скоро пировать у вас будем.

Взяла трубку Марья Ивановна, сказала:

— Поздравляю, поздравьте Людмилу Николаевну, я так рада за вас и за нее.

Штрум сказал:

— Все суета сует.

Но суета сует радовала и волновала его.

Ночью, когда Людмила Николаевна уже собиралась спать, позвонил Марков. Это был знаток официальной конъюнктуры и по-иному, чем Савостьянов и Соколов, рассказал об Ученом совете. Ковченко после выступления Гуревича под общий смех сказал:

— Вот и в Институте математики ударили в колокола, шумят вокруг работы Виктора Павловича. Правда, крестного хода там еще не было, но хоругви уже поднимали.

В шутке Ковченко подозрительный Марков почувствовал недоброжелательство. Остальные его наблюдения касались Шишакова. Алексей Алексеевич не высказал своего отношения к работе Штрума. Слушая ораторов, он кивал головой, то ли одобрительно, то ли в смысле: «Мели, Емеля, твоя неделя».

Шишаков ратовал о выдвижении на премию работы молодого профессора Молоканова; работа его была посвящена рентгеноанализу стали, имела лишь узкопрактическое значение для нескольких заводов, вырабатывающих качественный металл.

Потом Марков сказал, что после заседания Шишаков подошел к Гавронову и говорил с ним.

Штрум сказал:

— Вам, Вячеслав Иванович, работать по дипломатическому ведомству.

Марков, не умевший шутить, ответил:

— Нет, я физик-экспериментатор.

Штрум зашел к Людмиле в комнату и сказал:

— Выдвинули меня на Сталинскую премию. Рассказывают много приятных для меня вещей.

И он передал ей о выступлениях участников заседания.

— Весь этот официальный успех — чушь. Но знаешь, тошен мне вечный комплекс неполноценности. Входишь в зал заседаний — первый ряд свободен, но я не решаюсь сесть, иду на камчатку. А Шишаков, Постоев, не колеблясь, сядут в президиум. Мне плевать на это кресло, но внутренне, внутренне хотя бы ощущать свое право на него.

— Как бы Толя радовался, — сказала Людмила Николаевна.

— Вот и маме я не напишу об этом.

Людмила Николаевна сказала:

— Витя, уже двенадцатый час, Нади нет. Вчера она пришла в одиннадцать.

— Что ж тут такого?

— Она говорит, что у подруги, но меня это тревожит. Она говорит, что у отца Майки есть ночной пропуск на машину и он ее подвозит до нашего угла.

— Чего ж тревожиться? — сказал Виктор Павлович и подумал: «Господи, речь идет о большом успехе, о государственной Сталинской премии, зачем перебивать этот разговор житейскими пустяками».

Он помолчал, коротко вздохнул.

На третий день после заседания Ученого совета Штрум позвонил Шишакову по домашнему телефону, он хотел просить его принять на работу молодого физика Ландесмана. Дирекция и отдел кадров все оттягивали оформление. Одновременно он хотел попросить, чтобы Алексей Алексеевич ускорил вызов из Казани Анны Наумовны Вайспапир. Теперь, когда в Институте шел новый набор, не было смысла оставлять квалифицированных работников в Казани.

Он давно уж хотел говорить обо всем этом с Шишаковым, но казалось, что Шишаков может быть с ним недостаточно любезен, скажет: «Обратитесь к моему заместителю». И Штрум все откладывал этот разговор.

Теперь волна успеха подняла его. Десять дней назад ему казалось неудобным прийти на прием к Шишакову, а сегодня было просто и естественно позвонить ему на дом.

Женский голос осведомился:

— Кто спрашивает?

Штрум ответил. Ему было приятно слышать свой голос, так неторопливо, спокойно назвал он себя.

Женщина у телефона помедлила, потом ласково сказала: «Одну минуточку», — а через минуточку она так же ласково проговорила: — Пожалуйста, позвоните завтра в десять часов в Институт.

— Простите, пожалуйста, — сказал Штрум.

Всем телом, кожей он ощутил жгучую неловкость.

Он тоскливо угадывал, что и ночью во сне его не оставит это чувство, что он утром, проснувшись, подумает: «Почему тошно? — И вспомнит: — Ах да, этот дурацкий звонок».

Он зашел в комнату к жене и рассказал о несостоявшемся разговоре с Шишаковым.

— Да, да, не к масти козырь, как говорит обо мне твоя мама.

Он стал ругать женщину, отвечавшую ему.

— Черт, сука, не выношу гнусную манеру узнавать, кто спрашивает, а потом отвечать: барин занят.

Людмила Николаевна в подобных случаях обычно возмущалась, и ему хотелось ее послушать.

— Помнишь, — сказал он, — я считал, что равнодушие Шишакова связано с тем, что он не может нажить на моей работе капитал. А теперь ему сдается, что капитал ему можно нажить, но по-другому: дискредитировать меня. Ведь он знает, Садко меня не любит.

— Господи, до чего ты подозрителен, — сказала Людмила Николаевна, — который час?

— Четверть десятого.

— Видишь, а Нади нет.

— Господи, — сказал Штрум, — до чего ж ты подозрительна.

— Между прочим, — сказала Людмила Николаевна, — сегодня я слышала в лимитном: Свечина, оказывается, тоже на премию выдвигают.

— Скажи, пожалуйста, он не сказал мне. За что ж это?

— За теорию рассеяния, кажется.

— Непонятно. Ведь она была опубликована до войны.

— Ну и что ж. За прошлое тоже дают. Он получит, а ты нет. Вот увидишь. Ты все для этого делаешь.

— Дура ты, Люда. Садко меня не любит!

— Тебе мамы недостает. Она тебе во всем подпевала.

— Не понимаю твоего раздражения, если б в свое время ты к моей маме проявляла хоть долю того тепла, что я к Александре Владимировне.

— Анна Семеновна никогда не любила Толю, — сказала Людмила Николаевна.

— Неправда, неправда, — сказал Штрум, и жена показалась ему чужой, пугающей своей упорной несправедливостью.

53

Утром в Институте Штрум узнал от Соколова новость. Накануне вечером Шишаков пригласил к себе домой в гости нескольких работников Института. За Соколовым на машине заехал Ковченко.

Среди званых был заведующий отделом науки ЦК, молодой Бадьин.

Штрума покоробила неловкость — очевидно, он звонил Шишакову в то время, когда собрались гости.

Усмехаясь, он сказал Соколову:

— В числе приглашенных был граф Сен-Жермен, о чем же говорили господа?

Вдруг он вспомнил, как, звоня по телефону Шишакову, бархатным голосом назвал себя, уверенный, что, услыша фамилию «Штрум», Алек-

сей Алексеевич радостно кинется к телефону. Он даже застонал от этого воспоминания, подумал, что так жалобно стонут собаки, тщетно вычесывая невыносимо лютую блоху.

— Между прочим, — сказал Соколов, — обставлено это было совсем не по-военному. Кофе, сухое вино «Гурджаани». И народу было мало, человек десять.

— Странно, — сказал Штрум, и Соколов понял, к чему относилось это задумчивое «странно», тоже задумчиво сказал:

— Да, не совсем понятно, вернее, совсем непонятно.

— А Натан Самсонович был? — спросил Штрум.

— Гуревич не был, кажется, ему звонили, он вел занятия с аспирантами.

— Да, да, да, — сказал Штрум и забарабанил пальцем по столу. Потом он неожиданно для самого себя спросил Соколова: — Петр Лаврентьевич, о работе моей ничего не говорили?

Соколов помялся:

— Такое чувство, Виктор Павлович, что ваши хвалители и поклонники оказывают вам медвежью услугу, — начальство раздражается.

— Чего же вы молчите? Ну?

Соколов рассказал, что Гавронов заговорил о том, что работа Штрума противоречит ленинским взглядам на природу материи.

— Ну? — сказал Штрум. — И что же?

— Да, понимаете, Гавронов — это чепуха, но неприятно, Бадьин его поддержал. Что-то вроде того, что работа ваша при всей своей талантливости противоречит установкам, данным на том знаменитом совещании.

Он оглянулся на дверь, потом на телефон и сказал вполголоса:

— Понимаете, мне показалось, не вздумают ли наши шефы институтские в связи с кампанией за партийность науки избрать вас в качестве козла отпущения. Знаете, как у нас кампании проводятся. Выберут жертву — и давай ее молотить. Это было бы ужасно. Ведь работа замечательная, особая!

— Что же, так никто не возражал?

— Пожалуй, нет.

— А вы, Петр Лаврентьевич?

— Я считал бессмысленным вступать в спор. Нет смысла опровергать демагогию.

Штрум смутился, чувствуя смущение своего друга, и сказал:

— Да-да, конечно, конечно. Вы правы.

Они молчали, но молчание их не было легким. Холодок страха коснулся Штрума, того, что всегда тайно жил в сердце, страха перед гневом государства, страха оказаться жертвой этого гнева, обращающего человека в пыль.

— Да, да, да, — задумчиво сказал он, — не до жиру, быть бы живу.

— Как я хочу, чтобы вы поняли это, — вполголоса сказал Соколов.

— Петр Лаврентьевич, — тоже вполголоса спросил Штрум, — как там Мадьяров, благополучен? Пишет он вам? Я иногда очень тревожусь, сам не знаю отчего.

В этом внезапном разговоре шепотом они как бы выразили, что у людей есть свои, особые, людские, негосударственные отношения.

Соколов спокойно, раздельно ответил:

— Нет, я из Казани ничего не имею.

Его спокойный, громкий голос как бы сказал, что ни к чему им сейчас эти особые, людские, отделенные от государства отношения.

В кабинет зашли Марков и Савостьянов, и начался совсем другой разговор. Марков стал приводить примеры жен, портящих мужьям жизнь.

— Каждый имеет жену, которую заслуживает, — сказал Соколов, посмотрел на часы и вышел из комнаты.

Савостьянов, посмеиваясь, сказал ему вслед:

— Если в троллейбусе одно место свободно, Марья Ивановна стоит, а Петр Лаврентьевич садится. Если ночью позвонит кто-нибудь, он уж не встанет с постели, а Машенька бежит в халатике спрашивать: кто там? Ясно: жена — друг человека.

— Я не из числа счастливцев, — сказал Марков. — Мне говорят: «Ты что, оглох, пойди открой дверь».

Штрум, вдруг озлившись, сказал:

— Ну, что вы, где нам... Петр Лаврентьевич светило, супруг!

— Вам-то что, Вячеслав Иванович, — сказал Савостьянов, — вы теперь и дни, и ночи в лаборатории, вне досягаемости.

— А думаете, мне не достается за это? — спросил Марков.

— Ясно, — сказал Савостьянов и облизнул губы, предвкушая свою новую остроту. — Сиди дома! Как говорят, мой дом — моя Петропавловская крепость.

Марков и Штрум рассмеялись, и Марков, видимо, опасаясь, что веселый разговор может затянуться, встал и сказал самому себе:

— Вячеслав Иванович, пора за дело.

Когда он вышел, Штрум сказал:

— Такой чопорный, с размеренными движениями, а стал, как пьяный. Действительно, дни и ночи в лаборатории.

— Да, да, — подтвердил Савостьянов, — он, как птица, строящая гнездо. Весь целиком ушел в работу!

Штрум усмехнулся:

— Он даже теперь светских новостей не замечает, перестал их передавать. Да, да, мне нравится, — как птица, строящая гнездо.

Савостьянов резко повернулся к Штруму.

Его молодое светлобровое лицо было серьезно.

— Кстати, о светских новостях, — сказал он, — должен сказать, Виктор Павлович, что вчерашняя ассамблея у Шишакова, на которую вас не позвали, это, знаете, что-то такое возмутительное, такое дикое...

Штрум поморщился, это выражение сочувствия казалось унизительным.

— Да бросьте вы, прекратите, — резко сказал он.

— Виктор Павлович, — сказал Савостьянов, — конечно, плевать на то, что Шишаков вас не позвал. Но вам ведь Петр Лаврентьевич рассказал, какую гнусь говорил Гавронов? Это же надо иметь наглость, сказать, что в работе вашей дух иудаизма и что Гуревич назвал ее классической только потому, что вы еврей. И сказать всю эту мерзость при молчаливых усмешечках начальства. Вот вам и «брат славянин».

Во время обеденного перерыва Штрум не пошел в столовую, шагал из угла в угол по своему кабинету. Думал ли он, что столько дряни есть в людях? Но молодец Савостьянов! А казалось, что пустой малый, с вечными остротами и фотографиями девиц в купальных костюмах. Да, в общем, все это пустяки. Болтовня Гавронова ничтожна — психопат, мелкий завистник. Никто не возразил ему, потому что слишком нелепо, смешно то, что он заявил.

И все же пустяки, мелочи волновали, мучили. Как же это Шишаков мог не позвать Штрума? Действительно, грубо, глупо. А особенно унизительно, что Штруму совершенно безразличен бездарный Шишаков и его вечеринки, а больно Штруму так, словно в его жизни случилось непоправимое несчастье. Он понимает, что это глупо, а сделать с собой ничего не может. Да, да, а еще хотел на яичко больше, чем Соколов, получить. Ишь ты!

Но одна вещь действительно по-серьезному жгла сердце. Ему хотелось сказать Соколову: «Как же вам не стыдно, друг мой? Как вы могли скрыть от меня, что Гавронов обливал меня грязью? Петр Лаврентьевич, вы и там молчали, вы и со мной молчали. Стыдно, стыдно вам!»

Но, несмотря на свое волнение, он тут же говорил самому себе: «Но ведь и ты молчишь. Ты ведь не сказал своему другу Соколову, в чем подозревает его родича Мадьярова Каримов? Промолчал! От неловкости? От деликатности? Врешь! Страха ради иудейска».

Видимо, судьба судила, чтобы весь этот день был тяжелым.

В кабинет вошла Анна Степановна, и Штрум, посмотрев на ее расстроенное лицо, спросил:

— Что случилось, Анна Степановна, дорогая? — «Неужели слышала о моих неприятностях?»

— Виктор Павлович, что ж это? — сказала она. — Вот так вот, за моей спиной, почему я заслужила такое?

Анну Степановну просили зайти во время обеденного перерыва в отдел кадров, там ей предложили написать заявление об уходе. Получено распоряжение директора об увольнении лаборантов, не имеющих высшего образования.

— Брехня, я понятия об этом не имею,— сказал Штрум,— я все улажу, поверьте мне.

Анну Степановну особенно обидели слова Дубенкова, что администрация ничего не имеет против нее лично.

— Виктор Павлович, что против меня можно иметь? Вы меня простите, ради бога, я вам помешала работать.

Штрум накинул на плечи пальто и пошел через двор к двухэтажному зданию, где помещался отдел кадров.

«Ладно, ладно,— думал он,— ладно, ладно». Больше он ничего не думал. Но в это «ладно, ладно» было много вложено.

Дубенков, здороваясь со Штрумом, проговорил:

— А я собрался вам звонить.

— По поводу Анны Степановны?

— Нет, зачем, в связи с некоторыми обстоятельствами ведущим работникам института нужно будет заполнить вот эту анкетку.

Штрум посмотрел на пачку анкетных листов и произнес:

— Ого! Да это на неделю работы.

— Что вы, Виктор Павлович. Только, пожалуйста, не проставляйте, в случае отрицательного ответа, черточек, а пишите: «нет, не был; нет, не состоял; нет, не имею» и так далее.

— Вот что, дорогой,— сказал Штрум,— надо отменить нелепый приказ об увольнении нашего старшего лаборанта Анны Степановны Лошаковой.

Дубенков сказал:

— Лошаковой? Виктор Павлович, как я могу отменить приказ дирекции?

— Да это черт знает что! Она Институт спасала, добро охраняла под бомбами. А ее увольняют по формальным основаниям.

— Без формального основания у нас никого не уволят с работы,— с достоинством сказал Дубенков.

— Анна Степановна не только чудный человек, она один из лучших работников нашей лаборатории.

— Если она действительно незаменима, обратитесь к Касьяну Терентьевичу,— сказал Дубенков.— Кстати, вы с ним согласуете еще два вопроса по вашей лаборатории.

Он протянул Штруму две скрепленные вместе бумажки.

— Тут по поводу замещения должности научного сотрудника по конкурсу.— Он заглянул в бумагу и медленно прочел: — Ландесман Эмилий Пинхусович.

— Да, это я писал,— сказал Штрум, узнав бумагу в руках Дубенкова.

— Вот тут резолюция Касьяна Терентьевича: «Ввиду несоответствия требованиям».

— То есть как?— спросил Штрум.— Несоответствия. Я-то знаю, что он соответствует, откуда же Ковченко знает, кто мне соответствует?

— Вот вы и утрясете с Касьяном Терентьевичем,— сказал Дубенков. Он заглянул во вторую бумагу и сказал: — А это заявление наших сотрудников, оставшихся в Казани, и тут ваше ходатайство.

— Да, что же?

— Касьян Терентьевич пишет: нецелесообразно, поскольку они продуктивно работают в Казанском университете, отложить рассмотрение вопроса до окончания учебного года.

Он говорил негромко, мягко, точно желая ласковостью своего голоса смягчить неприятное для Штрума известие, но в глазах его не было ласковости, одна лишь любопытствующая недоброта.

— Благодарю вас, товарищ Дубенков,— сказал Штрум.

Штрум снова шел по двору и снова повторял: «Ладно, ладно». Ему не нужна поддержка начальства, ему не нужна любовь друзей, душевная общность с женой, он умеет воевать в одиночку. Вернувшись в главный корпус, он поднялся на второй этаж.

Ковченко в черном пиджаке, вышитой украинской рубахе вышел из кабинета вслед за доложившей ему о приходе Штрума секретаршей и сказал:

— Прошу, прошу, Виктор Павлович, в мою хату.

Штрум вошел в хату, обставленную красными креслами и диванами. Ковченко усадил Штрума на диван и сам сел рядом.

Он улыбался, слушая Штрума, и его приветливость чем-то напоминала приветливость Дубенкова. Вот, вероятно, так же улыбался он, когда Гавронов произносил свою речь об открытии Штрума.

— Что же делать?— сокрушаясь, проговорил Ковченко и развел руками.— Не мы все это напридумывали. Она под бомбами была? Теперь это не считается заслугой, Виктор Павлович: каждый советский человек идет под бомбы, если только ему прикажет родина.

Потом Ковченко задумался и сказал:

— Есть возможность, хотя, конечно, будут придирки. Переведем Лошакову на должность препаратора. Энэровскую карточку мы ей сохраним. Вот — могу вам обещать.

— Нет, это оскорбительно для нее,— сказал Штрум.

Ковченко спросил:

— Виктор Павлович, что ж вы хотите, чтобы у советского государства были одни законы, а в лаборатории Штрума другие?

— Наоборот, я хочу, чтобы к моей лаборатории именно и применялись советские законы. А по советским законам Лошакову нельзя увольнять.

Он спросил:

— Касьян Терентьевич, если уж говорить о законах, почему вы не утвердили в мою лабораторию талантливого юношу Ландесмана?

Ковченко пожевал губами.

— Видите ли, Виктор Павлович, может быть, он по вашим заданиям и сможет работать успешно, но есть еще обстоятельства, с ними должно считаться руководство Института.

— Очень хорошо,— сказал Штрум и снова повторил: — Очень хорошо.

Шепотом он спросил:

— Анкета, да? Родственники за границей?

Ковченко неопределенно развел руками.

— Касьян Терентьевич, если уж продолжать этот приятный разговор,— сказал Штрум,— почему вы тормозите возвращение из Казани моей сотрудницы Анны Наумовны Вайспапир? Она, кстати, кандидат наук. В чем тут противоречие между моей лабораторией и государством?

Ковченко со страдальческим лицом сказал:

— Виктор Павлович, что вы меня допрашиваете? Я отвечаю за кадры, поймите вы это.

— Очень хорошо, очень хорошо,— сказал Штрум, чувствуя, что окончательно созрел для грубого разговора.— Вот что, уважаемый,— сказал он,— так работать я дальше не могу. Наука существует не для Дубенкова и не для вас. Я тоже здесь существую ради работы, а не для неясных мне интересов отдела кадров. Я напишу Алексею Алексеевичу, пусть назначит Дубенкова заведовать ядерной лабораторией.

Ковченко сказал:

— Виктор Павлович, право же, успокойтесь.

— Нет, я так работать не буду.

— Виктор Павлович, вы не представляете, как руководство ценит вашу работу, в частности я.

— А мне плевать, цените вы меня или нет,— сказал Штрум и увидел в лице Ковченко не обиду, а веселое удовольствие.

— Виктор Павлович,— сказал Ковченко,— мы ни в коем случае не допустим, чтобы вы оставили Институт.— Он нахмурился и добавил: — И вовсе не потому, что вы незаменимы. Неужели вы думаете, что некем уж заменить Виктора Павловича Штрума?— И совсем уж ласково закончил: — Неужели некем в России заменить вас, если вы не можете заниматься наукой без Ландесмана и Вайспапир?

Он смотрел на Штрума, и Виктор Павлович почувствовал — вот-вот

Ковченко скажет те слова, что все время, как незримый туман, вились между ними, касались глаз, рук, мозга.

Штрум опустил голову, и уже не было профессора, доктора наук, знаменитого ученого, совершившего замечательное открытие, умевшего быть надменным и снисходительным, независимым и резким.

Сутулый и узкоплечий, горбоносый, курчавый мужчина, сощурившись, точно ожидая удара по щеке, смотрел на человека в вышитой украинской рубахе и ждал.

Ковченко тихо проговорил:

— Виктор Павлович, не волнуйтесь, не волнуйтесь, право же, не волнуйтесь. Ну, что вы, ей-богу, из-за такой ерунды затеваете волынку.

54

Ночью, когда жена и дочь легли спать, Штрум взялся заполнять анкету. Почти все вопросы в анкете были те же, что и до войны. И потому, что они были прежними, они казались Виктору Павловичу странными, как-то по-новому тревожили его.

Государство было взволновано не тем, достаточен ли математический аппарат, которым Штрум пользовался в своей работе, соответствует ли монтируемая в лаборатории установка тем сложным опытам, которые будут проведены с ее помощью, хороша ли защита от нейтронного излучения, достаточна ли дружба и научная связь Соколова со Штрумом, подготовлены ли младшие сотрудники к производству утомительных расчетов, понимают ли они, как много зависит от их терпения, постоянного напряжения и сосредоточенности.

Это была царь-анкета, анкета анкет. Она хотела знать все об отце Людмилы, о ее матери, о дедушке и бабушке Виктора Павловича, о том, где они жили, когда умерли, где похоронены. В связи с чем отец Виктора Павловича, Павел Иосифович, ездил в 1910 году в Берлин? Государственная тревога была серьезна и хмура. Штрум, просмотрев анкету, сам заразился неуверенностью в своей надежности и подлинности.

1. Фамилия, имя отчество... Кто он, человек, вписывающий в анкетный лист в ночной час: Штрум, Виктор Павлович? Ведь, кажется, мать была с отцом в гражданском браке, ведь они разошлись, когда Вите исполнилось два года, ему помнится, в бумагах отца стояло имя Пинхус, а не Павел. Почему я Виктор Павлович? Кто я, познал ли я себя, а вдруг, по существу своему, я Гольдман, а может быть, я Сагайдачный? Или француз Дефорж, он же Дубровский?

И, полный сомнений, он принялся отвечать на второй вопрос.

2. Дата рождения... года... месяца... дня... укажите новый и старый стиль. Что знал об этом темном декабрьском дне, мог ли уверенно подтвердить, что именно в этот день родился он? Не указать ли, чтобы снять с себя ответственность, «со слов».

3. Пол... Штрум смело написал: «мужчина». Он подумал: «Ну, какой я мужчина, настоящий мужчина не смолчал бы после отстранения Чепыжина».

4. Место рождения старого (губ., уезд, волость и деревня) и нового (обл., край, район и село) районирования... Штрум написал: Харьков. Мать рассказывала ему, что родился он в Бахмуте, а метрику на него она выправила в Харькове, куда переехала через два месяца после рождения сына. Как быть, стоит ли делать оговорку?

5. Национальность... Вот пятый пункт. Такой простой, не значащий в довоенное время и какой-то чуть-чуть особенный сейчас.

Штрум, нажимая на перо, решительными буквами написал: «еврей». Он не знал, что будет вскоре значить для сотен тысяч людей ответить на пятый вопрос анкеты: калмык, балкарец, чеченец, крымский татарин, еврей...

Он не знал, что год от года будут сгущаться вокруг этого пятого пункта мрачные страсти, что страх, злоба, отчаяние, безысходность, кровь будут перебираться, перекочевывать в него из соседнего шестого пункта «социальное происхождение», что через несколько лет многие люди станут заполнять пятый пункт анкеты с чувством рока, с которым в прошлые десятилетия отвечали на соседний шестой вопрос дети казачьих офицеров, дворян и фабрикантов, сыновья священников.

Но он уже ощущал и предчувствовал сгущение силовых линий вокруг пятого вопроса анкеты. Накануне вечером ему позвонил по телефону Ландесман, и Штрум ему сказал, что ничего не получается с его оформлением. «Я так и предполагал», — сказал Ландесман злым, упрекающим Штрума голосом. «У вас непорядок в анкете?» — спросил Штрум. Ландесман фыркнул в трубку и сказал: «Непорядок выражен в фамилии».

Надя сказала во время вечернего чаепития:

— Знаешь, папа, Майкин папа сказал, что в будущем году в Институт международных отношений не примут ни одного еврея.

«Что же, — подумал Штрум, — еврей так еврей, ничего не попишешь».

6. Социальное происхождение... Это был ствол могучего дерева, его корни уходили глубоко в землю, его ветви широко расстилались над просторными листами анкеты: социальное происхождение матери и отца, родителей матери и отца... социальное происхождение жены, родителей жены... если вы в разводе, социальное происхождение бывшей жены, чем занимались ее родители до революции.

Великая революция была социальной революцией, революцией бедноты. В шестом вопросе, всегда казалось Штруму, естественно выражалось справедливое недоверие бедноты, возникшее за тысячелетия господства богатых.

Он написал «из мещан». Мещанин! Какой уж он мещанин. И вдруг, возможно, война сделала это, он усомнился в действительности бездны между справедливым советским вопросом о социальном происхождении и кровавым вопросом немцев о национальности. Ему вспомнились казанские вечерние разговоры, речь Мадьярова о чеховском отношении к человеку.

Он подумал: «Мне кажется моральным, справедливым социальный признак. Но немцам бесспорно моральным кажется национальный признак. А мне ясно: ужасно убивать евреев за то, что они евреи. Ведь они люди, каждый из них человек — хороший, злой, талантливый, глупый, тупой, веселый, добрый, отзывчивый, скаред. А Гитлер говорит: все равно, важно одно — еврей! И я всем существом протестую! Но ведь у нас такой же принцип — важно, что не дворянин, важно, что из кулаков, из купцов. А то, что они хорошие, злые, талантливые, добрые, глупые, веселые, — как же? А ведь в наших анкетах речь идет даже не о купцах, священниках, дворянах. Речь идет об их детях, внуках. Что же, у них дворянство в крови, как еврейство, они купцы, священники по крови, что ли? Ведь чушь. Софья Перовская была генеральская дочка, не просто генеральская, губернаторская. Гнать ее! А Комиссаров, полицейский прихвостень, который схватил Каракозова, ответил бы на шестой пункт: «Из мещан». Его бы приняли в университет. А ведь Сталин сказал: «Сын за отца не отвечает». Но ведь Сталин сказал: «Яблочко от яблони недалеко падает». Ну, что ж, из мещан так из мещан».

7. Социальное положение... Служащий? Служащий — бухгалтер, регистратор. Служащий Штрум математически обосновал механизм распада атомных ядер, служащий Марков хочет с помощью новой экспериментальной установки подтвердить теоретические выводы служащего Штрума.

«А ведь правильно, — подумал он, — именно служащий».

Он пожимал плечами, вставал, ходил по комнате, отстранял кого-то движением ладони. Потом Штрум садился за стол и отвечал на вопросы.

29. Привлекались ли вы или ваши ближайшие родственники к суду, следствию, были ли арестованы, подвергались ли наказаниям в судебном и административном порядке, когда, где и за что именно? Если судимость снята, то когда?..

Тот же вопрос, обращенный к жене Штрума. Холодок пробежал в груди. Здесь не до споров, здесь не шутят. В голове замелькали имена. Я уверен, что он ни в чем не виноват... человек не от мира сего... она была арестована за недонесение на мужа, кажется, дали восемь лет, не знаю точно, я не переписываюсь с ней, Темники, кажется, случайно узнал, встретил ее дочь на улице... не помню точно, он, кажется, был арестован в начале тридцать восьмого года, да, десять лет без права переписки...

Брат жены был членом партии, я с ним встречался редко; ни я, ни

жена с ним не переписываемся; мать жены, кажется, ездила к нему, да, да, задолго до войны, его вторая жена выслана за недонесение на мужа, она умерла во время войны, его сын — участник обороны Сталинграда, пошел добровольцем... Моя жена разошлась с первым мужем, сын от первого брака, мой пасынок, погиб на фронте, защищая Сталинград... Первый муж был арестован, с момента развода жена ничего не знает о нем... За что осужден, не знаю, туманно слышал — что-то вроде принадлежности к троцкистской оппозиции, но я не уверен, меня это совершенно не интересовало...

Безысходное чувство виновности, нечистоты охватило Штрума. Он вспомнил про каявшегося партийца, сказавшего на собрании: «Товарищи, я не наш человек».

И вдруг протест охватил его. Я не из смиренных и покорных! Садко меня не любит, и пусть! Я одинок, жена перестала интересоваться мной, пусть! А я не отрекусь от несчастных, невинно погибших.

Стыдно, товарищи, касаться всего этого! Ведь люди невинны, а уж дети, жены, в чем они виноваты? Покаяться надо перед этими людьми, прощения у них просить. А вы хотите доказать мою неполноценность, лишить меня доверия, потому что я нахожусь в родстве с невинно пострадавшими? Если я и виновен, то только в том, что мало помогал им в беде.

А второй ход мыслей, разительно противоположный, шел рядом в мозгу того же человека.

Я ведь не поддерживал с ними связи. Я не переписывался с врагами, я не получал писем из лагерей, я не оказывал им материальной поддержки, встречи с ними были редки, случайны...

30. Живет ли кто-либо из ваших родственников за границей (где, с каких пор, по каким причинам выехали)? Поддерживаете ли вы с ними связь?

Новый вопрос усилил его тоску.

Товарищи, неужели вы не понимаете, что в условиях царской России эмиграция была неизбежна! Ведь эмигрировала беднота, эмигрировали свободолюбивые люди, Ленин тоже ведь жил в Лондоне, Цюрихе, Париже. Почему же вы подмигиваете, читая о моих тетках и дядях, об их дочерях и сыновьях в Нью-Йорке, Париже, Буэнос-Айресе?.. Кто это из знакомых сострил: «Тетка в Нью-Йорке... Раньше я думал — голод не тетка, а оказывается, тетка — это голод».

Но действительно получалось, что список его родственников, живущих за границей, немногим меньше списка его научных работ. А если добавить список репрессированных...

Ну, вот, распластали человека. На свалку его! Чужак! Но ведь ложь, ложь! Он, а не Гавронов и Дубенков, нужен науке; он жизнь отдаст за свою страну. А мало ли людей с блистательными анкетами, способных обмануть, предать? Мало ли людей писали в анкетах: отец — жулик, отец — бывший помещик, — и отдали жизнь в бою, пошли в партизаны, пойдут на плаху?

Что ж это? Он-то знал: статистический метод! Вероятность! Большая вероятность встретить врага среди людей с нетрудовым прошлым, чем среди людей из пролетарской среды. Но ведь и немецкие фашисты, основываясь на большей или меньшей вероятности, уничтожают народы, нации. Этот принцип бесчеловечен. Он бесчеловечен и слеп. К людям мыслим лишь один подход — человеческий.

Виктор Павлович составит другую анкету, принимая людей в лабораторию, человеческую анкету.

Ему безразлично — русский, еврей, украинец, армянин — человек, с которым ему предстоит работать, рабочий, фабрикант, кулак ли его дедушка; его отношение к товарищу по работе не зависит от того, арестован ли его брат органами НКВД, ему безразлично, живут ли сестры его товарища по работе в Костроме или Женеве.

Он спросит: с какого возраста вас интересует теоретическая физика, как вы относитесь к эйнштейновской критике старика Планка, склонны ли вы к одним лишь математическим размышлениям или вас влечет и экспериментальная работа, как вы относитесь к Гейзенбергу, верите ли вы в возможность создать единое уравнение поля? Главное, главное — талант, огонь, искра божия.

Он бы спросил, если, конечно, товарищ по работе хотел бы отвечать, любит ли он пешие прогулки, пьет ли вино, ходит ли на симфонические концерты, нравились ли ему детские книги Сетона-Томпсона, кто ему ближе — Толстой или Достоевский, не увлекается ли он садоводством, рыболов ли он, как он относится к Пикассо, какой рассказ Чехова он считает лучшим.

Его интересовало бы, молчалив ли или любит поговорить его будущий товарищ по работе, добр ли он, остроумен ли, злопамятен ли, раздражителен, честолюбив, не станет ли затевать шашни с хорошенькой Верочкой Пономаревой.

Удивительно хорошо сказал об этом Мадьяров, так хорошо, что все думается, не провокатор ли он.

Господи, боже мой...

Штрум взял перо и написал: «Эсфирь Семеновна Дашевская, тетка со стороны матери, живет в Буэнос-Айресе с 1909 года, преподавательница музыки».

55

Штрум вошел в кабинет к Шишакову с намерением быть сдержанным, не произнести ни одного резкого слова.

Он понимал: глупо сердиться и обижаться на то, что в голове чиновного академика Штрум и его работа стояли на самых плохих, последних местах.

Но едва Штрум увидел лицо Шишакова, он почувствовал непреодолимое раздражение.

— Алексей Алексеевич, — сказал он, — как говорится, насильно мил не будешь, но вы ни разу не поинтересовались монтажом установки.

Шишаков миролюбиво сказал:

— Обязательно в ближайшее время зайду к вам.

Шеф милостиво обещал осчастливить Штрума своим посещением.

Шишаков добавил:

— Вообще-то мне кажется, что ко всем вашим нуждам руководство достаточно внимательно.

— Особенно отдел кадров.

Шишаков, полный миролюбия, спросил:

— Чем же мешает вам отдел кадров? Вы первый руководитель лаборатории, который делает такое заявление.

— Алексей Алексеевич, я тщетно прошу вызвать из Казани Вайспапир, она незаменимый специалист по ядерной фотографии. Я категорически возражаю против увольнения Лошаковой. Она замечательный работник, она замечательный человек. Я не представляю себе, как можно уволить Лошакову. Это бесчеловечно. И, наконец, я прошу утвердить подавшего на конкурс кандидата наук Ландесмана. Он талантливый парень. Вы все же недооцениваете значения нашей лаборатории. Иначе мне не пришлось бы тратить время на подобные разговоры.

— Я ведь тоже трачу время на эти разговоры, — сказал Шишаков.

Штрум, обрадовавшись, что Шишаков перестал говорить с ним миролюбивым тоном, мешавшим Штруму высказать свое раздражение, проговорил:

— Очень неприятно, что конфликты эти возникают в основном вокруг людей с еврейскими фамилиями.

— Вот оно что, — сказал Алексей Алексеевич и от мира перешел к войне. — Виктор Павлович, — сказал он, — перед Институтом поставлены ответственные задачи. Вам не нужно говорить, в какое трудное время эти задачи поставлены перед нами. Я полагаю, что ваша лаборатория не может полностью в настоящее время способствовать решению этих задач. А тут еще вокруг вашей работы, несомненно интересной, но столь же несомненно и спорной, был поднят чрезмерный шум.

Он внушительно сказал:

— Это не только моя точка зрения. Товарищи считают, что эта шумиха дезорганизует научных работников. Вчера со мной подробно говорили по этому поводу. Был высказан взгляд, что вам следовало бы задуматься над своими выводами, они противоречат материалистическим представлениям о природе вещества, вы сами должны выступить по этому по-

воду. Некоторые люди из неясных для меня соображений заинтересованы в том, чтобы спорные теории объявить генеральным направлением науки именно в пору, когда все силы наши должны быть обращены к задачам, поставленным войной. Все это крайне серьезно. Вы же пришли со страшными претензиями по поводу некоей Лошаковой. Простите, но я никогда не знал, что Лошакова — еврейская фамилия.

Штрум, слушая Шишакова, растерялся. Никто не высказывал прямо ему в глаза враждебного отношения к его работе. Сейчас впервые он услышал это от академика, руководителя Института, в котором он работал.

И, уже не боясь последствий, он сказал все то, что думал и что поэтому никак не следовало ему говорить.

Он сказал, что физике нет дела, подтверждает ли она философию. Он сказал, что логика математических выводов сильней, чем логика Энгельса и Ленина, и пусть Бадьин из отдела науки ЦК приспособляет взгляды Ленина к математике и физике, а не физику и математику к взглядам Ленина. Он сказал, что узкий практицизм губит науку, кем бы он ни был высказан, «даже самим господом богом»; лишь великая теория порождает великую практику. Он уверен, что кардинальные технические вопросы, и не только технические, будут еще в двадцатом веке решаться в связи с теорией ядерных процессов. Он охотно выскажется именно в этом духе, если товарищи, имен которых Шишаков ему не называет, считают нужным его выступление.

— А что касается вопроса о людях с еврейскими фамилиями, Алексей Алексеевич, то вам не следует отшучиваться, если вы действительно русский интеллигент, — сказал он. — В случае вашего отказа в моих просьбах я вынужден буду незамедлительно уйти из Института. Так работать я не могу.

Он перевел дыхание, посмотрел на Шишакова, подумал и сказал:

— Мне в таких условиях работать тяжело. Я не только физик, но я и человек. Мне стыдно перед людьми, которые ждут от меня помощи и защиты от несправедливости.

Он произнес сейчас «в таких условиях работать тяжело», у него не хватило запала второй раз повторить слова о незамедлительном уходе. Штрум увидел по лицу Шишакова, что тот заметил эту смягченную формулу.

И, может быть, именно поэтому Шишаков нажал:

— Нам нет смысла продолжать разговор на языке ультиматумов. Я, конечно, вынужден учесть ваши пожелания.

Странное, одновременно тоскливое и радостное, чувство владело Штрумом в течение всего дня. Приборы в лаборатории, новая установка, монтаж которой близился к концу, казались ему частью его жизни, мозга, тела. Как ему существовать отдельно от них?

Страшно было вспомнить о еретических словах, сказанных им директору. В то же время он ощущал себя сильным. Его беспомощность была одновременно и его силой. Но мог ли он думать, что в дни своего научного торжества, вернувшись в Москву, ему придется вести подобный разговор?

О его столкновении с Шишаковым никто не мог знать, но ему казалось, что сотрудники особенно сердечно сегодня относятся к нему.

Анна Степановна взяла его за руку и сжала ее.

— Виктор Павлович, я вас не хочу благодарить, но я знаю, что вы — это вы, — сказала она.

Он молча стоял возле нее, взволнованный и почти счастливый. «Мама, мама, — вдруг подумал он. — Видишь, видишь».

По дороге домой он решил ничего не говорить жене, но он не мог преодолеть привычки делиться с ней всем, что происходило с ним, и в передней, снимая пальто, проговорил:

— Ну вот, Людмила, ухожу из Института.

Людмила Николаевна расстроилась и огорчилась, но тут же сказала ему слова, которые были ему неприятны:

— Ты ведешь себя так, как будто ты Ломоносов или Менделеев. Уйдешь будет вместо тебя Соколов или Марков. — Она подняла голову от шитья. — Пусть твой Ландесман на фронт пойдет. А то действительно получается в представлении предубежденных людей: еврей еврея устраивает в оборонном институте.

— Ладно, ладно, хватит, — сказал он. — Помнишь, как у Некрасова сказано: «Думал бедняга в храм славы попасть, рад, что попал и в больницу». Я-то считал, что оправдал тот хлеб, что ел, а от меня покаяния требуют за грехи, за ересь. Нет, ты подумай только: выступить с покаяниями. Ведь это бред! И тут же меня дружно выдвигают на премию, студенты ходят. Это все Бадьин! Впрочем, какой уж там Бадьин, Садко меня не любит!

Людмила Николаевна подошла к нему, поправила ему галстук, одернула полу пиджака, спросила:

— Ты, вероятно, не обедал, очень бледный?

— Мне есть не хочется.

— Съешь пока хлеба с маслом, я разогрею обед.

Потом она накапала в рюмку сердечного лекарства, сказала:

— Выпей, не нравится мне твой вид, дай-ка пульс проверю.

Они пошли на кухню, Штрум жевал хлеб, поглядывал в зеркальце, которое Надя повесила у газового счетчика.

— Как странно, дико, — сказал он, — думал ли я в Казани, что мне придется заполнять стоэтажные анкеты, выслушивать то, что я сегодня выслушал. Какая мощь! Государство и человек... то вознесет его высоко, то в бездну бросит без труда.

— Витя, я хочу с тобой поговорить о Наде, — сказала Людмила Николаевна. — Почти каждый день она возвращается домой после комендантского часа.

— Ты уже говорила мне об этом на днях, — сказал Штрум.

— Я помню, что говорила. Вчера вечером я случайно подошла к окну, отдернула маскировку и вижу: Надя идет с каким-то военным, остановились возле магазина «Молоко», и стала с ним целоваться.

— Вот так так, — сказал Виктор Павлович и от удивления перестал жевать.

Надя целовалась с военным. Штрум несколько мгновений сидел молча, потом стал смеяться. Пожалуй, только одна эта ошеломляющая новость и могла отвлечь его от тяжелых мыслей, оттеснить его тревоги. На мгновение глаза их встретились, и Людмила Николаевна неожиданно для себя тоже рассмеялась. В этот миг возникло между ними то полное, возможное лишь в редкие минуты жизни, понимание, которому не нужны слова и мысли.

И для Людмилы Николаевны не было неожиданностью, когда Штрум, казалось, некстати проговорил:

— Мила, Мила, но согласись, ведь я правильно срезался с Шишаковым?

Это был простой ход мыслей, но не так уж просто было понять его. Здесь соединились мысль о прожитой жизни, о судьбе Толи и Анны Семеновны, о том, что война; сколько бы славы и богатства ни добыл человек, состарившись, он уйдет, умрет, а вместо него придут молодые ребята и что, может быть, самое важное пройти по жизни честно.

И Штрум спрашивал у жены:

— Ведь верно, правильно?

Людмила Николаевна отрицательно покачала головой. Десятилетия общности, слитности жизни умели и разделять.

— Знаешь, Люда, — сказал примиренно Штрум, — те, кто в жизни прав, часто не умеют себя вести — взрываются, грубят, бывают бестактны и нетерпимы, и их обычно винят во всех неурядицах и на работе и в семье. А те, кто не прав, обидчики, они умеют себя вести, логичны, спокойны, тактичны, всегда кажутся правыми.

Надя пришла в одиннадцатом часу. Услышав шум ключа в замке, Людмила Николаевна сказала мужу:

— Поговори с ней.

— Тебе удобней, не стану я, — сказал Виктор Павлович, но когда Надя, растрепанная и красноносая, вошла в столовую, он сказал: — С кем это ты целуешься перед парадной дверью?

Надя внезапно оглянулась, точно собираясь бежать, полуоткрыв рот, смотрела на отца.

Через мгновение она повела плечами и равнодушно проговорила:

— А... Андрюша Ломов, он сейчас в школе лейтенантов.

— Ты что ж, замуж за него собралась? — спросил Штрум, пораженный самоуверенным голосом Нади. Он оглянулся на жену, видит ли она Надю.

Словно взрослая, Надя, сощурив глаза, роняла раздраженно слова.

— Замуж? — переспросила она, и это слово, отнесенное к дочери, поразило Штрума. — Возможно, собралась!

Потом она добавила:

— А может быть, нет, я еще окончательно не решила.

Людмила Николаевна, все время молчавшая, спросила:

— Надя, зачем же ты лгала про какого-то Майкиного отца и уроки? Я никогда не лгала своей маме.

Штрум вспомнил, что в пору его ухаживания за Людмилой та говорила, приходя на свидание:

— Толю оставила маме, наврала ей, что иду в библиотеку.

Надя, вдруг вернувшись в свое ребяческое естество, плаксивым и злым голосом крикнула:

— А шпионить за мной хорошо? Твоя мама тоже шпионила за тобой?

Штрум в бешенстве рявкнул:

— Дура, не смей дерзить матери!

Она скучающе и терпеливо глядела на него.

— Так что ж, Надежда Викторовна, вы, следовательно, еще не решили, идете ли вы замуж или станете наложницей молодого полковника?

— Нет, еще не решила, во-вторых, он не полковник, — ответила Надя.

Неужели губы его дочери целует какой-то малый в военной шинели? Неужели в девчонку, Надьку, смешную, умную дуру, можно влюбиться, заглядывать ей в щенячьи глаза?

Но ведь это вечная история.

Людмила Николаевна молчала, понимая, что Надя сейчас будет злиться, отмалчиваться. Она знала, что, когда они останутся одни, она погладит дочку по голове, Надя всхлипнет, неизвестно почему, и Людмиле Николаевне сделается ее пронзительно жалко, тоже неизвестно почему, ведь в конце концов не так уж страшно для девушки поцеловаться с пареньком. И Надя ей все расскажет об этом Ломове, и она будет гладить дочку по волосам и вспоминать, как она сама впервые поцеловалась, и будет думать о Толе, ведь все, что происходит в жизни, она связывает с Толей. Толи нет.

Как печальна эта девичья любовь на краю военной бездны. Толя, Толя...

А Виктор Павлович шумел, охваченный отцовской тревогой.

— Где этот болван служит? — спрашивал он. — Я поговорю с его командиром, он ему покажет, как затевать романы с сопливыми.

Надя молчала, и Штрум, зачарованный ее надменностью, невольно примолк, потом спросил:

— Ты что взираешь на меня, как существо высшей расы на амебу?

Каким-то странным образом взгляд Нади напоминал ему о сегодняшнем разговоре с Шишаковым, — спокойный, самоуверенный Алексей Алексеевич смотрел на Штрума с высоты своего государственного и академического величия. Под взглядом светлых шишаковских глаз Штрум инстинктивно ощущал напрасность всех своих протестов, ультиматумов, волнений. Сила государственного порядка высилась базальтовой глыбой, и Шишаков со спокойным безразличием глядел на шебаршение Штрума, — не сдвинуть тому базальта.

И странно, но девочка, стоявшая сейчас перед ним, казалось, тоже сознавала, что он, бессмысленно волнуясь и сердясь, хочет совершить невозможное, остановить ход жизни.

А ночью Штрум думал о том, что он, порывая с Институтом, губит свою жизнь. Уходу его из Института придадут политический характер, скажут, что он стал источником нездоровых оппозиционных настроений; а тут война, Институт отмечен благосклонностью Сталина. А тут еще эта жуткая анкета...

А тут безумный разговор с Шишаковым. А тут еще разговоры в Казани. Мадьяров...

И вдруг ему сделалось так страшно, что захотелось написать примирительное письмо Шишакову и свести на нет все события сегодняшнего дня.

56

Днем, вернувшись из распределителя, Людмила Николаевна увидела, что в почтовом ящике белеет письмо. Сердце, сильно бившееся после подъема по лестнице, забилось еще сильней. Держа в руке письмо, она подошла к Толиной комнате, раскрыла дверь, комната была пуста: он и сегодня не вернулся.

Людмила Николаевна проглядела страницы, написанные знакомым ей с детства материнским почерком. Она увидела имена Жени, Веры, Степана Федоровича, имени сына не было в письме. Надежда снова отступила в глухой угол, но надежда не сдалась.

Александра Владимировна о своей жизни почти ничего не писала, лишь несколько слов о том, что Нина Матвеевна, квартирная хозяйка в Казани, после отъезда Людмилы проявила много неприятных черт. От Сережи, Степана Федоровича и Веры нет никаких известий. Тревожит Александру Владимировну Женя, видимо, у нее происходят какие-то серьезные события в жизни. Женя в письме к Александре Владимировне намекает на какие-то неприятности и на то, что, возможно, ей придется поехать в Москву.

Людмила Николаевна не умела грустить. Она умела горевать. Толя, Толя, Толя.

Вот Степан Федорович овдовел... Вера — бездомная сирота; жив ли Сережа, лежит ли где-нибудь искалеченный в госпитале? Отец его не то расстрелян, не то умер в лагере, мать погибла в ссылке... дом Александры Владимировны сгорел, она живет одна, не зная о сыне, о внуке...

Мать не писала о своей казанской жизни, о здоровье, о том, тепло ли в комнате, улучшилось ли снабжение.

Людмила Николаевна знала, почему мать ни словом не упомянула обо всем этом, и знание это было тяжело ей.

Пустым, холодным стал дом Людмилы. Точно в него попали какие-то ужасные невидимые бомбы, все рухнуло в нем, тепло ушло из него, он тоже в развалинах.

В этот день она много думала о Викторе Павловиче. Отношения их нарушены. Виктор раздражен против нее, стал холоден с нею, и особенно грустно то, что ей это безразлично. Слишком хорошо она его знает. Со стороны все кажется романтичным и возвышенным. Ей вообще не свойственно поэтическое и восторженное отношение к людям, а вот Марье Ивановне Виктор Павлович представлялся жертвенной натурой, возвышенным, мудрым, Маша любит музыку, даже бледнеет, когда слышит игру на рояле, и Виктор Павлович иногда играл по ее просьбе. Ее натуре нужен был, видимо, предмет преклонения, и она создала себе такой возвышенный образ, выдумала для себя несуществующего в жизни Штрума. Если бы Маша изо дня в день наблюдала Виктора, она бы быстро разочаровалась. Людмила Николаевна знала, что один лишь эгоизм движет поступками Виктора, он никого не любит. И теперь, думая о его столкновении с Шишаковым, она, полная тревоги и страха за мужа, испытывала одновременно привычное раздражение: он и своей наукой, и покоем близких готов пожертвовать ради эгоистического удовольствия покрасоваться, поиграть в защитника слабых.

Но вот вчера, волнуясь за Надю, он забыл о своем эгоизме. А мог бы Виктор, забыв обо всех своих тяжелых делах, волноваться за Толю? Вчера она ошиблась. Надя не была с ней по-настоящему откровенна. Что это — детское, мимолетное или судьба ее?

Надя рассказала ей о компании, где она познакомилась с этим Ломовым. Она довольно подробно говорила о ребятах, читающих несовременные стихи, об их спорах о новом и старом искусстве, об их презрительно-насмешливом отношении к вещам, к которым, казалось Людмиле, не должно быть ни презрительного, ни насмешливого отношения.

Надя охотно отвечала на вопросы Людмилы и, видимо, говорила правду: «Нет, не пьем, один только раз, когда мальчишку провожали на фронт», «О политике иногда говорят. Ну, конечно, не так, как в газетах, но очень редко, может быть, раз или два».

Но едва Людмила Николаевна начинала спрашивать о Ломове, Надя отвечала раздраженно: «Нет, он стихов не пишет». «Откуда я могу знать, кто его родители, конечно, ни разу не видела, почему странно? Ведь он понятия о папе не имеет, вероятно, думает, что он в продмаге торгует».

Что это — судьба Нади или бесследно забудется все через месяц?

Готовя обед, стирая, она думала о матери, Вере, Жене, о Сереже. Она позвонила по телефону Марье Ивановне, но к телефону никто не подошел, позвонила Постоевым, и работница ответила, что хозяйка уехала за покупками, позвонила в домоуправление, чтобы вызвать слесаря починить кран, ей ответили, что слесарь не вышел на работу.

Она села писать матери, казалось, что она напишет большое письмо, покается в том, что не смогла для Александры Владимировны создать нужные условия жизни, и та предпочитает жить в Казани одна. С довоенных времен завелось, что у Людмилы Николаевны никто из родных не гостил, не ночевал. Вот и теперь самые близкие люди не едут к ней в большую московскую квартиру. Письма она не написала, лишь порвала четыре листа бумаги.

Перед концом рабочего дня позвонил по телефону Виктор Павлович, сказал, что задержится в Институте, вечером приедут техники, которых он вызвал с военного завода.

— Новое что-нибудь есть? — спросила Людмила Николаевна.

— А, в этом смысле? — сказал он. — Нет, ничего нового.

Вечером Людмила Николаевна вновь перечла письмо матери, подошла к окну.

Светила луна, улица была пустынна. И снова она увидела Надю под руку с военным, они шли по мостовой к дому. Потом Надя побежала, а парень в военной шинели стоял посреди пустынной мостовой, смотрел, смотрел. И Людмила Николаевна словно соединила в своем сердце все, что казалось несоединимым. Ее любовь к Виктору Павловичу, ее тревога за него и ее злоба против него. Толя, который ушел, не поцеловав девичьих губ, и лейтенант, стоявший на мостовой, вот и Вера поднималась счастливая по лестнице своего сталинградского дома, и бесприютная Александра Владимировна...

И чувство жизни, бывшей единственной радостью человека и страшным горем его, наполнило ее душу.

57

У подъезда Института Штрум столкнулся с Шишаковым, тот выходил из машины.

Шишаков, здороваясь, приподнял шляпу, не выказав желания задержаться и поговорить с Виктором Павловичем.

«Худо мне», — подумал Штрум.

Профессор Свечин во время обеда, сидя за соседним столиком, смотрел мимо него и не заговаривал с ним. Толстый Гуревич, идя из столовой, с особой сердечностью говорил сегодня со Штрумом, долго жал ему руку, но, когда дверь директорской приемной приоткрылась, Гуревич внезапно простился и быстро пошел по коридору.

В лаборатории Марков, с которым Штрум разговаривал о подготовке оборудования для предстоящих фотографирований ядерных частиц, поднял голову от тетрадки с записями, сказал:

— Виктор Павлович, мне рассказывали, что на бюро парткома шел очень жесткий разговор о вас. Ковченко вышил вам кошелечек, сказал: «Не хочет Штрум работать в нашем коллективе».

— Вышил так вышил, — сказал Штрум и почувствовал, как стало подергиваться у него веко.

Во время разговора с Марковым о ядерных фотографиях у Штрума возникло чувство, словно уже не он, а Марков заведует лабораторией. У Маркова был неторопливый хозяйский голос, дважды к нему подходил Ноздрин, задавал вопросы по поводу монтажа аппаратуры.

Но неожиданно лицо Маркова стало жалобным, просящим, и он тихо сказал Штруму:

— Виктор Павлович, пожалуйста, на меня не ссылайтесь, если будете говорить об этом заседании парткома, а то у меня будут неприятности: выдал партийную тайну.

— Ну, что вы, — сказал Штрум.

Марков сказал:

— Все утрясется.

— Э, — сказал Штрум, — обойдутся и без меня. Экивоки вокруг оператора пси — собачий бред!

— Мне думается, что вы ошибаетесь, — сказал Марков. — Вот я вчера говорил с Кочкуровым, вы ведь знаете, он не витает в облаках. Он мне сказал: «В работе Штрума математика обгоняет физику, но, странное дело, она мне светит, сам не пойму почему».

Штрум понял, на что намекал Марков: молодой Кочкуров был энтузиастом работ, связанных с воздействием медленных нейтронов на ядра тяжелых атомов, утверждал, что эти работы связаны с практическими перспективами.

— Кочкуровы ничего не решают, — проговорил Штрум. — Решают Бадьины, а Бадьин считает, что я должен каяться в том, что тащу физиков в талмудическую абстракцию.

Видимо, в лаборатории все уже знали о конфликте Штрума с начальством и о вчерашнем заседании партийного комитета. Анна Степановна смотрела на Штрума страдающими глазами.

Штруму хотелось поговорить с Соколовым, но Соколов с утра уехал в Академию, а потом позвонил по телефону, что задержится и вряд ли уж приедет в Институт.

А Савостьянов был почему-то в отличном настроении, беспрерывно острил.

— Виктор Павлович, — сказал он, — почтенный Гуревич, ученый блестящий и выдающийся. — И при этом он провел ладонью по голове и животу, намекая на лысину и брюшко Гуревича.

Вечером, возвращаясь пешком из Института, Штрум на Калужской неожиданно встретился с Марьей Ивановной.

Она первой окликнула его. На ней было пальто, которого Виктор Павлович не видел раньше, и он не сразу узнал ее.

— Удивительно, — сказал он, — каким образом вы оказались на Калужской?

Она несколько мгновений молчала, глядя на него. Потом, покачав головой, сказала:

— Это не случайность, я хотела вас встретить, поэтому я и оказалась на Калужской.

Он смутился, слегка развел руками.

На мгновение сердце упало, ему показалось, она сейчас сообщит ему что-то очень страшное, предупредит об опасности.

— Виктор Павлович, — сказала она, — я хотела с вами поговорить. Петр Лаврентьевич мне рассказал обо всем.

— А, о моих замечательных успехах, — сказал Штрум.

Они пошли рядом, и могло показаться, что идут два незнаксмых человека.

Штрума стесняло ее молчание, и, искоса поглядев на Марью Ивановну, он сказал:

— Людмила меня ругает за эту историю. Вы, верно, тоже хотите сердиться на меня.

— Нет, я не сержусь, — сказала она. — Я знаю, что заставило вас поступить таким образом.

Он быстро посмотрел иа нее.

Она сказала:

— Вы думали о своей матери.

Он кивнул.

Потом она сказала:

— Петр Лаврентьевич не хотел вам говорить... ему рассказали, что против вас ополчились и дирекция и партийная организация, сн слышал,

что Бадьин сказал: «Это не просто истерика. Это политическая антисоветская истерика».

— Вот какая у меня истерика,— сказал Штрум.— А я ведь чувствовал, Петр Лаврентьевич не хочет мне рассказывать о том, что знает.

— Да, не хотел. И мне больно за него.

— Боится?

— Да, боится. И, кроме того, он считает, что вы принципиально не правы.

Она негромко сказала:

— Петр Лаврентьевич хороший, он очень много пережил.

— Да, да,— сказал Штрум,— это и больно: такой высокий, смелый ученый и такая несмелая душа.

— Он очень много пережил,— повторила Марья Ивановна.

— И все же,— сказал Штрум,— не вы, а он должен был мне сказать от этом.

Он взял ее под руку.

— Слушайте, Марья Ивановна,— сказал он,— скажите мне, что там с Мадьяровым? Я никак не пойму, что там произошло?

Его теперь постоянно тревожила мысль о казанских разговорах, часто вспоминались отдельные фразы, слова, зловещее предупреждение Каримова и одновременно подозрение Мадьярова. Ему казалось, что московские тучи над его головой неминуемо свяжутся с казанской говорильней.

— Я сама не пойму, что произошло,— сказала она.— Заказное письмо, которое мы послали Леониду Сергеевичу, вернулось в Москву. Переменил ли он адрес, уехал ли? Случилось ли самое худшее?

— Да, да, да,— пробормотал Штрум и на мгновение растерялся. Марья Ивановна, видимо, думала, что Соколов рассказал Штруму о посланном и вернувшемся письме. А Штрум понятия не имел об этом письме, Соколов ничего не сказал ему. Штрум спросил ее, что произошло, имея в виду ссору Мадьярова с Петром Лаврентьевичем.

— Давайте зайдем в Нескучный,— сказал он.

— Но ведь мы идем не в ту сторону.

— Есть вход и со стороны Калужской,— сказал он.

Ему хотелось расспросить ее подробней о Мадьярове, о его подозрениях по отношению к Каримову, о подозрениях Каримова. В пустынном Нескучном саду им никто не помешает. Марья Ивановна сразу поймет всю важность этого разговора. Он чувствовал, что может говорить с ней свободно и доверчиво обо всем тревожащем его, что она будет с ним откровенна.

Накануне началась оттепель. По склонам холмов в Нескучном саду, из-под растаявшего снега кое-где выглядывали мокрые прелые листья, но в овражках снег был плотным. Над головой стояло облачное унылое небо.

— Какой хороший вечер,— сказал Штрум, вдыхая сырой, холодный воздух.

— Да, хорошо, ни души, точно за городом.

Они шли по грязным дорожкам. Когда попадалась лужа, он протягивал Марье Ивановне руку и помогал ей перейти.

Они долго шли молча, и ему не хотелось начинать разговор ни о войне, ни об институтских делах, ни о Мадьярове и о своих опасениях, предчувствиях, подозрениях, хотелось молча идти рядом с маленькой, неловко и в то же время легко шагающей женщиной и испытывать чувство безумной легкости, покоя, непонятно почему пришедшее к нему.

И она ни о чем не заговаривала, шла, немного опустив голову.

Они вышли на набережную, на реке стоял темный лед.

— Хорошо,— сказал Штрум.

— Да, очень,— ответила она.

Асфальтированная дорожка на набережной была сухой, они зашагали быстро, как два путника в дальней дороге. Им встретились раненый военный, лейтенант, и низкорослая, плечистая девушка в лыжном костюме. Они шли в обнимку и время от времени целовались. Поравнявшись со Штрумом и Марьей Ивановной, они снова поцеловались, оглянулись, рассмеялись.

«Вот, может быть, Надя так ходила здесь со своим лейтенантом»,— подумал Штрум.

Марья Ивановна оглянулась на парочку и сказала:

— Как грустно.— И, улыбнувшись, добавила: — Мне Людмила Николаевна говорила о Наде.

— Да, да,— сказал Штрум.— Удивительно это странно.

Потом он сказал:

— Решил позвонить директору Электромеханического института, предлагаться. А если не возьмут, уеду куда-нибудь в Новосибирск, Красноярск.

— Что же делать,— сказала она,— видимо, так надо. Вы иначе не могли поступить.

— Как все это грустно,— проговорил он.

Ему хотелось рассказать ей, что он с какой-то особенной силой ощущает любовь к работе, к лаборатории, что, глядя на установку, которая скоро будет проходить первые испытания, он радуется и горюет, ему кажется, что он будет приходить ночью к Институту, заглядывать в окна. Он подумал, что Марья Ивановна в его словах ощутит желание порисоваться, и промолчал.

Они подошли к выставке трофеев. Замедлив шаги, они осматривали окрашенные в серый цвет немецкие танки, пушки, минометы, самолет с черной свастикой на крыльях.

— Даже немые и неподвижные страшно смотреть,— сказала Марья Ивановна.

— Ничего,— сказал Штрум,— надо себя утешать тем, что в будущей войне все это будет выглядеть невинно, как мушкеты и алебарды.

Когда они подходили к воротам парка, Виктор Павлович сказал:

— Вот и кончилась наша прогулка, как жалко, что Нескучный сад так невелик. Вы не устали?

— Нет, нет,— сказала она,— я ведь привыкла, много хожу пешком.

То ли она не поняла его слов, то ли сделала вид, что не поняла их.

— Знаете,— сказал он,— почему-то наши с вами встречи всегда зависят от ваших встреч с Людмилой, моих с Петром Лаврентьевичем.

— Да, да,— сказала она.— А как же иначе?

Они вышли из парка, и шум города охватил их, разрушая прелесть молчаливой прогулки. Они вышли на площадь недалеко от того места, где встретились.

Глядя на него снизу вверх, как девочка на взрослого, она сказала:

— Вы, вероятно, теперь особенно чувствуете любовь к своей работе, лаборатории, приборам. Но ведь вы не могли иначе поступить, другой бы мог, а вы не могли. А я плохое рассказала вам, но, мне кажется, всегда лучше знать правду.

— Спасибо, Марья Ивановна,— сказал Штрум, пожимая ей руку.— Спасибо не только за это.

Ему показалось, что ее пальцы дрогнули в его руке.

— Странно,— сказала она,— мы с вами прощаемся почти на том же месте, где встретились.

Он шутливо сказал:

— Недаром древние говорили: и в конце пребывает начало.

Она наморщила лоб, видимо, вдумываясь в его слова, потом рассмеялась, сказала:

— Не поняла.

Штрум смотрел ей вслед: невысокая, худенькая женщина, из тех, на которых встречные мужчины никогда не оглядываются.

58

Редко Даренский переживал такие тоскливые недели, как во время своей командировки в Калмыцкую степь. Он послал телеграмму фронтовому начальству, что пребывание его на крайнем левом фланге, где царит полное затишье, больше не нужно, что задание свое он выполнил. Но начальство с непонятным Даренскому упорством не отзывало его.

Самыми легкими были часы работы, самым тяжелым было время отдыха.

Кругом был песок, сыпучий, сухой, шуршащий. Была, конечно, жизнь и здесь — шуршали в песке ящерицы и черепахи, оставляя хвостами следы в песчаной россыпи, росла кое-где хрусткая, под цвет песка, колючка, кружили в воздухе коршуны, высматривая падаль и отбросы, бежали на высоких лапах пауки.

Нищета суровой природы, холодное однообразие ноябрьской бесснежной пустыни, казалось, опустошили людей, — не только быт их, но и мысли были бедны, однообразно тоскливы.

Постепенно Даренский подчинился этому унылому песчаному однообразию. Он был всегда равнодушен к еде, а здесь он постоянно думал об обеде. Кислая болтушка из шрапнельной крупы и моченых помидоров на первое, каша из шрапнельной крупы на второе стали кошмаром его жизни. Сидя в полутемном сарайчике за дощатым столом, залитым лужами супа, глядя на людей, хлебавших из плоских жестяных мисок, он испытывал тоску, хотелось поскорей уйти из столовой, не слышать стука ложек, не ощущать тошнотного запаха. Но он выходил на воздух, и столовая снова влекла его к себе, он думал о ней, высчитывая часы до завтрашнего обеда.

По ночам в хибарках было холодно, и спал Даренский плохо — мерзли спина, уши, ноги, пальцы рук, стыли щеки. Спал он не раздеваясь, наматывал на ноги две пары портянок, голову повязывал полотенцем.

Вначале он удивлялся, что люди, с которыми он имел здесь дело, казалось, не думали о войне, головы их были забиты вопросами жратвы, курева, стирки. Но вскоре и Даренский, говоря с командирами дивизионов и батарей о подготовке орудий к зиме, о веретенном масле, об обеспечении боеприпасами, заметил, что и его голова полна всяких бытовых тревог, надежд и огорчений.

Штаб фронта казался недосягаемо далеким, он мечтал о меньшем — съездить на денек в штаб армии, под Элисту. Но, думая об этой поездке, он не представлял себе встречи с синеглазой Аллой Сергеевной, а размышлял о бане, о постиранном белье, о супе с белой лапшой.

Даже ночевка у Бовы представлялась ему теперь приятной, не так уж плохо было в хибарке Бовы. Да и разговор с Бовой был не о стирке, не о супе.

Особенно мучили его вши.

Долгое время он не понимал, почему так часто стал почесываться, не замечал понимающей улыбки собеседника, когда во время служебного разговора вдруг свирепо скреб подмышку или ляжку. День ото дня он чесался все усердней. Привычным стали жжение и зуд возле ключиц, под мышками.

Ему казалось, что у него началась экзема, и он объяснял ее тем, что кожа у него стала сухой, раздражена пылью и песком.

Иногда зуд был таким томящим, что он, идя по дороге, неожиданно останавливался и начинал скрести ногу, живот, копчик.

Особенно сильно чесалось тело ночью. Даренский просыпался и с остервенением долго драл ногтями кожу на груди. Однажды он, лежа на спине, задрал кверху ноги и, стеная, стал чесать икры. Экзема усиливалась от тепла, он подметил это. Под одеялом тело чесалось и жгло совершенно нестерпимо. Когда он выходил ночью на морозный воздух, зуд стихал. Он подумывал сходить в медсанбат, попросить мазь от экземы.

Как-то утром он оттянул ворот рубахи и увидел на воротнике вдоль швов шеренгу сонных, матерых вшей. Их было много. Даренский со страхом, стыдясь, оглянулся на лежавшего по соседству с ним капитана, капитан уже проснулся, сидел на койке и с хищным лицом давил на своих раскрытых подштанниках вшей. Губы капитана беззвучно шептали, он, видимо, вел боевой счет.

Даренский снял с себя рубаху и занялся тем же делом.

Утро было тихое, туманное. Стрельбы не было слышно, самолеты не гудели, и потому, должно быть, особенно ясно слышалось потрескивание вшей, погибавших под командирскими ногтями.

Капитан, мельком поглядев на Даренского, пробормотал:

— Ох и здорова — медведица! Свиноматка, должно быть.

Даренский, не отрывая глаз от ворота рубахи, сказал:

— Неужели не выдают порошка?

— Дают, — сказал капитан. — Да что толку. Баню надо, а тут питьевой воды не хватает. Посуду в столовой почти не моют, экономят воду. Где уж тут баня.

— А вошебойки?

— Да ну их. Только обмундирование горит, а вошь лишь румяней становится. Эх, в Пензе мы стояли, в резерве, вот жили! Я в столовую даже не ходил. Хозяйка кормила, еще не старая баба, сочная. Два раза в неделю баня, пиво ежедневно.

Он нарочно вместо «Пенза» произносил «Пёнза».

— Что же делать? — спросил Даренский. — До Пёнзы далеко.

Капитан, серьезно глядя на него, доверительно сказал:

— Есть один хороший способ, товарищ подполковник. Нюхательный табак! Натолочь кирпича и смешать с нюхательным табаком. Посыпать белье. Вошь начнет чихать, мотнется, ну и раздробит себе башку о кирпич.

Лицо его было серьезно, и Даренский не сразу понял, что капитан обратился к фольклору.

Через несколько дней Даренский услышал с десяток историй на эту тему. Фольклор оказался богато разработан.

Дни и ночи голова его теперь была занята множеством вопросов: питание, стирка белья, смена обмундирования, порошок, утюжка вшей с помощью горячей бутылки, вымораживание вшей, выжигание вшей. Он и о женщинах перестал думать, и ему вспомнилась поговорка, которую он слышал в лагере от уголовников: «Жить будешь, а бабу не захочешь».

59

Весь день Даренский провел на позициях артиллерийского дивизиона. За день не слышал он ни одного выстрела, ни один самолет не появлялся в воздухе.

Командир дивизиона, молодой казах, сказал ему, чисто чеканя русские слова:

— Вот, думаю, на будущий год бахчу здесь развести. Приезжайте дыньки кушать.

Командиру дивизиона здесь не было плохо, он шутил, показывая белые зубы, легко и быстро ходил на кривых, коротких ногах по глубокому песку, дружелюбно поглядывал на верблюдов, стоявших в упряжке возле хибарок, покрытых лоскутами толя.

Но хорошее настроение молодого казаха раздражало Даренского, и он, желая одиночества, к вечеру пошел на огневые позиции первой батареи, хотя уже днем побывал там.

Взошла луна, невероятно огромная, больше черная, чем красная. Багровея от усилий, она подымалась в прозрачной черноте небес, и в ее гневном свете совсем особо, тревожно и настороженно выглядела ночная пустыня, длинноствольные пушки, противотанковые ружья и минометы. По дороге потянулся караван верблюдов, запряженных в скрипящие деревенские подводы, груженные ящиками со снарядами и сеном, и все несоединимое соединялось — тракторы-тягачи, и автофургон с типографской техникой армейской газеты, и тонкая мачта рации, и длинные верблюжьи шеи, и плавная, волнистая верблюжья походка, такая, словно во всем верблюжьем теле не было ни одной твердой кости, а все оно было отлито из каучука.

Верблюды прошли, в морозном воздухе встал деревенский запах сена. Вот такая же, больше черная, чем красная, выплывала огромная луна над пустынным полем, где сражалась дружина Игоря. Вот такая же луна стояла в небе, когда полчища персов шли в Грецию, римские легионы вторгались в германские леса, когда батальоны первого консула встречали ночь у пирамид.

Человеческое сознание, обращаясь к прошедшему, всегда просеивает сквозь скупое сито сгусток великих событий, отсеивает солдатские страдания, смятение, солдатскую тоску. В памяти остается пустой рассказ, как были построены войска, одержавшие победу, и как были построены войска, потерпевшие поражение, число колесниц, катапульт,

слонов либо пушек, танков и бомбардировщиков, принимавших участие в битве. В памяти сохранится рассказ о том, как мудрый и счастливый полководец связал центр и ударил во фланг и как внезапно появившиеся из-за холмов резервы решили исход сражения. Вот и все, да обычный рассказ о том, что счастливый полководец, вернувшись на родину, был заподозрен в намерении свергнуть владыку и поплатился за спасение отечества головой либо счастливо отделался ссылкой.

А вот созданная художником картина прошедшей битвы: огромная тусклая луна низко нависла над полем славы — спят, раскинув широко руки, богатыри, закованные в кольчуги, валяются разбитые колесницы либо подорванные танки, и вот победители с автоматами, в развевающихся плащ-палатках, в римских касках с медными орлами, в меховых гренадерских шапках.

Даренский, нахохлившись, сидел на снарядном ящике на огневых позициях артиллерийской батареи и слушал разговор двух красноармейцев, лежавших под шинелями у орудий. Командир батареи с политруком ушли в штаб дивизиона, подполковник, представитель штаба фронта — артиллеристы узнали, кто он, у связного, — казалось, крепко заснул. Красноармейцы блаженно дымили самокрутками, выпускали клубы теплого дыма.

Это, видимо, были два друга, связанные тем чувством, которое всегда отличает истинных друзей, уверенностью, что каждая пустая мелочь, происшедшая в жизни одного, всегда значительна и интересна для другого.

— И что? — спрашивал, как будто насмешливо и безразлично, один.

А второй, как будто нехотя, отвечал:

— Что, что, разве ты его не знаешь? У человека ноги болят, человек не может в этих ботинках.

— Ну и что?

— Вот и остался в ботинках, не босиком же ходить.

— Да, значит, не дал сапог, — проговорил второй, и в голосе его не было следа насмешки и безразличия, он весь был полон интереса к событию.

Затем они заговорили о доме.

— Что баба пишет? Того нет и этого нет, то мальчишка болеет, то девчонка болеет. Ну, баба, знаешь.

— А моя так прямо пишет: вам-то на фронте что, у вас пайки, а мы тут совсем пропадаем от военных трудностей.

— Бабий ум, — сказал первый, — она сидит себе в глубоком тылу и понять не может, что на передовой. Она твой паек видит.

— Точно, — подтвердил второй, — она не достала керосину и уж думает, что хуже этого дела на свете нет.

— Ясно, в очереди постоять трудней, чем в песках этих от танков бутылками отбиваться.

Он сказал про танки и бутылки, хотя и он, и собеседник его знали, что немцы ни разу не пускали здесь танков.

И тут же, не закончив возникшего и здесь, в ночной военной пустыне, вечного семейного разговора — кому больше тяжести выпало в жизни, мужчине или женщине, один нерешительно сказал:

— Моя, между прочим, больная, у нее с позвоночником неувязка, подымет тяжелое и лежит потом неделю.

И снова казалось, разговор совершенно изменился, они заговорили о том, какие кругом безводные, окаянные места.

Тот, что лежал поближе к Даренскому, проговорил:

— Разве она от вредности пишет, просто не понимает.

И первый артиллерист добавил, чтобы отказаться от злых слов, что говорил с солдатских женах, и одновременно не отказаться от них:

— Точно. Это я от дурости.

Потом они подымили, помолчали и заговорили о безопасных бритвенных лезвиях и опасных бритвах, о новом кителе командира батареи, о том, что все равно, как ни тяжело, а жить на свете хочется.

— А погляди, ночь-то какая, знаешь, я еще в школе учился, картину такую видел: стоит луна над полем, и кругом лежат побитые богатыри.

— Что ж тут похожего, — рассмеялся второй, — то богатыри, а мы что, воробьиного рода, наше дело телячье.

60

Нарушая тишину, вправо от Даренского раздался разрыв. «Сто три миллиметра», — определило привычное ухо. В мозгу пронеслись мысли, обычно связанные с разрывами вражеских мин и снарядов: «Случайный? Единичный? Пристрелка? Не взял бы в вилку. А вдруг огневой налет? А не пустили ли танки?»

Все привычные к войне люди прислушались, подумали примерно то же, что подумал Даренский.

Люди, привычные к войне, умеют из сотни звуков отличить один, истинно тревожный. Сразу же, чем бы ни занят был солдат, держал ли в руке ложку, чистил ли винтовку, писал ли письмо, ковырял ли пальцем в носу, читал ли газетку или был поглощен полным бездумьем, которое посещает иногда в свободные минуты солдата, — он мгновенно поворачивает голову, тянет жадное, умное ухо.

И тотчас же получился ответ. Несколько разрывов послышалось справа, затем слева, и все вокруг затрещало, загремело, задымилось, задвигалось.

Это был огневой налет!

Сквозь дым, пыль, песок прорезывался огонь взрывов, и из огня взрывов прорывался дым.

Люди бежали, падали.

Пустыню огласил режущий вопль. Мины стали рваться вблизи верблюдов, и животные, опрокидывая подводы, бежали, волоча за собой обрывки упряжки. Даренский, не обращая внимания на рвущиеся снаряды и мины, встал во весь рост, потрясенный ужасным зрелищем.

В его мозгу с необычайной яркостью пронеслась мысль о том, что здесь он видит последние дни своей родины. Чувство обреченности охватило его. Этот страшный крик мечущихся среди песков верблюдов, эти русские тревожные голоса, эти бегущие к укрытиям люди! Погибала Россия! Погибала здесь, загнанная в холодные приазиатские пески, погибала под угрюмой и равнодушной луной, и милая, бесконечно любимая им русская речь слилась с воплями ужаса и отчаяния разбегавшихся, покалеченных немецкими минами верблюдов.

В горькую минуту он испытал не гнев, не ненависть, а чувство братства ко всему слабому и бедному, живущему в мире; почему-то всплыло темное, старое лицо калмыка, встреченного им в степи, и показалось ему близким, давно знакомым.

«Что ж делать, суждено», — подумал он и понял, что жить на свете ему не нужно, если поражение свершится.

Он оглядел бойцов, засевших в щелях, приосанился, готовый принять на себя командование батареей в безрадостном бою, закричал:

— Эй, телефонист, сюда! Ко мне!

А грохот разрывов вдруг стих.

В эту ночь по указанию Сталина три командующих фронтами — Ватутин, Рокоссовский и Еременко отдали войскам приказ о наступлении, решившем в течение ста часов судьбу Сталинградского сражения, судьбу трехсоттридцатитысячной армии Паулюса, определившем перелом в ходе войны.

В штабе Даренского ждала телеграмма: ему предлагалось выехать в танковый корпус полковника Новикова и информировать группу Генерального штаба о боевых действиях корпуса.

61

Вскоре после праздника Октябрьской революции немецкая авиация вновь произвела массированный налет на Стальгрэс. Восемнадцать бомбардировщиков сбросили тяжелые бомбы на станцию.

Облака дыма закрыли развалины, истребительная сила германской авиации полностью приостановила работу станции.

После этого налета у Спиридонова стали сильно дрожать руки; поднося кружку ко рту, он расплескивал чай, а иногда вынужден был ставить кружку обратно на стол, чувствуя, что дрожащие пальцы не в силах ее удержать. Пальцы переставали дрожать лишь после того, как он выпивал водки.

Руководство стало отпускать рабочих, и они переправлялись и на попутных средствах через Волгу и Тумак уходили степью на Среднюю Ахтубу и Ленинск.

Руководители станции запросили Москву, просили разрешения уехать, их пребывание на линии фронта среди разрушенных цехов теряло смысл. Москва медлила с ответом, и Спиридонов сильно нервничал. Парторг Николаев сразу же после налета был вызван ЦК и улетел на «дугласе» в Москву.

Спиридонов и Камышов слонялись среди развалин станции и уговаривали друг друга, что им тут делать больше нечего, надо сматываться. А Москва все молчала.

Степана Федоровича особенно волновала судьба Веры. После переправы на левый берег Волги она почувствовала себя плохо и не смогла поехать в Ленинск. Проехать почти сто километров по разбитой дороге в кузове грузовика, подскакивавшего и ухавшего по замерзшим, окаменевшим комьям грязи, было для нее в последние месяцы беременности совершенно невозможно.

Знакомые рабочие отвели ее на вмерзшую в лед у берега баржу, превращенную в общежитие.

Вскоре после второй бомбежки станции Вера прислала отцу записку с механиком катера. Она просила отца не беспокоиться — ей предоставили место в трюме, в удобном куточке за перегородкой. Среди эвакуированных имеется медицинская сестра из бекетовской поликлиники и старуха акушерка; в четырех километрах от баржи расположен полевой госпиталь, и в случае каких-нибудь осложнений всегда можно будет позвать врача. На барже есть кипятильник, печь, еду готовят сообща из продуктов, которые посылает обком партии.

Хотя Вера просила отца не беспокоиться, каждое слово в ее записке наполняло Степана Федоровича тревогой. Пожалуй, лишь одно утешало его: Вера писала, что за время боев баржу ни разу не бомбили. Если б Степан Федорович перебрался на левый берег, он бы, конечно, сумел достать легковую либо санитарную машину, довез Веру хотя бы до Средней Ахтубы.

А Москва все молчала, не отзывала директора и главного инженера, хотя теперь на разрушенном Стальгрэсе нужен был лишь небольшой отряд военизированной охраны. Рабочим и техническому персоналу не было охоты мотаться без дела на станции, все тотчас, получив разрешение Спиридонова, уходили на переправу.

Лишь старик Андреев не захотел взять у директора справку на форменном бланке за круглой печатью.

Когда Степан Федорович после налета предложил Андрееву поехать в Ленинск, где жили невестка с внуком, Андреев сказал:

— Нет, я тут останусь.

Ему казалось, что на сталинградском берегу он сохраняет связь со своей прежней жизнью. Может быть, через некоторое время он доберется до тракторозаводского поселка. Он будет ходить среди сгоревших, разбитых домов, придет в садик, насаженный женой, поднимет, подправит сломанные деревца, проверит, на месте ли закопанные вещи, потом сядет на камешек у поваленного забора.

— Ну вот, Варвара, значит, так, швейная машина на месте, даже не заржавела, яблоня, что у забора, пропала совсем, ее осколком срезало, а в подвале кислая капуста в кадушке только сверху заплесневела.

Степану Федоровичу хотелось посоветоваться о своих делах с Крымовым, но после Октябрьской годовщины Крымов на Стальгрэсе больше не появлялся.

Спиридонов и Камышов решили ждать до 17 ноября и тогда уходить — делать на Стальгрэсе действительно нечего было. А немцы продолжали время от времени обстреливать станцию, и Камышов, сильно нервничавший после массированного налета, говорил:

— Степан Федорович, у них, наверное, разведка ни к черту, раз продолжают бить. В любой час может авиация снова ударить. Знаете немцев, будут, как бык, долбить по пустому месту.

Восемнадцатого ноября, простившись с охраной, поцеловав Андреева, оглядев в последний раз развалины станции, Степан Федорович покинул Стальгрэс, так и не дождавшись формального разрешения Москвы.

Много, честно, тяжело поработал он на Стальгрэсе в пору сталинградских боев. Тем тяжелей и достойней был его труд, что он боялся войны, не привык к фронтовым условиям, постоянно трусил при мыслях о налетах, млел при бомбежках — и все же работал.

Он шел с чемоданом и узелком на плече и оглядывался, махал рукой Андрееву, стоявшему у разрушенных ворот, оглядывался на итээровский дом с выбитыми стеклами, на угрюмые стены турбинного цеха, на легкий дымок над продолжавшими гореть масляными изоляторами.

Он ушел со Стальгрэса, когда стал там не нужен, ушел за день до начала наступления советских войск.

Но этот один день, до которого он не дотянул, перечеркнул в глазах многих людей всю его честную, трудную работу; готовые называть его героем, они стали называть его трусом и дезертиром.

И сам он надолго сохранил в душе мучительное чувство, вспоминал, как шел, оглядывался, махал рукой, а хмурый одинокий старик стоял у станционных ворот и смотрел на него.

62

Вера родила сына.

Она лежала в трюме баржи на сколоченной из нетесаных досок койке, женщины для тепла навалили на нее тряпья, рядом с ней лежал завернутый в простынку ребенок, и когда кто-нибудь, входя к ней, отодвигал занавеску, она видела людей, мужчин и женщин, барахло, свисающее с верхних нар, до нее доносился гул голосов, детский крик и возня. Туман стоял в ее голове, туман стоял в чадном воздухе.

В трюме было душно и в то же время очень холодно, на дощатых стенах кое-где выступила изморозь. Люди ночью спали, не снимая валенок и ватников, женщины весь день кутались в платки и рваные одеяла, дули на мерзнущие пальцы.

Свет едва проходил через крошечное окошко, прорезанное почти на уровне льда, и днем в трюме стоял полумрак. А вечерами жгли коптилки — лампочки без стекол. От копоти лица людей были черные. Когда с трапа открывали люк, в трюм врывались клубы пара, словно дым от взорвавшегося снаряда.

Патлатые старухи расчесывали седые, серые волосы, старики сидели на полу с кружками кипяточку среди пестрых подушек, узлов, деревянных чемоданов, по которым ползали, играя, обвязанные платками дети.

Оттого, что ребенок лежал у ее груди, Вере казалось, что изменились ее мысли, изменилось ее отношение ко всем людям, изменилось ее тело.

Она думала о своей подруге Зине Мельниковой, о старухе Сергеевне, ухаживавшей за ней, о весне, о матери, о порванной рубахе, о ватном одеяле, о Сереже и о Толе, о стиральном мыле, о немецких самолетах, о стальгрэсовском блиндаже, о своих немытых волосах, — и все, что приходило ей в голову, напитывалось чувством к рожденному ею ребенку, связывалось с ним, значило и не значило в связи с ним.

Она смотрела на свои руки, на свои ноги, на свою грудь, пальцы. Это уже не были руки, игравшие в волейбол, писавшие сочинения, листавшие книгу. Это не были ноги, взбегавшие по школьным ступенькам, бившие по теплой речной воде, обожженные крапивой, ноги, на которые смотрели, оглядывая Веру, прохожие на улице.

И, думая о ребенке, она одновременно думала о Викторове.

Аэродромы расположены в Заволжье, Викторов рядом, Волга уже не разделяет их.

Вот сейчас зайдут в трюм летчики, и она спросит: «Вы лейтенанта Викторова знаете?»

И летчики скажут: «Знаем». «Скажите ему, тут его сын и жена тут».

Женщины заходили к ней за занавеску, качали головами, улыбались, вздыхали, некоторые начинали плакать, нагнувшись над маленьким.

Они плакали над собой и улыбались новорожденному, и не надо было слов, чтобы понять их.

Если Вере задавали вопросы, то смысл вопросов был лишь в том, чем родившая могла служить ребенку,— есть ли молоко у нее в груди, не началась ли грудница, не душит ли ее сырой воздух.

На третий день после родов к ней пришел отец. Он уже не походил на директора Стальгрэса — с чемоданчиком, с узелком, небритый, с поднятым воротником пальто, подвязанным галстуком, со щеками и носом, обожженными морозным ветром.

И когда Степан Федорович подошел к ее койке, она увидела, что его дрогнувшее лицо в первое мгновение обратилось не к ней, а к существу, лежавшему около нее.

Он отвернулся от нее, и по его спине и плечам она увидела, что он плачет, и поняла, плачет оттого, что жена никогда не узнает о внуке, не нагнется над ним, как только что нагнулся он.

И уж потом, сердясь на свои слезы, стыдясь их, десятки людей видели их, он сказал осевшим от мороза голосом:

— Ну вот, стал дедом из-за тебя.— Наклонился над Верой, поцеловал ее в лоб, погладил по плечу холодной грязной рукой.

Потом он сказал:

— На Октябрьскую Крымов был на Стальгрэсе. Он не знал, что мамы нет. Все спрашивал о Жене.

Небритый старик в синей кофте, из которой лезли клочья сбитой ваты, с одышкой проговорил:

— Товарищ Спиридонов, тут и Кутузова, и Ленина, и геройскую Звезду дают за то, чтоб побольше набить народу. Сколько наколотили и наших, и ихних. Какую же звезду, наверное, кило на два, надо вашей дочке дать, что она в такой каторге жизнь новую принесла.

Это был первый человек, который после рождения ребенка заговорил о Вере.

Степан Федорович решил остаться на барже, подождать, пока Вера окрепнет, вместе с ней поехать в Ленинск. Это было ему по пути в Куйбышев, куда он ехал за новым назначением. Увидя, что с питанием на барже обстоит совсем плохо, что немедленно надо выручать дочь и внука, Степан Федорович, отогревшись, отправился разыскивать командный пункт обкома партии, находившийся где-то в лесу, поблизости. Там он рассчитывал добыть через приятелей жиров и сахара.

63

Этот день в трюме был особенно тяжелый. Тучи нависли над Волгой. На грязном, в мусоре и темных помоях, льду не играли дети, женщины не стирали в проруби белье, морозный низовой ветер выдирал вмерзшие в лед куски тряпья, продирался в трюм сквозь щели в люке, наполнял баржу воем и скрипом.

Оцепеневшие люди сидели, кутаясь в платки, ватники, одеяла. Самые говорливые бабки притихли, прислушивались к вою ветра, к скрипу досок.

Стало темнеть, и казалось, что тьма пришла от невыносимой людской тоски, от измучившего всех холода, от голодухи, грязи, от бесконечной военной муки.

Вера лежала, укрывшись до подбородка ватником, ощущала на щеках холодное движение воздуха, проникавшего в трюм при каждом напоре ветра.

В эти минуты все казалось безнадежно плохо — не сможет Степан Федорович забрать ее отсюда, и война никогда не кончится, немцы весной расползутся по Уралу, по Сибири, всегда будут выть в небе их самолеты, грохотать разрывы бомб.

Впервые она усомнилась в том, что Викторов близко от нее. Мало ли фронтов, а может быть, его уже нет на фронте, нет в тылу.

Она откинула простынку, вглядывалась в лицо ребенка. Отчего он плачет, должно быть, ему передается ее тоска, как передается ему тепло, ее молоко.

Всех подавила в этот день огромность холода, беспощадность морозного ветра, огромность войны на великих русских равнинах и реках.

Разве может долго терпеть такую страшную голодную и холодную жизнь человек?

К Вере подошла старуха Сергеевна, принимавшая ее ребенка, сказала:

— Не нравишься ты мне сегодня, ты в первый день лучше была.

— Ничего,— сказала Вера,— папа завтра приедет, привезет продуктов.

И хотя Сергеевна была рада, что роженице принесут жиров и сахара, она зло и грубо проговорила:

— Вы, начальники, всегда нажретесь, вам всюду припас есть. А нам припас один — мерзлая картошка.

— Тише! — крикнул кто-то.— Тише!

В другом конце трюма слышался неясный голос.

И вдруг голос зазвучал громко, подминая все посторонние звуки. Какой-то человек при свете коптилки читал:

«В последний час... Успешное наступление наших войск в районе города Сталинграда... На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда...»

Люди стояли молча и плакали. Невидимая чудная связь установилась между ними и теми ребятами, что, прикрывая лицо от ветра, шли сейчас по снегу, и теми, что лежали на снегу, в крови, и темным взором прощались с жизнью.

Плакали старики и женщины, плакали рабочие, дети с недетским выражением стояли рядом со взрослыми и слушали чтение.

— Нашими войсками заняты города Калач на восточном берегу Дона, станция Кривомузгинская, станция и город Абгасарово...— произносил читавший.

Вера плакала вместе со всеми. И она ощущала связь между теми, что шли в ночной, зимней темноте, падали, вновь вставали и снова падали, чтобы уже не встать, и этим трюмом, где измученные люди слушали о наступлении.

Ради нее, ради ее сына, ради женщин с потрескавшимися от ледяной воды руками, стариков, детей, обмотанных рваными материнскими платками, идут там на смерть.

И с восторгом, плача, думала она, что ее муж придет к ней сюда, и женщины, старики, рабочие обступят его и скажут ему: «Сынок».

А человек, читавший сообщение Совинформбюро, произнес: «Наступление наших войск продолжается».

64

Дежурный по штабу доложил командующему 8-й воздушной армией сведения о боевой работе истребительных полков за день наступления.

Генерал просмотрел положенные перед ним бумаги и сказал дежурному:

— Не везет Закаблуке, вчера ему комиссара сбили, сегодня двух летчиков.

— Я звонил в штаб полка по телефону, товарищ командующий,— сказал дежурный.— Товарища Бермана хоронить завтра будут. Член Военного совета обещал слетать в полк, речь сказать.

— Наш член любит речи говорить,— улыбнувшись, сказал командующий.

— А летчики, товарищ командующий, таким образом: лейтенант Король над расположением тридцать восьмой гвардейской упал, а командира звена, старшего лейтенанта Викторова, «мессеры» подожгли над немецким аэродромом, не дотянул до линии фронта, упал на высоте, как раз на нейтральной зоне. Пехота видела, пробовала подойти к нему, но немец не дал.

— Да, бывает,— сказал командующий и почесал нос карандашом.— Вы вот что сделайте: свяжитесь со штабом фронта и напомните, что Заха-

ров нам обещал заменить «виллис», а то скоро вовсе не на чем будет ездить.

Всю ночь лежал мертвый летчик на снежном холме — был большой мороз, и звезды светили очень ярко. А на рассвете холм стал совершенно розовый, и летчик лежал на розовом холме. Потом подула поземка, и тело стало заносить снегом.

(Окончание следует.)

Судьба народная

Кое-кто намеренно или по неразумению пытается оторвать «Жизнь и судьбу» от первой части дилогии, обозначить поворот автора чуть не на 180 градусов. Это глубоко неверно: уж кто-кто, а Гроссман никогда не был флюгером. В обоих романах последовательно развивается та идея, которую можно назвать народоцентристской: так потряс писателя народный подвиг во время войны за общее, правое дело.

Символ веры автора в обоих романах — народ, его судьба, его героическая самоотверженность, его созидательное начало. Казалось бы, война противоречит всему смыслу жизни народа, хранителя и продолжателя жизни, но советские люди воспринимали войну как то препятствие, которое необходимо одолеть на пути достижения свободы и мирного труда — двух главных начал жизни. Поэтому и вступил народ в войну достойно и просто.

В романе «За правое дело» был дан величественный образ красноармейца Вавилова — от его ухода в армию до гибели при обороне Сталинградского вокзала — гибели всерьез, без утешительных чудесных «воскрешений» для нанизывания вторых и третьих частей, к чему так привержены недалекие беллетристы. Этот народный характер пахаря и солдата вырос из увиденных в Сталинграде и представших в гроссмановских очерках военных лет сапера Власова, бронебойщика Громова, пехотинца Канаева, снайпера Чехова и других, сменивших орало на меч. Наверное, Гроссман, человек городского склада, хорошо знавший жизнь рабочих и шахтеров, с особой остротой воспринял духовную прочность крестьянского люда, основного контингента пехоты.

Аналогичное ведь произошло и с Константином Симоновым. Горожанин, писавший до войны о «парне из нашего города», отправившемся воевать против фашизма в далекую Испанию, Симонов в первые же месяцы войны воскликнул с некоторым даже перехлестом:

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Вот и Гроссмана захватило, потрясло это чудо — стойкость русского человека, его спокойное, твердое исполнение своего долга.

Но в отличие от многих он не ограничивает народ крестьянами, народ для него — все люди, живущие трудом, живущие трудно. И в не меньшей мере — рабочие, в которых он ценил черты революционного пролетариата, столь дорогого ему еще по «Степану Кольчугину». Не оттого ли одной из ключевых сцен «Жизни и судьбы» стала защита дома шесть дробь один?

Можно было бы сравнить этот полуразвалившийся, окруженный немцами дом, где разместился гарнизон Грекова, с Ноевым ковчегом, внеся только решающую поправку: в ковчеге смиренно спасались от потопа, здесь стойко усмиряли фашистский потоп. В развалинах дома держали оборону самые разные и по возрасту, и по мирным и воинским профессиям люди — очкастый лейтенант-артиллерист, старик минометчик из ополчения, простодушный украинец Бунчук, развязный Зубарев... Но это были люди, объединенные чувством внутренней свободы: никого из них не надо принуждать, понукать, насильно удерживать, каждый знает свое место, свой долг, каждый понимает, что час решающего немецкого штурма близок, и готовится к нему с воинским и человеческим достоинством.

В поведении этих бойцов, подчиняющихся не формальной субординации, а закону «естественного равенства, которое так сильно было в Сталинграде», сверхбдительные души тут же усмотрели анархию, партизанщину, и помчались по штабным ступенькам наверх пугливые донесения-доносы. А гаризон погиб, исполнив святой закон — держаться до последнего. Так с присущим ему нажимом высказал писатель свое уважение к здравому смыслу, достоинству, чувству долга простого труженика войны.

Сколько было пены за минувшие годы в нашей литературе: то пролетариат как авангард революции противопоставляли косному крестьянству, то крестьянство как хранителя национальных достоинств ставили в пример избалованным горожанам. А Гроссман накрепко слил: «рабочие люди завода и рабочие люди войны».

И в тот горький и светлый час, когда наконец-то наступит тишина в городе после капитуляции остатков армии Паулюса, автор выделит в отдельную главку — как вспышку света — сцену в землянке, где старшина, удерживая ногтем метку на стакане, налил каждому красноармейцу положенное, и все выпили и сказали первые слова о том, как осилили немца, хоть и много горя он успел сделать. И автор добавляет: «Жевали долго, не торопясь, ощущая в своей неторопливости счастливое, спокойное чувство людей отдыхающих, выпивших и кушающих после долгой нелегкой работы».

А разве не справедливо дерзкое рассуждение насчет того, что при всем величии замысла Сталинградской битвы не надо возглашать гениальность полководца, допустимо говорить лишь о таланте?! Принцип окружения вырвавшегося вперед клина так же древен, как сама война, дело здесь не в гениальности первооткрытия, а, как говорится, в талантливости его исполнения: сосредоточить резервы, выбрать время и направление удара. Главной силой, гением успеха назван в романе дух войска. И потому как выношенный вывод, а не проходная реплика звучит фраза: «Так выразила себя народная победа».

Напористо и последовательно развертывается в романе этот вывод о народной победе. То командиры штаба Чуйкова, лишенные главного своего назначения — руководить войсками,— ощутят беспомощность на остр›вке среди огненного моря полыхающей нефти, тогда как непостижимым образом «в эти минуты уже многие бойцы знали, как можно пробраться к берегу», а некоторые даже по два-три раза поднимались к горящим штабным землянкам, выводя уцелевших командиров к спасительному береговому выступу. То сам автор с некоторым вызовом произнесет: «Ощущение общего исхода боя, рожденное в человеке, отъединенном от других дымом, огнем, оглушенном, часто оказывается более справедливым, чем суждение об исходе боя, вынесенное за штабной картой».

И уж, конечно, важнейшим для философии романа смыслом отмечен эпизод, как во время страшной бомбежки перед немецким штурмом командир полка Березкин был завален в блиндаже, но уцелевшие бойцы его полка выстояли на своем рубеже. Когда же Березкина откопали и он смог ответить по телефону Чуйкову, тот вынес ему благодарность за умелое командование в адских условиях и поручил возглавить оборону дивизии, поскольку все старшие командиры ранены или убиты. И Березкин горько пошутил: «Всю войну начальство мной недовольно. А тут просидел без дела под землей, спевал песни и, на тебе, получил благодарность». И хотя успех полка немало зависел от того, как командир подготовил бойцов к этому испытанию, и писатель любуется своим героем на протяжении всей дилогии,— но все-таки, признаем, не случайно возникла эта горькая шутка...

И оборона полка Березкина, и бой батальона Филяшкина в первой части дилогии, и защита «дома Грекова» имели первостепенное значение для романной концепции, утверждающей здравый смысл, инициативу, героический ратный труд всей воинской массы, даже рассеченной немецкими клиньями на отдельные группы. Вот и К. Симонов в письме одному из своих исследователей особо выделял касательно боя окруженного батальона Сабурова в повести «Дни и ночи»: «Сталинградская битва в ее оборонительный период именно и состояла из десятков

и сотен таких узлов сопротивления... Все эти узлы сопротивления, вместе взятые, с их упорной борьбой, были огромной битвой».

Так что в «Жизни и судьбе» нет ни запальчивой апологии «окопной правды», ни намеренной полемики с «армейским НП», автор выше этих навязанных нашей литературе никчемных споров. Просто правда сталинградских боев совпала с жизненной мироконцепцией Гроссмана.

Откровенная поэтизация народа не закрывает для вдумчивого писателя всю сложную многосоставность народной толщи. Гроссман понимает, что народ — разный. Мельком зафиксирует он жадных и алчных хозяев квартиры, где поселились эвакуированные Шапошниковы, или пленного, намеренного податься во власовцы, или даже такую кажущуюся неправдоподобной сценку, когда люди в Саратове лезут в трамвай, отпихивая слепого инвалида-солдата. И верный своей манере приходить к выводу от факта, автор добавляет после этой сцены: «Люди, которых Людмила с надеждой и любовью объединила в семью труда, нужды, добра и горя, точно сговорились вести себя не по-людски. Они точно сговорились опровергнуть взгляд, что добро можно заранее уверенно определить в сердцах тех, кто носит замасленную одежду, у кого потемнели в труде руки».

И все-таки не эти горькие мазки составляют главное для Гроссмана, а в бойцах Сталинграда он вообще не показывает ни малодушия, ни растерянности — они для писателя незыблемый монолит, героическая твердь: сколько грехов простится за хотя бы одни сутки боя в этом смертном вареве.

Именно поэтому смог он написать, как командующий фронтом слышит с левого берега крик контратакующей пехоты; в этом протяжном крике «было нечто не только грозное, но и печальное, тоскливое». Наверное, многим тут же вспомнятся строки «Василия Теркина»: «Влился голос твой в печальный и протяжный стон: «Ура-а...». Не открывается ли в этом непроизвольном совпадении общее отношение обоих писателей к солдату на войне — без залихватского ухарства, но которое столь падки беллетристы, а с полным уважением к той душевной силе, которая ведет в бой?!

А вспомним летчиков из находящегося в резерве авиаполка — шумных, грешных, «земных», но готовых исполнить назначенное им... И когда потом в сталинградском небе собьют Викторова и самолет рухнет на нейтральную полосу, его труп будет в лучах восходящего солнца лежать на розовом снежном холме. Вот оно, сияние человека, достойно послужившего общей победе.

И хотя Гроссмана по выходе журнального варианта романа «За правое дело» ханжески обвиняли в том, что он уделил мало внимания описанию рядовых бойцов Сталинграда, роман в действительности был пронизан желанием утвердить рядовых бойцов в качестве главной силы Сталинградской битвы. С нескрываемым напором говорит он в «Жизни и судьбе», что окружение армии Паулюса оказалось возможным благодаря великой стойкости защитников города. Немецкие генералы не могли не знать, что к Волге стягиваются наши резервы, но ошиблись в своих выкладках, полагая, будто готовится смена обороняющихся частей, поскольку в истаявших полках оставались лишь десятки красноармейцев. Эти малые десятки, принявшие на себя сверхтяжесть ужасных боев, и были той силой, которая путала все немецкие расчеты. «Противник не мог представить, что мощь его усилий расщепляется горстью людей... Солдаты, отбивавшие на волжском откосе напор дивизий Паулюса, были стратегом сталинградского наступления».

Таков еще один авторский нажим — из тех, на которые так ополчились его недруги по выходе романа «За правое дело», видя в них искажение, принижение роли командования, хотя подобные нажимы как раз ничего не искажали, а лишь подчеркивали роль простого солдата в созидании победы. Эта роль служит своего рода художественным камертоном, настраивающим все повествование.

Сегодня правомерность такого творческого принципа уже утвердилась в нашем сознании, «окопная правда», высвечивающая роль рядовых победы, неколебимо затмила книги, претендующие на некий якобы более объемный взгляд «с фронтового НП», хотя чаще всего такого рода «объемность» сводится к элементарному утешительству: дескать, любые частные драмы и просчеты были сущими пустяками на фоне общих фронтовых успехов и победоносных стратегических решений. Крохотные фигурки солдат выглядят «солдатиками» в безбедных играх полководцев.

А в «Жизни и судьбе» командующий фронтом «чувствовал, что народная война больше, чем его умение, его власть и воля. Может быть, в этом ощущении и было то самое высшее, до чего было суждено подняться генералу Еременко в понимании войны».

Противопоставлена ли здесь воинская масса стратегам? Нет, лишь намеренно, по-толстовски, заострена мысль о приоритетности народной силы, которую должен понять полководец, если он хочет выиграть сражение. «Душа красноармейца» (так назывался один из сталинградских очерков Гроссмана) — вот что притягивало автора во всех фронтовых сценах романа, даже если действие происходит в штабах: как относятся командиры к этой душе, как учитывают и используют ее потенциал. Мудрость руководства войсками, основанная на знании законов народной жизни, и нравственная сила солдат, исполняющих свой долг,— вот два главных слагаемых успеха ратного дела: «Тайная тайных войны, ее трагический дух были в праве одного человека послать на смерть другого человека. Это право держалось на том, что люди шли в огонь ради общего дела». Непобедимость единой силы, образованной разумом руководства и свободной волей народа, с покоряющей очевидностью явила себя в действиях корпуса Новикова при окружении группировки Паулюса.

Нужно сказать, что в «Жизни и судьбе» Гроссман несколько изменил принцип эпического изображения народа. Если в первой части дилогии у него еще выделялись шахтер Иван Новиков, колхозник Вавилов и это было данью своеобразному «социальному представительству», казавшемуся в ту пору обязательным, то в «Жизни и судьбе» он уже освободился от этого чисто логического расклада; народ для него теперь в большей мере общество, чем социальная структура. Хотя в романе представлена вся иерархия сталинградского войска от солдата-ополченца до командующего фронтом, они скорее воплощают идею всенародной войны, чем точно расчисленное «представительство» от окопа до фронтового НП. И в этом — коренное отличие подлинно эпического мышления от панорамного огляда.

Сходный принцип реализуется и в главах о «мирной» жизни.

В недавние годы возник у нас такой нравственный эталон: «распутинские старухи». Эталон достойно прожитой жизни и достойно принимаемой участи — будь то смерть для старухи Анны или отъезд с Матёры для старухи Дарьи. Главное — это прожить свою трудную жизнь честно, тогда нескончаемой окажется нить жизни и вечным будет человечество. Но не таковы ли и «гроссмановские старухи» — врач из еврейского местечка Анна Семеновна Штрум, жена русского интеллигента Александра Владимировна Шапошникова, украинская крестьянка Христя Чуняк. Каким достоинством дышит предсмертное письмо Анны Семеновны, с какой сердобольностью выходила Христя Чуняк умиравшего от истощения и грязи Семенова! И такова изобразительная сила писателя, что мы не замечаем, как до Христи три или четыре хозяина испугались впустить этого вконец изможденного, ползущего пленного. Свет души Христи горит ярче и сильнее для писателя и тем самым для нас. А Шапошникова воплощает для автора революционную и гуманную совесть. Это не значит, разумеется, что другие персонажи лишены совести, но в Александре Владимировне это качество предстает как-то особенно чисто, незамутненно. И именно ей доверит в финале автор произнести столь дорогие ему слова о достоинстве человека, «вечной горькой людской победе над всем величественным и нечеловеческим, что было и будет в мире, что приходит и уходит».

Такое совпадение взглядов Гроссмана и Распутина нельзя упустить: оно проясняет для сегодняшнего читателя «народоцентристскую» философию, столь вроде бы неожиданную в романе о противоборстве двух вооруженных станов, но столь плодотворную для романа о судьбах Родины.

Еще в романе «За правое дело» содержалась стержневая мысль дилогии: «Понятия силы, справедливости, добра, труда определяют законы народной ду-

ши. Когда говорят: «Народ это осудит», «Народ этому не поверит», «Так думает народ», «Народ на это не согласится», то подразумеваются именно обычное общее чувство и простая мысль, живущие в сердце, в разуме народа...

И всем тем, кто говорит, что народ любит силу и уважает силу, следует основательно подумать, как народ эту силу понимает и какую силу народ уважает, признает и перед какой силой снимает шапку, и какую он не уважает, не признает, и никогда не пойдет за ней, и никогда не смирится перед ней».

Кажется странным, что такое было написано и пропущено в печать еще в сталинские времена. Правда, объяснение здесь может заключаться в том, что в романе эти чеканные фразы были «привязаны» к подвигу красноармейца Вавилова и говорили о неизбежном крахе фашистского насилия. Но теперь мы понимаем, что в них содержалось ядро той общей авторской концепции, которая ставит во главу угла благо народа, полагает главной силой истории законы народной жизни, создающие ее нерушимость. Эта концепция и развернута в «Жизни и судьбе», противостоя авторитарной идеологии и отстаивая социалистическое народовластие, при котором власть от имени народа неотрывна от власти, осуществляемой самим народом. В конечном счете именно так — пусть и не в точно таких формулах — говорим мы о развитии социалистической демократии сейчас.

Утверждая народный характер войны, народные истоки победы, Гроссман не мог не обратиться к национальному характеру, национальному достоинству, национальным традициям, национальным святыням.

Я уже поминал, что сцена ухода на войну колхозника Вавилова в романе «За правое дело» как бы в зародыше содержала то, что позднее развернет Е. Носов в «Усвятских шлемоносцах»,— вплоть до ночной колки дров и решения не брать фуфайку, которая еще пригодится детям.

Многие грани пристальнейшего внимания к русскому, Руси, Советской России обнаруживаются в дилогии. То помянет автор, что в годы войны круто возрос интерес к национальным традициям — воинским и культурным, к духовному достоянию нации и ее героическому прошлому, к традициям русского офицерства. То заметит, что в невыносимых условиях концлагеря «люди чувствовали веселый жар, шедший от Ершова,— такое простое, всем нужное тепло исходит от русской печи, в которой горят березовые дрова». То лейтенант Викторов почувствует, что лес и озера, где базируется авиаполк в резерве под Калинином, «дышали жизнью древней Руси, о которой Викторов читал до войны» (удивительно точно это добавление об источнике, откуда узнал лейтенант о древней Руси, потому что только в книгах и сохранилась память; в самой жизни об этом и разговора не было — наоборот, сколько памятников разрушили, видя в них угрозу коммунистическому воспитанию). Викторов же вспоминает и о княгине Долгорукой, отправившейся вслед мужу в многолетнюю ссылку, а потом в монастырь — а пожила-то она с мужем всего два дня после свадьбы; подобно этой княгине, останется верной Крымову Женя. То Даренский тяжело ощутит, как отступила Россия до далеких верблюжьих степей: неужели не встать, не подняться ей? То Новиков, который «выстрадал свое русское чувство во время войны», с неприязнью воспримет холодные, пустые сентенции Неудобнова вроде той, что «в наше время большевик прежде всего — русский патриот». И не сознает он толком, откуда эта неприязнь, но где-то в душе отложилось, наверное, сколько народу пересажал Неудобнов в недавние годы за недооценку советского патриотизма, за приверженность русским традициям.

У любимого героя, академика Чепыжина, широкий круг увлечений определялся привязанностью ко всему русскому: русской природе, русским художникам-пейзажистам, старинным народным песням,— и это было «основой, на которой единственно и могло существовать казавшееся надземным здание его науки».

А Крымов до войны, вспоминает Женя, был равнодушен к прелести русского пейзажа и русской сказки, фетовского и тютчевского стиха, «не делал различия между Добролюбовым и Лассалем, Чернышевским и Энгельсом. Для него Маркс был выше всех русских гениев, для него Героическая симфония Бетховена безраздельно торжествовала над русской музыкой». И только в войну, про-

жив единой жизнью с народом, он ощутил это национально-патриотическое чувство — сходно в какой-то мере с тем, как его ощутили и сам Гроссман, и Симонов, и многие другие.

Едва ли не в единственном из всех наших романов о войне герои «Жизни и судьбы» отреагировали на роспуск Коминтерна. Услышав в концлагере известие об этом, Мостовской поразился: «Невидимые связи соединяли жителей лагерных бараков с городом на Волге. А вот Коминтерн оказался всем безразличен». И русский патриот Шаргородский ехидно «проехался»: «...оказалось, что создатели Коминтерна в час войны ничего лучшего не придумали, как повторить: священная русская земля».

Понятно, почему Гроссман обратился к этому факту: так отозвался его интернационализм на переход от нашей предвоенной веры в неизбежную мировую революцию и классовую солидарность немецкого пролетариата к идее обороны Отечества.

Но дело не только в справедливо уловленных бликах возросшего в войну национального чувства. Гроссман и здесь поднимается до философского осмысления, четко формулируя: «Сталинград, сталинградское наступление способствовали новому самосознанию армии и населения... История России стала восприниматься как история русской славы, а не как история страданий и унижений русских крестьян и рабочих. Национальное из элемента формы перешло в содержание, стало новой основой миропонимания».

Но возросшее национальное чувство вызвало у автора не только патриотическую гордость, оно пробудило и его тревогу за послевоенную свободу народа — тревогу, вынесенную не только из упований военных лет, но и из фактов послевоенного времени. Использовав национальный подъем, окрепшее самоуважение русского народа, Сталин принялся после войны внедрять «идеологию государственного национализма», и Гроссман болезненно ощутил в этом начало многих деформаций, приведших спустя три десятилетия к сложным социально-психологическим явлениям, которые сейчас преодолевает наше общество.

И, как не раз случается в романе, до логического конца эту антинародную апологию «государственно-национального характера» доводит немец. Вспомним, как в момент успеха гитлеровцев в сталинградских боях лейтенант Бах рассуждает о том, что Маркс изобрел закон социального отталкивания (классовую борьбу), а государство фюрера воплотило не принятый во внимание Марксом «закон всемирного национального тяготения», рождающий «могучие силы национального надклассового сродства».

Увы, перепевы подобных мыслей о национальном сродстве вопреки «социальной физике» иногда раздаются и в наших статьях и выступлениях! Гроссман же был убежден, что национальное сознание проявляется как могучая и прекрасная сила в дни народных бедствий потому прежде всего, что оно человечно: возгораются человеческое достоинство, человеческая верность свободе, человеческая вера в добро, воплощенные в форме национального сознания.

Столь же сложным и неоднозначным предстает в романе и «еврейский вопрос».

С неколебимой гуманистической и интернационалистской позиции изображена в «Жизни и судьбе» трагедия еврейского народа в годы войны, в годы фашистского истребления еврейской нации. К тем книгам, которые повествовали о жизни и восстании в варшавском гетто, о трагической судьбе белорусских и литовских евреев, прибавились теперь два эпизода из «Жизни и судьбы»: описание «газовой бани» в немецком лагере уничтожения и письмо Анны Семеновны Штрум о гибели обитателей гетто в одном из городков бывшей «черты оседлости». Письмо тем более пронзительное, что и мать В. С. Гроссмана погибла в оккупации и писатель словно слышал дошедший к нему из небытия материнский голос. И если эпизод ухода Вавилова в армию содержал как бы зародыш «Усвятских шлемоносцев» Е. Носова, то это письмо можно расценить как своего рода конспект «Тяжелого песка» А. Рыбакова. Можно понять и Гроссмана, и Рыбакова. Слишком часто и напористо иные наши критики и журналисты принимались утишать проблему, доказывая, что гитлеровцы истребляли не только

евреев, но и людей других национальностей. Мысль бесспорная, но как все-таки опустить то, что гитлеровская система тотального уничтожения нации была обоснована и разработана именно для евреев и ее начали проводить в жизнь еще до войны против Советского Союза?! И так естественно писательское желание словно бы прокричать о трагедии народа: литература должна выговориться, обнажить болевые зоны.

Но как причудливо переплетено все в жизни. В 1934 году Гроссман написал рассказ «В городе Бердичеве», принесший молодому автору всесоюзную известность. Туго свились в рассказе две жизненные спирали. Женщина-комиссар Вавилова, схожая с комиссаром «Оптимистической трагедии», в разгар боев вынуждена рожать в этом городке, входившем в российскую черту оседлости; но, родив, все-таки оставляет младенца и уходит в бой против врывающихся в город врагов. А поселили ее для родов в семье местного многодетного еврея-ремесленника, весьма далекого, мягко говоря, от политических страстей, но зато знающего, что такое погромы и чем может обернуться пребывание комиссара под его крышей. И рассказ повествовал о том, как поняли, приняли друг друга такие, казалось бы, социально разные люди.

В 1962 году по мотивам этого рассказа режиссер А. Аскольдов снял фильм. Нонна Мордюкова, исполнявшая роль Вавиловой, покоряюще воплотила наше представление о русской женщине — статной, крупной, обаятельной. А роль еврея-ремесленника играл Ролан Быков, олицетворявший гуманность, человечность, душевность ремесленного еврейского люда. Несмотря на то, что в титрах сняли упоминание о рассказе «опального» писателя, фильм был тут же «положен на полку» и только в 1987 году по чудом сохранившемуся экземпляру разрешен к показу и в прокат, видимо, пойдет в 1988 году, когда публикуется и пролежавший столько же лет на своей полке роман «Жизнь и судьба».

Фильм называется «Комиссар». Название рассказа и название фильма как раз и обнажили оба полюса художнической мысли автора: сила самозабвенного порыва революционеров и глубинные гуманистические ценности народа, выводимого революцией из политической, социальной, национальной «оседлости».

Так каково же было Василию Гроссману столкнуться в конце сороковых годов и с травлей критиков-«космополитов», и с «делом врачей-отравителей» уже в нашей жизни, в нашей стране, которая спасла еврейскую нацию и от гнета российского самодержавия, и от фашистского уничтожения?! Это его особенно задевало, заставляя временами несколько даже форсировать голос. Так же жестко, как и обо всем остальном, написал он об отношении к евреям в самых разных общественных слоях: вспомним и споры командиров в летной части Викторова, и поведение жителей при виде сгоняемых в гетто евреев, и кампанию в научном институте.

Он не идеализирует евреев, как не идеализирует любые жизненные явления. Тут и Ревекка, задушившая младенца, чтобы он своим плачем не обнаружил укрытие, и алчность, и неразумие, подмеченные Анной Семеновной в гетто,— все это действительно было. Но писатель взывает к непреложному гуманистическому принципу: нельзя принижать ни одну нацию.

Не знаю, как было в тылу во время войны, на фронте никаких ущемлений по пятому анкетному пункту не было. Но даже если в романе несколько смещены временные границы, когда в рамки сорок второго года введено то, что происходило в научных институтах несколькими годами позже, то я полагаю это художественно допустимым, ибо суть известного явления уловлена точно и эту «линию» в судьбе Штрума следует рассматривать не столько как исторический документ, сколько как художническую попытку объяснить само явление.

Единственно, на чем прочно стоял Гроссман,— на жизненной силе каждого народа и его праве жить свободно и достойно в содружестве всех наций. Очерк о своей поездке в Армению «Добро вам», написанный незадолго до смерти, стал как бы завещанием писателя-интернационалиста, призывавшего к дружбе советских народов и говорившего «добро вам» каждой нации.

Только народ — носитель жизни, и каждый народ — носитель жизни!

А. БОЧАРОВ

Борис УКАЧИН

Пять стихотворений

С алтайского

* * *

Удивительны звезды и удивлены!
Почему я звездой не родился?
Удивительна первая зелень весны!
Почему я травой не родился?

Удивительна тайна горы и коня,
Удивительно падает снег,
Удивительны
светлых дождей воркотня
И движенье стремительных рек...

Почему же, когда сотворили меня,
Я подобием их не предстал?
Я в обители камня, металла, огня
Был бы камень, огонь иль металл!

...Все иначе. И замысел этот велик:
Человеком я в мире возник.
О, не раз на вселенском ветру одичалом
Был я камнем, и пламенем был, и металлом,
Чтобы позже —
под солнечным светом — опять
Человеком как разумом высшим предстать!

Ночной страх после посещения Нагасаки

Ночь над черным океаном.
В небе ни одной звезды.
Кто велит нам,
окаянным,
Жить-плутать среди воды?

Точно алчущий урод,
Ночью океан ревет!

И порхает наше судно
По волнам, как мотылек.
Страшно, холодно и трудно.
Нет земли и нет дорог.

Вдруг, пока ты был в пути,
Вдруг, пока чернела ночь,—
Взорван мир — и не спасти,
Грянул взрыв —
не помочь?!

Ночи темная основа.
Волны набегают снова,
Облегченья не суля...

Существует ли земля?

Что как на Земле сплошная
Страшная лежит вода?
Что как синего Алтая
Не увижу никогда?
Может быть,
укромный, он
Наводненьем поглощен?..

Точно щепочку — свирепо
Вскинула корабль волна.
Я гляжу с тревогой в небо:
— Где же звезды? Где луна?

Даже чаек нет. Черна
Ночь. И я кричу, моля:

— Где же солнце? Где земля?

Зима

С ночных небес
По горному отрогу
Зима тихонько
Ноги белые
Спустила вниз.

Под утро стали
Белым-белы поля и долы.
Надели горы
Белые доспехи.
Деревья в белом серебре
В раздумья погрузились.

...А я теплом дыханья
Холодную зиму — грею!

Рижское взморье

Светло-коричневый на берегу песок...
Летнее море манит к себе людей.
Сколько народу и как небосвод высок!
Тут и влюбленный лежит на песке, и книгочей.

Как хорошо! Горячего воздуха дрожь...
Но на душе тоска, поскольку Алтай далек.
На загорелое женское тело похож
Светло-коричневый этот теплый песок...

Из тихого моря женщины вышли гуськом —
Пахнут соленым ветром, солнцем, песком.

* * *

Как быстрые аргамаки, несутся поэты Алтая,
На ипподромной глади друг друга опережая...
А я —
жеребенок заблудший —
плетусь себе неторопко,
Медленно выбирая, где — подходящая тропка.

Перевела Татьяна БЕК.

●

Владимир ФИРСОВ

Новые стихи

Первый снег в Москве

Мерно падал тот снег
На Москву,
Где горели
Фонари,
Озаряя ночную Москву.
Опадал на сады,
На кремлевские ели,
На живые деревья,
Живую траву.

Оседал он
На пыльных бульварных оградах,
На ажурных пролетах
Старинных мостов.
Шел неслышно,
Неся
Святоносную радость —
Первый снег деревень,
Первый снег городов.

Шел неслышно,
Невидно,
Поскольку все спали,
Кроме редких влюбленных
И постовых.
Озаряя
Вчера еще мрачные дали,
На погибель свою
Шел — во имя живых...

Даже люди,
Увы, обделенные зреньем,
Жадно встретили утро.
И всяк говорил:
— Белоснежную графику
Черных деревьев
Снег,
что за ночь повыпал,
И нам подарил.

Слова любви

Текут ручьи любви,
Текут, полны тобою.
А. С. Пушкин

Светлы слова любви.
Под небом в час покоя
Порой не разобрать —
Твои или мои.
Как пара лебедей
Над лунною рекою,
Текут слова любви
Невысказанные.

Текут слова любви —
То музыкой печали,
То летним говорком
Незримого ручья.
Текут слова любви,
Что нас давно венчали
Под шелковую грусть
Ночного соловья.

Слова любви текут
Естественно,
Как реки,

Пульсируют в крови,
Как в реках родники.

Их слыша,
Веришь ты:
Пришла любовь навеки,
Но с ними входит в плоть
Предчувствие тоски.

Слова любви текут,
Как время молодое.
Им песню о Любви
Даровано сложить...

Когда не хватит слов,
Что делать с немотою?
Когда любовь пройдет,
Как дальше людям жить?..

Текут слова любви
Под солнцем в жаркой сини,
Незримые порой,
Как жаворонка взлет.
Внимая тем словам,
Живет моя Россия,
И весь подлунный мир,
Внимая им,
Живет.

Мамины сережки

Дочурке
Мама
Мыла босы ножки.
И в светлом счастье
Тех веселых дней
Два солнышка,
Две мамины сережки,
Большое солнце
Заменяли ей.

Попробуй долго
Поглядеть на солнце,
Пусть даже в закопченное
Стекло!
А в тех сережках
Теплилось оконце
В большое солнце —
Солнечно, светло.

Совсем не театральность
и парадность,
Они в себя впитали навсегда
И слезы мамы,
И скупую радость,
И щедрость,
Где соседкою —
нужда.

Сережки мамы.
Мамины сережки,
Что отражали
Солнца яркий свет,
Запечатлели
Босенькие ножки,
Что мыла мама,
Та,
Которой нет.

* * *

Метели
За ночь
Отбелили
Холсты поношенных снегов
И неприметно
Притулились,
Свернувшись в кольца
У стогов.

Бело.
Ухожено безмолвье,
Отдавшись вечной синеве.
И каждый стог
Как изголовье
Моей усталой голове.

Какое светлое забвенье,
Какое чудо и покой!
Как хочется
С благоговеньем
Потрогать каждый стог
Рукой.

Побыть
И помолчать с ним рядом,
Но обойду их за версту
От мысли,
Что счастливым взглядом
Нарушу
Эту
Красоту.

* * *

Всем казалось:
Зима бесконечно продлится...
Оглянулся,
И прошлое время —
не в счет.
У меня во дворе
Поселилась синица,
Чтобы помнил,
Как вечное Время течет.
Чтоб не смог позабыть
Житель всякой столицы,
Что Природу
Должны мы, как Храм, уберечь.
У меня во дворе
Поселилась синица.
Как прекрасна
Ее бескорыстная речь!

Я хочу,
Чтобы время
Смогло повториться,
Чтоб праправнук
Воскликнул мои же слова:
— У меня во дворе
Поселилась синица.
Ах, как сладко от мысли:
Синица
Жива!

* * *

Дни прибывают.
И ночи — короче.
Дни прибывают,
И веет весной.
Манят рассветы.
И прошлые ночи,
Ночи ненастья
Уже за спиной.

Дни прибывают,
И жизнь прибывает,
Больше простора
Глазам и уму.
Чую душою —
Трава оживает,
Корни деревьев
Трогают тьму.

Слышу восторженный
Посвист синицы.
И в ожиданьи
Прилета грачей,
Ах, как не спится,
Ох, как не спится
В долгом пока еще
Мраке ночей.

Дни прибывают!
Не спите,
Взгляните,
Сколь поубавились
Ночи зимы.
Не проглядите,
Как солнце в зените,
То,
Что пока еще молоды мы.

Я выбегаю
С душой нараспашку
И, как язычник,
Рассвету молюсь.
Пусть не последней,
А все же — рубашкой
С тем, кто нуждается в ней,
Поделюсь...

Так зто было.
Так есть.
Так бывает.
Будет,
Когда нас не будет, увы!
Дни прибывают,
А жизнь — убывает.
Но остается —
Дыханье травы,

Как остается
Бессмертие
Леса,
Поля

И луга — под вечной луной,
Что безо всякого к нам интереса
Будут бессмертны
Зимой и весной.

Облака

Спят облака.
На горизонте дремлют.
Закатом озаренные слегка,
Спят облака,
Устав глядеть
на землю,
Не видя нас,
Уснули облака...
Под нами
За ночь
Сено улежалось.
И за ночлег его благодаря,
Мы видели восход,
Где зарождалась
И раздвигала облака
Заря.

Простором пахло.
Пахло клеверами.
Приподнимала лилии река.
И вдруг
возникли облака
Над нами,
Какие вдруг возникли
Облака!

Какие облака над нами плыли!..
Глаза закрою —
Вижу и сейчас:
Плывут себе —.
Из небыли,
Из были,
Как плыли миллионы лет до нас.

Над тем же лугом
И над тем же полем,
Подкрашенные солнышком слегка,
Плывут себе,
Иной не мысля доли,
Плывут,
На нас не глядя,
Облака.

Но верится:
Им жалко нас оставить.
Дорога их свободна и легка...

Когда-нибудь,
Когда и нас не станет,
Пусть будут плыть
Все те же облака!

* * *

Сколь прошумело
Поколений
На светлой памяти земли!
Чернорабочий
Или гений —
Все одинаково ушли.

Все отошли
В края иные.
Всему свой век.
Всему свой час.
Уйдем и мы —.

Придут другие,
Пусть непохожие
На нас.

Хочу,
Чтобы они
Гордились
Той гордостью,
Что мы несли,
Но, главное,
Чтоб пригодились
В урочный час родной земли!

●

Н. Н. МОИСЕЕВ,
академик

У роковой черты

Система «Гея»

Осенью 1983 года в Вашингтоне состоялась грандиозная конференция «Мир после ядерной войны», организованная американскими учеными К. Саганом и П. Эрлихом, которые и сделали два основных доклада. От Вычислительного центра АН СССР выступил В. В. Александров, который вместе со своими сотрудниками создал один из основных блоков системы «Гея».

Что же это за система?

Во все времена ученые говорили о гармонии между природой и человеком. Об этом писали и античные философы, и французские энциклопедисты, и русские космисты. Гармония, имели они в виду,— это такое поведение человечества, которое вписывалось бы в естественное развитие Земли. Минимальное воздействие на природу, сохранение ее в первозданном состоянии, предельная близость человека к окружающей природе — вот что подразумевалось, когда речь шла о гармонии. Эти рассуждения отражали извечное стремление людей быть ближе к окружающей среде, уничтожить противоречия между человеком и природой.

О гармонии говорили также и П. Тейяр де Шарден и В. И. Вернадский. Но теперь уже понятие гармонии было иным. Диалектик и естествоиспытатель В. И. Вернадский сознавал, что ничто на Земле не может быть стабильным, вечным, идеальным. Мир есть и будет соткан из противоречий. Человек всегда будет вмешиваться в окружающий его мир, устраивать его для себя. Вся логика развития жизни на Земле привела к тому, что именно человек, его деятельность сделались основными факторами эволюции биосферы. И обратного пути нет. Вот почему основная задача науки, цель науки и человеческих действий не в том, чтобы сохранить мир в его первозданном виде, а найти такие формы взаимодействия человека и биосферы, которые бы обеспечивали совместное благотворное развитие.

Гармония человека и биосферы возникает, когда человек, активно вмешиваясь в природные процессы, сохраняет ее состояние пригодным для своего существования и одновременно направляет развитие человечества так, чтобы оно было способно не только адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, но и развиваться, и процветать. Такая гармония не может возникнуть стихийно. Человек теперь способен легко переступить ту роковую черту, ту грань, за которой начнутся необратимые процессы его существования. За этой чертой биосфера начнет переходить в новое состояние, предсказать свойства которого мы не можем,— такова реальность. И не исключена возможность, что в этом новом состоянии биосферы места в ней для человека не окажется. Вот почему человечество должно быть способным предвидеть результаты своих действий, уметь оценивать состояние биосферы и заранее знать, где находится та запретная черта, которая отделяет возможность дальнейшего развития цивилизации от ее более или менее быстрого угасания.

Наука впервые сталкивается с подобными проблемами и еще не создала инструмента, с помощью которого она была бы способна решать столь сложные задачи.

Нынешнее состояние человечества напоминает корабль, который ищет проход в рифовом барьере. Он еще не ведает, где этот проход, но уже твердо знает, что не должен напороться на рифы. Но для этого нужно видеть рифы и понимать, что они смертельны для судна.

Таким образом, важнейшая задача современной науки — создать инструмент, способный увидеть этот рифовый барьер, эту запретную черту, рубеж, переступать который человечество не должно ни при каких обстоятельствах! Мы знаем, сколь трудна эта задача и что нужный нам инструмент возникнет не сразу. Его создание потребует времени и усилий многих ученых разных специальностей.

В начале 70-х годов вокруг подобных вопросов у нас в стране возникла дискуссия. Она была зарождена лекциями покойного Н. В. Тимофеева-Ресовского, прочитанными в Вычислительном центре АН СССР, публикацией работ В. И. Вернадского, инициативой Римского клуба

и ЮНЕСКО, организовавших специальные семинары, но главной причиной, я думаю, было давление обстоятельств.

Мы, математики, сотрудники Вычислительного центра АН СССР, еще в 1972 году пришли к выводу, что решение проблем глобального масштаба неизбежно потребует построения математической модели биосферы. Изучение биосферы как единого организма стало на повестку дня. И мы поняли, что, как бы ни фантастична была задача математического моделирования биосферы, без ее решения наука не может рассчитывать ни на какое продвижение в исследовании общих свойств биосферы и ее способности противостоять возможным воздействиям со стороны человека.

Опорой для наших математических исследований служили, повторяю, труды В. И. Вернадского. Великим русским ученым, его последователями было разработано учение о биосфере и ее переходе в ноосферу, создана общая концепция ноосферы. Смысл учения В. И. Вернадского состоит в следующем. Появление на Земле человека означало новый огромный шаг в эволюции планеты. Его активность многократно ускоряет все эволюционные процессы, темпы которых быстро растут по мере развития производительных сил, по мере технической вооруженности цивилизации. Дальнейшее неконтролируемое, ненаправляемое развитие деятельности людей таит в себе опасности, которые трудно предвидеть. Тем не менее наступит то время, когда дальнейшая эволюция планеты, а следовательно, и человеческого общества должна будет направляться разумом. Биосфера станет постепенно превращаться в сферу разума.

Через четверть века французский естествоиспытатель Ле Руа и философ П. Тейяр де Шарден придумали для сферы разума специальный термин — ноосфера, который начал употреблять и В. И. Вернадский. Новое учение с тех пор стали называть учением о ноосфере.

В. И. Вернадский оказал влияние на организацию научных программ, создание философской и методологической базы для новых исследований. Но в последние десятилетия стало нужным нечто большее. Возникла необходимость превращения учения в теорию, оснащенную средствами предвидения, способную давать не только качественные, но и количественные оценки. И первым шагом к созданию такой теории должна была, по нашему представлению, стать система математических моделей биосферы — своеобразная экспериментальная установка, которая позволила бы изучать ее реакции на действия людей, однажды найти сакраментальную роковую черту — границу дозволенных действий человека, границу его активности.

Начались эти работы в 1972 году. Тогда после семинара ЮНЕСКО в Венеции, где возникла дискуссия о путях развития глобальных исследований, мы сформировали в Вычислительном центре АН СССР свою естественнонаучную позицию.

Первый этап в создании биосферной модели, завершившийся ее проверкой на тестовых ситуациях, был закончен в 1982 году. Наша система была названа «Гея» по имени древнегреческой богини Земли.

Первый большой эксперимент был проведен нами осенью 1982 года.

С помощью системы «Гея» мы не можем предсказывать будущее человечества. Мы можем лишь, создавая определенные сценарии его деятельности, изучать последствия реализации этого сценария, рассчитывать реакцию биосферы и ее влияние на деятельность людей. Так, например, мы можем с известной степенью точности оценить, как будет меняться климат, сказать, что произойдет с тропическими лесами или великими степями Евразии, как изменятся условия жизни человека в зависимости от тех действий, которые он предпримет. Поэтому, ставя машинные эксперименты, мы должны позаботиться о сценарии. Мы должны уметь поставить вопрос: что будет, если люди сделают то-то или то-то? Вопросы могут быть самыми разными. Например, любопытно было бы узнать, что станет с сибирской тайгой, если сегодня исчезнет великая горная система Гималаи — Гиндукуш — Памир — Тибет.

Заметим, на этот вопрос можно ответить и не прибегая к «Гее». В самом деле, если исчезнет эта горная система, то теплые ветры южных морей проникнут на Север. Они принесут много влаги, особенно в период муссонов. Исчезнут среднеазиатские пустыни, и в Сибири резко потеплеет. Но одновременно в центре Якутии, примерно там, где находится ее столица, начнет расти ледник, как в Гренландии. В Якутии много лесов. Несмотря на вечную мерзлоту, там великолепные травостои, позволяющие держать скот и вести сельское хозяйство,— трескучие морозы тому не помеха. А на той же широте в Гренландии ледник толщиной в три километра. Но зимой там гораздо теплее, чем в Якутии. Что это — парадокс или закономерность?

Все дело в том, что в течение относительно теплой, но снежной зимы там выпадает много снега, который не успевает растаять за три месяца влажного лета с сумеречным серым небом. Похожая судьба ожидала бы и Якутию, если бы не было заслона от южных ветров. Конечно, кое-где линия вечной мерзлоты ушла бы далеко на север, но в целом условия жизни в северной части Сибири стали бы еще более тяжелыми. Система «Гея» позволяет конкретизировать этот вывод, получить не только качественные, но и количественные оценки.

Для первых экспериментов нам следовало выбрать, конечно, какой-либо более реалистичный вариант сценария, который оказался бы полезным вкладом в теорию развития ноосферы и имел бы определенное практическое значение.

Одна из проблем, которая волнует сейчас ученых, связана с увеличением концентрации в атмосфере углекислоты. Она вызывает парниковый эффект, из-за которого средняя температура атмосферы увеличивается и меняется ее распределение по земной поверхности.

Первый большой эксперимент, который был проведен на модели «Гея» в Вычислительном центре АН СССР, должен был прояснить, как изменится по зонам живой мир при удвоении концентрации углекислоты в атмосфере.

Этот эксперимент с моделью «Гея» подтвердил: в целом ряде районов достаточного увлажнения продуктивность биоты увеличится, но зато целому ряду зон реальна угроза стать пустыней. Особенно пострадают, согласно расчетам, страны Сахеля, Передней и Центральной Азии. В благоприятном положении окажется ряд районов Европы и Запад Северной Америки. Но в целом в масштабе планеты суммарная продуктивность биоты практически не изменится — ее изменения будут в пределах точности расчетов.

Подобные расчеты имеют прямое значение для практики. Они показывают, в частности, необходимость произвести в ближайшие десятилетия известный сдвиг сельскохозяйственного производства и в нашей стране. В самом деле, великая евразийская степь, которая начинается в Молдавии и тянется до Алтая, так же, как и все Средиземноморье, окажется в условиях все более и более засушливого климата. В то же время русское Нечерноземье, Белоруссия, Запад и Север Украины и особенно Северо-Запад России и прибалтийские республики окажутся, по-видимому, в климатических условиях, благоприятных для производства разнообразных сельскохозяйственных продуктов. Подобная информация, вероятно, весьма полезна для лиц, занимающихся долгосрочным планированием использования ресурсов и проблемами размещения сельскохозяйственного производства.

Наши расчеты носят, конечно, условный характер, и ими надо пользоваться с осторожностью. Так, например, мы не учитывали, что при сгорании угля в атмосферу выбрасывается большое количество аэрозоля — пыль, сажа и тому подобное. Замутненность атмосферы сказывается на количестве солнечной энергии, поступающей на Землю, а именно эта энергия, преобразуясь в тепловую вследствие нагревания поверхности Земли, идет затем на нагревание атмосферы. За последние 30—40 лет интенсивность прямой солнечной радиации, приходящей к земной поверхности, уменьшилась на полтора-два процента. Конечно, частицы аэрозоля не только отражают солнечную энергию, но и поглощают ее, что ведет к нагреванию атмосферы. Одним словом, проблема изменения средней температуры атмосферы чрезвычайно сложна, и сегодня можно говорить пока еще не столько о точных оценках, сколько о вскрытых тенденциях.

Однако, подводя итоги, можно сказать, что наш первый крупномасштабный эксперимент, давший не только вполне интересные и важные результаты, но и прогноз, представляющий безусловное практическое значение, показал, что мы находимся на правильном пути. Теперь нам стало ясно, что математическая модель «Гея» превратилась в инструмент практически важных исследований. По мере ее совершенствования мы сможем получать все более и более глубокие, важные экологические оценки человеческих акций. Этот эксперимент подготовил нас и к следующему очень важному исследованию климатических последствий возможной ядерной войны, которое было проведено в 1983 году В. В. Александровым и Г. Л. Стенчиковым. Оно заставило нас также задуматься над многими новыми вопросами и наметить программу последующих экспериментов.

Пожары и климат

Долгое время никто не пытался оценить возможные климатические последствия атомной войны. Считалось, что ядерные взрывы действуют на атмосферу примерно так же, как вулканы, которые, извергаясь, выбрасывают огромные облака пыли. Пыль закрывает доступ солнечным лучам и на какое-то время уменьшает количество солнечной энергии, которую получает Земля. В результате температура земной поверхности и атмосферы падает. Но даже самые сильные извержения, как показывает история, неспособны понизить среднюю температуру больше, чем на полградуса — градус. И то на очень короткое время.

Катастрофический взрыв вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году выбросил в атмосферу около 20 кубических километров пыли и пемзы. По оценкам климатологов, которые анализировали метеоданные тех времен, среднее понижение температуры на планете было порядка 0,5 градуса в течение нескольких месяцев, то есть не выходило за границы фоновых колебаний. Хорошо изучены последствия извержения вулкана Святой Елены в США 18 мая 1980 года. Огромное облако пыли, которое распространилось над несколькими западными штатами США, привело к ряду интересных эффектов. Непосредственно под облаком днем температура упала на восемь градусов, однако в ночные часы было отмечено повышение температуры по сравнению со средними данными на четыре — шесть градусов. Это было следствием того, что частицы аэрозоля поглощали часть солнечной энергии, нагревались и

отдавали накопленное тепло в ночные часы.

Можно привести много подобных примеров.

Вот почему считалось, что изменение климатических характеристик вследствие ядерной войны не может быть значительным и уж, во всяком случае, его рассмотрением можно пренебречь на фоне других катастрофических последствий ядерного удара — взрывов, разрушений, всеуничтожающей радиации...

Однако исследования, проведенные в конце семидесятых годов профессором П. Крудценом из физико-химического института Макса Планка в ФРГ, а позднее и многими другими, показали, что не только пыль поднимется в атмосферу после ядерного взрыва, но и огромная масса сажи. Дело в том, что ядерная бомба может быть страшной не только сама по себе. Она может сыграть роль спички, которая зажжет пожар невиданной силы. Такой пожар вспыхнет не только в лесах, но и в городах, где сейчас очень много горючего материала, его плотность в пять—восемь раз больше, чем в лесу.

В своих исследованиях профессор Крудцен опирался на то, что высокие концентрации энергии при достаточном количестве горючего и доступе кислорода порождают самоподдерживающиеся пожары — пылающие вихри, огненный торнадо. Другими словами, пожар — это цепная реакция. Он сам может выделять огромные, все увеличивающиеся количества энергии. И если приток кислорода достаточно интенсивен, то пожар прекратится лишь тогда, когда полностью будет переработано все горючее.

Пожар может расти, достигая такой величины, когда сгорает все — и металл, и железобетон (конечно, не силикатная начинка, а металлический каркас), не говоря о горючих материалах, дереве, пластмассе.

Для того чтобы вызвать огненный торнадо, нет необходимости использовать ядерное горючее. Уничтожающую силу такого пожара испытали на себе немцы во время бомбардировки англо-американской авиацией Гамбурга 27—28 июня 1943 года и Дрездена в самом конце войны, в марте — апреле 1945-го, когда их судьба была практически решена. Тогда еще англо-американская авиация располагала только бомбами, начиненными тротилом. И тем не менее в возникшем огненном вихре Дрездена и Гамбурга погибло не меньше жителей, чем в городах Нагасаки и Хиросима в августе 1945 года, когда на них были сброшены первые атомные бомбы. Интенсивность огненного вихря была такова, что пруды в Дрездене закипели.

Если в последнюю мировую войну в больших городах во время бомбардировок тротиловыми бомбами возникал огненный торнадо, уносивший сотни тысяч жизней мирных жителей, то можно представить, какие последствия будет иметь современное неядерное оружие, ведь оно стало в сотни раз мощнее, чем сорок с лишним лет назад.

При мощных ядерных взрывах, произведенных над городами или лесом, как показали расчеты, обязательно возникнут огненные торнадо.

Из-за высотных зданий в современных городах европейского типа образуется сильная тяга, как в хорошей печке с высокой трубой. В результате и возникает огненный торнадо, в котором выгорает все, что может гореть. Поэтому облака сажи над городами будут гораздо плотнее по меньшей мере раз в сто тех черных облаков, которые образуются после лесных пожаров. А поскольку городов, которые подвергнутся в случае войны ядерной атаке, будет много, то можно ожидать, что последствия этих ядерных ударов станут поистине катастрофическими — над планетой повиснет множество непроницаемых сажевых облаков.

Со временем начнется, конечно, медленное просветление атмосферы — за счет дождей, за счет силы тяжести, конвекции. Но светлеть станет крайне медленно. Еще и через три месяца атмосфера полностью не очистится. Причем чем выше загрязненность, тем медленнее будет очищение.

Правде надо уметь смотреть прямо в глаза. Надо знать реальность такой, какая она есть, избегать иллюзий и думать о том, что все образуется, пройдет где-то стороной и нас не коснется. Только правда, только ясное понимание опасности, которая его ждет, дает человеку силы, поможет найти правильный выход в критических ситуациях и энергию в борьбе за этот выход. Мы должны представить себе возможные сценарии ядерной войны — пока что возможной ядерной войны. Об этом сегодня уже очень много написано и сказано.

«Ядерная зима»

Многие ныне считают, что военные объекты (в том числе стартовые позиции ракет) не только хорошо защищены, но среди них может быть и много ложных: не так-то просто определить, находится ли в шахте боевая ракета, например. У нападающей стороны поэтому не может быть уверенности в том, что, нанося удары по этим объектам, она как-то обезопасит себя от возмездия и принесет непоправимый урон противнику: у него всегда останется достаточно шансов для ответного удара. Поэтому, рассуждают военные, надо уничтожить основной потенциал противника, лишить его возможности восстановить ущерб. Этот потенциал — промышленность и люди, прежде всего люди. Вот почему массированный удар по городам — это

наиболее надежная стратегия, он наверняка приведет к большому урону. Никакая гражданская оборона не сможет защитить миллионы людей от атомных бомб — она лишь смягчит последствия разрушений и радиации. А люди — это основная ценность любой страны. Ее труднее всего восстановить. Вот так откровенно писали еще в шестидесятых годах американские военные, да и не только военные.

На грани восьмидесятых годов этой же проблемой стали заниматься ученые, но уже совсем с других позиций. Возможные сценарии ядерной войны стали изучать те, кто хотел преградить путь ядерному кошмару и предостеречь человечество от возможной катастрофы.

Профессор астрономии Корнелльского университета (США) Карл Саган и его сотрудники впервые оценили воздействие ядерной войны на климат, изучая те пожары, которые возникнут после ядерных ударов. Группой Сагана была рассмотрена целая серия взрывов мощностью от 100 до 25000 мегатонн, причем каждый раз, то есть в каждом сценарии, рассматривался тот способ использования ядерного горючего, который приносит максимальный ущерб. Такой подход вполне оправдан. В подобных сверхопасных ситуациях риск недопустим и надо ориентироваться на наихудший случай. Это важнейший принцип системного анализа подобных кризисных ситуаций.

Наиболее вероятной, если здесь уместно говорить о вероятном, авторы считали ядерную войну мощностью в пять тысяч мегатонн, то есть когда будет использовано примерно 400—500 тысяч бомб той мощности, которые были сброшены на Хиросиму. Этот сценарий авторы назвали базовым.

Итак, в сценарии Сагана предполагается, что тысячи и тысячи мегатонн ядерной взрывчатки будут обрушены на города северного полушария. Зная, сколько ядерного горючего надо затратить на крупный город, чтобы вызвать в нем огненный смерч, нетрудно сосчитать, во скольких городах северного полушария пять тысяч мегатонн ядерных зарядов смогут вызвать огненные торнадо. Оказалось, что того количества ядерного горючего, которое будет истрачено согласно базовому варианту сценария войны, достаточно, чтобы около тысячи крупнейших городов северного полушария подверглись разрушительному действию огненных смерчей. Профессор Саган и его сотрудники вычислили количество сажи, которая поднимется в атмосферу и образует над городами черные сажевые облака. Используя данные Крудцена, можно подсчитать, какая доля обычного солнечного света под покровом этих облаков сажи достигнет земной поверхности, когда и в каком темпе атмосфера начнет просветляться. Огромная территория северного полушария уже в первые часы войны окажется накрытой практически непроницаемыми для света сажевыми облаками. Очищение будет проходить очень медленно. И даже в конце года после катастрофы земная атмосфера не вернется полностью к начальному состоянию — на самом деле очищение атмосферы будет проходить еще медленнее, чем это предполагал сценарий.

И вот впервые на страницах журналов, пока еще не научных, появились выражения «ядерная ночь» и «ядерная зима». Эти выражения были вполне оправданными, поскольку под покрывалом сажевых облаков действительно устанавливалась ночь. И не просто ночь, а ночь более темная, чем самая темная, безлунная. Очень быстро под этими облаками Земля начнет остывать. Вместе с ночью неизбежно придет холод. И он, может быть, сохранится в течение нескольких месяцев. Картина, нарисованная авторами сценария, позволяла представить себе, что ожидает тех, кому под покровом этих «облаков» удалось пережить огненный торнадо. Может быть, они будут завидовать тем, кто погиб в первые минуты ядерной войны?

А что будет с остальным миром? Ведь эти облака на одном месте не останутся. Воздушные течения будут переносить их с места на место. Повлияют ли они на климат в глобальном масштабе? Только ли на Севере развернется трагедия, описанная в сценарии профессора Сагана, или местом ее действия будет вся наша планета? Ответ на этот вопрос представлял не только научный интерес. Я бы сказал даже, что он имел политическое значение и мог оказать известное влияние не только на ход антивоенных движений, но, может быть, и на важнейшие политические решения.

Вот почему, как только в Вычислительном центре Академии наук СССР были получены сценарий Сагана и те предварительные расчеты, которые были сделаны американским астрономом и его коллегами, мы решили «проиграть» этот сценарий на нашей математической модели. Система «Гея» дает возможность описать процессы, протекающие в биосфере, если заданы «внешние факторы» и начальное состояние биосферы. Сценарий Сагана как раз их и определяет.

Что может произойти?

Итак, в мае 1983 года мы приняли решение об исследовании с помощью системы «Гея» климатических последствий ядерной войны, если она будет следовать базовому сценарию Сагана. Расчеты были проведены летом 1983 года на электронно-вычислительной машине БЭСМ-6. Результаты оказались ошеломляющими. Когда в июне 1983 года Г. Л. Стенчиков принес мне первые расчеты, я им просто не поверил и подумал, что мы допустили где-то ошибку. Расчеты были многократно проверены и уточнены. Их результаты оказались правильными — ошибок не было!

Эти расчеты заставили нас совершенно по-новому взглянуть на возможные последствия ядерной войны. Стало ясно, что ядерный конфликт приведет не к локальным похолоданиям и мраку под пологом разорванных сажевых облаков, а к глобальной «ядерной ночи», которая продлится около года. Расчеты на компьютере показали: Землю окутает тьма. Сотни миллионов тонн грунта, поднятого в атмосферу, дымы континентальных пожаров, зола, сажа горящих городов и лесов сделают наше небо непроницаемым для солнечного света. В дальнейшем произойдет полная перестройка атмосферной циркуляции. Пятна сажевых облаков постепенно сольются в одно целое, и через полтора-два месяца вся Земля окажется окутанной сплошным черным покрывалом, практически не пропускающим света. Уже в первые недели средние температуры северного полушария упадут на 15—20 градусов ниже ординара. Но в отдельных регионах, например в Северной Европе, падение достигнет 30 градусов, а на Восточном побережье США и в центральных районах Сибири — даже 40—50. Похолодание охватит также и значительно более южные районы. Так, например, в Саудовской Аравии к концу первого месяца после ядерной катастрофы температура упадет на 30 и более градусов. В дальнейшем, по мере образования сплошного сажевого одеяла, похолодание распространится и в южное полушарие. В экваториальной зоне температура упадет тоже на 15—20 градусов ниже ординара. Похолодание произойдет даже в Австралии, Южной Америке. Здесь также установятся «ядерная ночь» и «ядерная зима». Уже к началу третьего месяца после ядерной катастрофы черное покрывало сажи целиком окутает всю Землю. Резкие колебания температур между океаном и сушей приведут к появлению в прибрежной зоне штормов и ураганов — еще одной характерной особенности атмосферной циркуляции времен ядерной ночи.

Постепенно сажа будет, конечно, оседать, атмосфера начнет просветляться и прогреваться. Но поскольку конвекция исчезнет, то оседание сажи и пыли будет происходить только за счет силы тяжести. Благодаря этому процесс возвращения атмосферы к начальному состоянию окажется значительно более продолжительным, чем это предполагалось по начальному сценарию, в котором не учитывались динамические факторы.

Одновременно с просветлением начнется медленное прогревание атмосферы. Оно будет происходить гораздо медленнее, чем это ожидалось авторами сценариев. И причиной его будет также сверхустойчивость атмосферы. Представим себе, что мы хотели бы вскипятить стакан воды нагреванием только одной свободной поверхности, например, положив на поверхность воды электрическую спираль. Таким способом мы в конце концов сможем нагреть воду. Но затратим на это очень много времени, поскольку нагревание будет происходить только за счет теплопроводности. Совсем другое дело, когда мы нагреваем воду снизу. Тогда нагретая вода поднимается наверх, уступая место более тяжелой холодной воде, которая опускается вниз и затем снова нагревается, поднимаясь наверх, и так далее. В этом случае возникает конвекция, жидкость перемешивается, и нагревание идет быстрее.

Вот почему, несмотря на то, что замутненная атмосфера и сажевые облака в тропосфере будут нагреты очень сильно, прогревание атмосферы займет многие и многие месяцы. Первыми потеплеют Гималаи и другие высочайшие горные хребты. При температурах в десятки градусов выше нуля начнут таять вечные снега и огромные массы воды низвергнутся вниз — еще один катаклизм «ядерной зимы». Но он уже, наверное, будет происходить без свидетелей. Этот процесс захватит и Антарктиду, чьи ледники вздымаются на высоту до четырех километров.

Из-за огромной теплоемкости воды океан практически не остынет. Температура его поверхности понизится всего лишь на полтора-два градуса по отношению к ординару. В результате возникнет огромная разность температур между сушей и океаном и между воздухом и водой. Можно представить себе, какие штормы будут бушевать в прибрежных районах.

В нашем Вычислительном центре мы провели расчеты процессов в атмосфере и океане на интервале в 380 дней после ядерной катастрофы. Они показывают, что и тогда, когда температура на земной поверхности резко повысится, атмосфера все еще не будет полностью просветлена и ее состояние окажется весьма далеким от установившегося. Биосфера в результате ядерного удара совершенно изменится. Но в каком состоянии она будет, какой будет климат и окажется ли вообще пригодна Земля для того, чтобы приютить у себя остатки рода человеческого,— на эти вопросы мы пока еще ответить не можем.

Расчеты 1983 года были многократно повторены. Модель непрерывно совершенствовалась, но результаты оставались практически одними и теми же.

В 1984 году мы провели новые расчеты, которые показали, что даже если в ядерной войне будет использовано всего лишь 100—150 мегатонн ядерного горючего, в 50 раз меньше, чем по сценарию Сагана, и они будут распределены надлежащим образом по основным городам Европы, Азии и Америки, то эти города также сгорят в огненных вихрях. В результате образуются облака сажи такого размера, что «ядерная зима» все же наступит. Только закончится она не через год, а через несколько месяцев. Но и это достаточный срок, чтобы покончить с человечеством. А что такое

100—150 мегатонн? Это количество ядерного оружия немногим превышает то, которое несут на себе атомные подводные лодки. Такие цифры дают представление о том, над краем какой бездны мы сейчас оказались.

Конечно, необходимо оговорить и ту неопределенность, те неточности и возможные ошибки, которые мы допускаем в расчетах, используя модель «Гея». Делая свои выводы, наука всегда должна их рассматривать критически.

Наши расчеты, конечно, неточны, но существует одно обстоятельство, которое не только оправдывает всю нашу деятельность, но и делает наши выводы — основные тенденции, которые мы обнаружили,— вполне достоверными. Я все время подчеркивал то, что мы проводили много разных расчетов, варьировали параметры в допустимых пределах, в десятки раз меняли мощность ядерных ударов, но основной вывод оставался неизменным: после ядерной войны наступит «ядерная ночь», которая будет длиться долгие месяцы. И вместе с ней наступит «ядерная зима». Она скует Землю. Источники пресной воды замерзнут, и пережить этот кошмар не будет дано никому, где бы он ни жил — в Америке, Европе или на Южном полюсе. И еще одно — в самом ядерном ударе уже таится возмездие. Результат практически не зависит от того, будет нанесен ответный удар или нет. Пострадают не только те, которые подвергнутся удару. Погибнут также и инициаторы ядерного удара — «ядерная ночь» и «ядерная зима» не пощадят никого. Да кто бы ни нанес первый удар, в каком бы районе планеты это ни случилось, произошел бы ответный удар или нет, в любом случае никому не удастся пережить катастрофу. И того, кто нажмет кнопку пускового устройства, ждет такая же судьба, что и жителей атакуемых городов. Та же участь уготована и тем странам, которые вообще не примут участия в войне.

Однако представить себе состояние биосферы, когда после просветления все снова вернется в равновесное состояние, очень непросто. Любая нарисованная нами картина будет гаданием на кофейной гуще. Тем не менее несколько замечаний я все же позволю себе сделать.

Биосфера, я в этом уверен, сохранится. Жизнь не будет целиком снесена с поверхности Земли. На ней сохранятся ее очаги, которые дадут начало новому развитию. В. И. Вернадский заметил, что, несмотря на катаклизмы, которые, безусловно, были в истории планеты, несмотря на смены климата и другие факторы, которые приводили к полной перестройке биосферы, объем биомассы в биосферах прошлых времен был практически одним и тем же. Жизнь, живое вещество удивительно быстро приспосабливались к новым условиям и после каждой катастрофы заполняли все возможные экологические ниши, все те области нашей планеты, которые могли быть приспособлены для жизни. Воистину справедливы слова — «природа не терпит пустоты!».

Но что собой будет представлять эта новая обедненная биосфера? После «ядерной зимы» высшие животные вряд ли смогут сохраниться или долго просуществовать при высоком уровне радиации, потоке солнечного ультрафиолета, который не будет задерживаться поврежденным озонным слоем. А когда он восстановится, сказать очень трудно. Мне представляется, что та биосфера, которая может возникнуть после ядерной войны, вряд ли будет пригодна для жизни человека. Во всяком случае... в первый миллион лет!

Ядерная война означает для человеческого мира вечную ночь.

По окончании конгресса «Мир после ядерной войны» состоялся телемост «Вашингтон — Москва». Он связывал зал отеля «Шеротон» в Вашингтоне, где проходил конгресс, и зал телецентра в Останкине. Каждый из участников видел на больших экранах другой зал, отстоящий от него на десять тысяч километров. Он не только слышал, но и видел каждого из выступающих. Мог задать любому из них вопрос, где бы тот ни находился. Сама по себе эта картина уже была весьма впечатляющей — наглядная демонстрация современных возможностей телевидения, вычислительной техники и спутниковой связи.

Мне как руководителю советской делегации на вашингтонском конгрессе было предоставлено слово. И, говоря из Вашингтона, я обращался прежде всего к моим коллегам в Москве, которых я видел перед собой в Останкине, чью реакцию на мои слова я видел. В своем кратком выступлении я назвал имена тех сотрудников Вычислительного центра АН СССР, которые вынесли основную тяжесть работы, и попросил их — они были в этот момент в Останкине — показать несколько диаграмм. А в конце я сказал о том, что самым важным итогом прошедшей конференции было, вероятно, совпадение результатов расчетов, проведенных в Советском Союзе и в США. Проведенных совершенно независимо друг от друга! Это заставит, наверное, людей лучше поверить в то, что их ждет, если однажды какой-нибудь маньяк развяжет ядерную войну. А в заключение телемоста академик Е. П. Велихов, подводя итоги дискуссии, произнес фразу, очень точно отражающую новую ситуацию, сложившуюся в мире: «Теперь стало всем ясно, что ядерное оружие уже не инструмент политики и даже не инструмент войны. Это инструмент самоубийства».

На краю пропасти

Итак, в 1983 году ученые доказали, что последствий современной ядерной войны человечество не переживет. Наде-

емся, что этот факт приблизит перелом в отношении людей к тому бегу к пропасти, который с каждым годом становится все более стремительным. Ядерная война — один из примеров неразумного и бесконечно опасного способа использования своей мощи для решения человеческих междоусобиц. Использование ядерного оружия, как мы об этом только что говорили, способно полностью извести род человеческий. Но ядерная война — это далеко не единственный способ поставить человечество в условия, когда возможность его дальнейшего существования окажется весьма проблематичной. Нечто подобное эффекту «ядерной ночи» и «ядерной зимы» может возникнуть на Земле и от обычного оружия.

Человечество действительно подошло к порогу того этапа эволюции нашей планеты, который В. И. Вернадский и П. Тейяр де Шарден назвали периодом ноосферы. На этом этапе благодаря непрерывно возрастающему воздействию человека на природу, все эволюционные процессы, процессы развития биосферы многократно ускоряются — определяющим фактором эволюции планеты становятся действия людей. В этих условиях коллективный разум должен сделаться способным определять пути эволюционного развития, а человечество — ответственным за дальнейшую судьбу планеты, биосферы и самого человеческого общества. У него нет особого выбора: либо люди научатся жить в согласии и коллективными усилиями вырабатывать общую стратегию в своих взаимоотношениях с природой, либо... либо цивилизация угаснет. Может быть, постепенно, а может быть, и катастрофически быстро.

Я уже обращал внимание читателя на то, что возникновение ноосферы — превращение биосферы в сферу разума — это такой же естественный этап эволюции планеты (если он состоится!), как появление жизни, образование биосферы, как появление человека и разума. Очень важно подчеркнуть единство всех процессов развития как процессов самоорганизации материи, материального мира. Это означает, что существуют некоторые общие законы развития материи, справедливые для любого ее этапа — и для периода становления жизни, и периода антропогенеза, становления человека, и периода, когда судьбы природы начинают переплетаться с судьбой общества — периода становления ноосферы.

Очень важно в учении В. И. Вернадского — ясное понимание того, что переход биосферы в ноосферу, в сферу разума, не может произойти автоматически. Человек всегда изменял окружающую среду, следуя тем или иным из своих интересов. Одновременно он и сам адаптировался к ее особенностям и изменениям. До поры до времени все это происходило медленно и стихийно. Но постепенно интенсивность воздействия человека на природу становилась все сильнее. В. И. Вернадский полагал, что неизбежно наступит время, когда человек сделается основным фактором эволюции биосферы, и тогда, когда это случится, свойства окружающей среды станут изменяться столь быстро, что человечеству потребуется выработать единую стратегию развития биосферы и новые стандарты своей организации, своего образа жизни. Вряд ли только В. И. Вернадский предполагал, что это время настанет столь скоро!

Стремление выдающихся естествоиспытателей осмыслить окружающую их жизнь, понять тенденции ее развития, попытки нарисовать себе общество будущего весьма характерны. В. И. Ленин говорил, что ученые, специалисты-естественники в частности, придут к признанию коммунизма через данные своей науки, придут по-своему. Именно эту тенденцию мы прослеживаем на эволюции взглядов В. И. Вернадского. Не случайно в суровые годы Великой Отечественной войны незадолго до ее окончания он писал: «Мы входим в ноосферу... Но важен для нас тот факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому в наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим».

Проблема, над которой задумывался великий ученый, полна неопределенностей: мы очень многого еще не знаем, плохо представляем наши возможности в критических ситуациях. Нас ждут новые научные открытия и технические свершения. Огромную трудность представляют и объективно существующая множественность условий, необходимых для развития общества, различие целей, противоречивость стремлений людей, живущих в разных политических, социальных и природных условиях. И тем не менее приходится уже сегодня в силу экологического императива искать и принимать спасительные решения.

Поиск новых путей

Я надеюсь, что предыдущие страницы убедили читателя в том, что наука уже сегодня способна играть роль надежного поводыря в сложном переплетении взаимозависимостей, которые существуют между действиями людей и природными факторами. Я уверен, что как бы сложна ни была ситуация, наука позволит в определенных условиях найти проход между Сциллой и Харибдой, который на современном этапе истории способен привести к гармоническому развитию природы и общества. С каждым годом наука обретает новые возможности изучения более сложных ситуаций и получения более точных ответов на возникающие вопросы. Вот почему мы верим, что завтра окажемся способными сделать то, что кажется трудным сегодня.

Этот оптимизм базируется не только на успехах естественных наук, но и на последних достижениях информатики. Возможности создания вычислительных комплексов, имитирующих процессы, протекающие в природе, чрезвычайно расширились. Создание систем, простейшим примером которых была система «Гея», позволяет объединять неформальные знания человека об окружающей среде, его интуицию, талант с возможностью компьютера анализировать сложнейшую систему связей, существующих между всеми элементами окружающей среды. Это объединение человека и компьютера дает новые знания, принципиально недоступные традиционным методам исследования. Впервые человек становится способным изучать биосферу как единое целое. Наукой уже проложены первые пути нового знания, и мы уже знаем, что эксперименты со сценариями позволяют видеть возможные последствия тех или иных человеческих действий. Нам постепенно становится доступным определение критических значений характеристик биосферы — фрагментов роковой черты. Но как бы ни был важен и эффективен инструментарий, созданный естественными науками, остается проблема выбора самих действий.

Естественные науки на самом деле могут указать людям лишь ту черту, переступать за которую нельзя. Но где гарантия того, что человек примет это предупреждение и не переступит роковую черту, что его действия будут отвечать требованиям экологического императива? Как уберечь человечество от действий, которые смертельны для него самого? Всякий ли раз мы действуем разумно? А действуя себе во вред, всякий ли раз мы отдаем себе в этом отчет? И как добиться такого положения, чтобы к голосу естественных наук прислушивались все? Ведь без этого путь в эпоху ноосферы заказан.

Римский клуб, созданный покойным Ауриелли Печчеи, одним из бывших директоров фирмы Оливетти, объединил обеспокоенных людей — бизнесменов, ученых, интеллигентов, видевших экологические, демографические и экономические трудности, которые сегодня встают перед человечеством. Опираясь на ряд частных фондов (на фонд Фольксвагена, например), они заказали несколько крупных исследований, цель которых состояла в изучении явлений общепланетарного характера, которые сейчас происходят в экономической и экологической сферах. Их работы качественно отличались от тех, которые делали мы. Не только по методам. Я думаю, что главная задача, которую пытались решить авторы этих работ,— обратить внимание широкой общественности на катастрофические последствия, ожидающие человечество в том случае, если будет продолжаться неограниченный рост населения, загрязнение окружающей среды, исчерпание природных ресурсов.

Мы стремились достичь совершенно иных целей. Нашей главной задачей было создание инструментария глобальных исследований. В работах Клуба было построено несколько глобальных моделей, которые в отличие от наших исследований позволяли оценить некоторые характеристики мирового экономического процесса также в зависимости от того или иного сценария человеческой деятельности. Однако биосфера в моделях Римского клуба являлась своеобразным пассивным фоном, хотя некоторые особенности экологических процессов им учитывались. Начало этим работам положил Джей Форрестер, который в своей поистине пионерской работе «Мировая динамика» предложил первый, достаточно общий подход для описания мирового экологического процесса. Впервые оказались завязанными в одну математическую модель процессы развития экономики, демографии и загрязнения окружающей среды. Несмотря на всю условность предложенного описания, публикация и расчеты, полученные с помощью модели Форрестера, знаменовали собой важный этап развития глобальной экологии человека.

Работы Римского клуба в той или иной форме предлагали изучать варианты будущего развития, исходя из положения, что они будут следовать тем же законам, какие сегодня управляют рыночной экономикой. И не только самой экономикой, но и современным капиталистическим миром. Предполагалось, например, что все демографические процессы будут течь по тому же руслу, что и в последние десятилетия. И вот в этих предположениях авторы различных работ приходят практически к одному и тому же выводу. Рост капитала, энерговооруженности, населения, ограниченность земных ресурсов, рост загрязнения неизбежно поставят человечество на грань катастрофы, начнет снижаться жизненный уровень населения — Форрестер считал, что его максимум уже пройден на грани шестидесятых и семидесятых годов. Из-за недостатка пищи и загрязнения резко увеличится смертность. Расчеты показывают, что все эти ужасы лежат не за горами. Дыхание кризиса почувствует уже нынешнее поколение. Речь идет буквально о ближайших трехчетырех десятилетиях. Конечно, это еще не апокалипсический финал, но трудности возникнут беспрецедентные.

Я полностью разделяю эти выводы, но придаю им несколько иную окраску. Главной бедой являются сегодня не научно-технический прогресс и рост могущества цивилизации, как это хотят представить авторы работ Римского клуба, а способы использования всего того, что находится в руках человека, та стихия, которая управляет большей частью нашей планеты. Работы Римского клуба лишь подтверждают основной тезис В. И. Вернадского о необходимости вмешательства разума в процессы раз-

вития природы и общества, о необходимости перехода к эпохе ноосферы, эпохе направляемой эволюции.

Но для того, чтобы найти выход, чтобы предложить альтернативные пути развития общества и его взаимоотношений с природой, необходим глубокий научный анализ, далеко выходящий за пределы традиционных экономических и экологических исследований.

Однако кавалерийский наскок, который был сделан Д. Форрестером и его последователями в 70-х годах на труднейшую проблему современности, конечно, не прошел даром и принес определенную пользу. Исследователи теперь уже были способны оценить возможности, реальные трудности и перспективы глобального анализа. Но был еще один важный результат этой деятельности: проблемы кризисного характера, проблемы последней черты, которую нельзя переступать нашей цивилизации. Эти проблемы приковали внимание самой широкой общественности во многих странах Запада и Востока, Севера и Юга. Люди стали понимать, что возможные катастрофические последствия неконтролируемой и неуправляемой человеческой деятельности — реальность, с которой сегодня уже нельзя не считаться. Возник и утвердился новый термин — коэволюция человека и биосферы. Вероятно, раньше всего он появился еще в шестидесятых годах в лекциях Н. В. Тимофеева-Ресовского. Но совершенно независимо он стал использоваться в США и Западной Европе. Благодаря исследованиям 70-х годов обеспечение коэволюции стало превращаться в одну из центральных проблем мировой науки.

Институты согласия

Итак, по моему глубокому убеждению, на современном этапе особое значение приобретают анализ конфликтов и методы поиска возможных компромиссов. Как и всякое коллективное решение, компромисс — это результат коллективного творчества. Значит, это результат коллективных усилий и создание необходимого инструмента должно стать предметом специальных международных программ.

Эта деятельность не может быть стихийной — она требует глубоких специальных знаний. Простого опыта, которого достаточно для принятия простых решений, в сложных противоречивых ситуациях, возникающих сегодня в экологии человека, заведомо недостаточно. Даже тот факт, что взаимовыгодные эффективные компромиссы могут существовать, и то неочевиден. Я не раз сталкивался во время дискуссий с искренней убежденностью очень квалифицированных людей в том, что компромиссов в современных экологических ситуациях нет и быть не может! Вот почему следует показать необходимость возникновения специальной дисциплины, которая объединяла бы в себе методологические принципы, экономический и экологический анализ с эффективными методами информатики и прикладной математики, позволяющими отыскивать взаимовыгодные коллективные решения.

Если мы будем изучать эволюцию живой материи, то увидим, что наряду с борьбой между отдельными организмами за пищу, солнце всегда играла большую роль кооперативная, совместная деятельность организмов. Кооперация, кооперативное поведение — это столь же естественный механизм самоорганизации живой материи, как, скажем, и внутривидовая борьба. Примеров кооперативной деятельности можно привести сколько угодно. Даже появление многоклеточных существ следует трактовать, как проявление кооперативного начала. Стадная организация живых существ — еще один пример кооперативной деятельности.

Я уверен, что правильно понять общую картину эволюции жизни на нашей планете нельзя без ясного понимания роли кооперативного начала в развитии живого вещества.

История антропогенеза, то есть история становления человека, может быть изложена в контексте истории постепенного развития кооперативности. Создание племенных организаций неоантропов — наших далеких предков, совместный труд, а позднее зачатки разделения труда — это все результаты действия кооперативных механизмов, объединяющих усилия для достижения общих целей, смысл которых — обеспечение стабильности рода, племени, популяции.

Но самым ярким проявлением кооперативности является, вероятно, отказ нашего предка от индивидуального развития в угоду развитию общественному — переход эволюции на новые рельсы общественного развития, возникновение морали, нравственности, запрета «не убий», который существует у всех народов, во всех религиях. Без этого кооперативного акта не могла бы возникнуть общественная форма жизни и современная цивилизация.

Действительно, эта система запретов обеспечивала возможность возникновения новой формы памяти, которая отсутствует у других живых существ. Мораль обеспечивала сохранение тех, кто был носителем и хранителем знаний, мастерства — всех тех навыков, которые не передаются генетической памятью и обучением по принципу «делай, как я», распространенных у животных.

До поры до времени разрешение любых конфликтных ситуаций — так мы будем называть ситуации, в которых нет тождественности целей, интересов, стремлений,— носило стихийный характер. Возникали распри, заканчивающиеся войнами и уничтожением подчас целых цивилизаций. Возникали также дружественные союзы. Иногда кооперативность насаждалась огнем и мечом, как это было, например, при объединении феодальных княжеств.

Теперь, в преддверии эпохи ноосферы, когда каждый неосторожный шаг грозит непоправимыми последствиями, стихийное разрешение конфликтных ситуаций уже недопустимо. Так же, как и развитие биосферы, разрешение конфликтных ситуаций, во всяком случае, достаточно масштабных, должно быть прерогативой разума, должно быть направляемым, должно вершиться в интересах той новой общности, которую в эпоху ноосферы предстоит образовать человечеству. Поэтому стихийному началу в разрешении возникающих споров должны прийти на смену процедуры и методы, основанные на твердом научном фундаменте, на глубоких знаниях тех перспектив, которые открывают совместные усилия.

Я уже познакомил читателя с нашими исследованиями «ядерной зимы» и «ядерной ночи». Они, как нам кажется, должны убедить непредубежденного человека в том, что ядерная война означает конец цивилизации, конец человечества, конец всему! Я также рассказывал о том, что возможны и другие типы нагрузок на биосферу, которые способны привести к необратимым процессам. В результате подобного хода биосфера может прийти в такое состояние, которое исключит возможность существования человека. Поэтому кажется, что общей целью человечества, всех народов и государств вне зависимости от их социального строя, географического положения, исторических традиций является сохранение стабильности биосферы, ее основных свойств.

Появление общих целей — это то новое, что пришло в нашу жизнь в конце XX века. Оно может, как мне кажется, сделаться и той причиной, которая побудит народы искать приемлемые компромиссы в отношениях с природой и между народами, которые были бы способны обеспечивать необходимую стабильность окружающей среды и, конечно, исключали бы риск военных столкновений. В противном случае все остальные цели и стремления окажутся просто лишенными смысла. Вот тут и понадобилось учение о ноосфере. Оно было просто необходимым. Если бы его не было, его пришлось бы создать. Оно позволило нам уяснить и обосновать наши посылки, представить себе их естественнонаучную природу. А исходный пункт? Им, наверное, было некое интуитивное общее представление, интуитивная убежденность в существовании законов, единых для всей живой и неживой, разумной и неразумной материи, одухотворенности, осмысленности природы,— представление, столь характерное для русской интеллектуальной традиции. И не последнюю роль в передаче такой традиции от поколения к поколению играли знакомые с юности тютчевские строки:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездумный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Может быть, в этом четверостишии — квинтэссенция всего учения о ноосфере как о неизбежности, закономерности воссоединения разума и природы. Оно отражает то умонастроение, которое владело русской интеллигентной средой второй половины XIX века, в которой воспитывался В. И. Вернадский и которое положило начало его жизненному подвигу.

Конечно, создать какую-то стройную теорию развития материального мира, ведущую к эпохе ноосферы, В. И. Вернадский еще не мог — наука того времени просто не была для этого готова. Собственно, и сегодня для создания подобной теории у нас нет еще достаточных знаний. Создание такой теории — дело будущего. В самом деле, ведь такая синтетическая теория должна объединять в себе множество наук, естественных и гуманитарных, рассмотрев их достижения и методы в новом и необычном для этих дисциплин ракурсе. Но как раз здесь В. И. Вернадскому удалось далеко опередить свое, а отчасти и наше время: он сумел увидеть изучаемый предмет принципиально по-новому, как некогда это сумели сделать Галилей, Ньютон, Дарвин. А в науке такой взгляд часто оказывается поворотным моментом истории.

Мне хотелось обратить внимание читателя на то, что это свершилось в нашу эпоху, эпоху непрерывно растущей специализации, когда происходило обособление наук вследствие их растущей сложности и стала очевидной необходимость их синтеза. Вот почему построение схемы, включающей в себя как абсолютную необходимость гуманитарное мышление и обществоведение, носило поистине революционный характер. Я не случайно употребил слово «подвиг». К проблемам развития материи В. И. Вернадский подошел как естественник, прежде всего как геохимик. В этом и было величие его дела, его значение для будущего.

Сегодня его взгляды подтверждены исследованиями физиков, биологов, геохимиков. Ученики и последователи В. И. Вернадского — Н. В. Тимофеев-Ресовский, В. Н. Сукачев, В. И. Костицин и многие другие — заложили основу для системного анализа развития биосферы, ее взаимодействия с человеком.

До сих пор все попытки применить эти понятия к природе в основном были прерогативой религиозных учений, предполагающих существование «высшего разума», управляющего природой, и «высшую цель», к достижению которой направляют природу веления этого «высшего разума». Теперь же вместо этой умозрительной категории мы говорим о разуме человечества и о целях развития человека, которые мы начинаем обсуждать так же, как и способы их достижения.

Ученые-материалисты ко всем рассуждениям и представлениям о «высшем разуме» и «высшей цели» относились по меньшей мере настороженно. И не только из-за мировоззренческой неприемлемости их философской основы, но и просто потому, что все «высшее» лежит как бы за пределами нашего познания, а значит, ученому здесь нечего делать: его работа — изучать и познавать то, что еще не познано, объяснять то, что познаваемо! Великая заслуга В. И. Вернадского именно в том, что он стал искать смысл в природе и ее превращениях именно как естественных, биохимических. С этих позиций он увидел и сумел представить Землю как саморазвивающуюся, самоорганизующуюся систему, доказать, что это развитие на всех стадиях подчинено *общим* законам и в этом смысле целенаправленно. И как бы ни различались между собой стадии развития природы, эти законы сообщают каждой из них свою закономерность, делают эволюцию в целом и, в частности, появление жизни и разума процессом не случайным, а закономерным. Добытая им прозрачность понятий и стройность мирового развития — одно из величайших прозрений человеческого гения.

Стратегия Разума

Появление Разума создает новые потенциальные возможности для направленной эволюции земной жизни. Но Разум распределен между всеми людьми — он подобен рассеянной энергии. Значит, для того чтобы эту потенциальную возможность превратить в реальность, необходимо придать Разуму определенную структуру, организованность. Собрать рассеянную энергию в единое целое невозможно. Таковы законы физики. А вот Разум можно! Возникает ситуация, в которой присутствуют некоторый общий интерес, общая цель и проявляется кооперативное начало, свойственное всему живому, а человеку особенно. В этом случае происходит объединение усилий и в том числе объединение и умножение интеллектуальных способностей — возникает «коллективный интеллект». Теперь, в конце XX века, такая общая цель возникла — это экологический императив.

Для того чтобы выбирать способ действия, надо знать, что нам грозит. Вот почему первая задача, которая встает сегодня перед людьми,— это изучение экологического императива, тех условий, которые его составляют,— надо знать запретную черту! Пришло время разработки международной научной программы, открытой для всех ученых мира, программы приобретения новых нетрадиционных знаний, необходимых для обеспечения коэволюции человека и биосферы. Для ее реализации потребуется нестандартная организационная структура, новое мышление не только в науке, но и в политике.

Непрерывный рост концентрации углекислоты, возникающий из-за сжигания углеводородного топлива, приводит не только к изменению структуры атмосферной циркуляции, глобальному перераспределению осадков, а, следовательно, к изменению продуктивности биоты. Загрязнение океана меняет характер энергообмена океан — атмосфера и уменьшает испарение с водной поверхности, то есть уменьшается основной источник влаги на Земле. Вырубка лесов, увеличение площади пустынь, замена природных взаимосвязей искусственными — осушение болот, заполнение водохранилищ — все это влияет, и часто пагубно, на климат и продуктивность биоты. Наконец, возможные ядерные конфликты, как это уже знает читатель, повлекут глобальное изменение биосферы даже в том случае, когда в них будут задействованы лишь сотые доли ядерного потенциала. Война с использованием атомного оружия вряд ли способна полностью уничтожить биосферу, но произойдет ее перестройка в новые параметры, которые, по-видимому, окажутся непригодными для человека, а возможно, и для всех высших животных и растений.

Поскольку судьбы человечества неотделимы от судьбы биосферы, то возникает принципиально новое направление исследований — изучение биосферы как объекта управления. Первый этап любого исследования, связанного с выбором и оценкой управляющих воздействий, требует изучения реакции управляемого объекта — в данном случае биосферы — на наши воздействия. Масштаб подобных исследований выходит далеко за любые национальные рамки и требует международных усилий.

Сегодня существуют многочисленные международные научные организации, делающие полезную работу. Однако теперь речь должна идти уже о большем. Мне кажется, что пришло время создать международные институты, которые представляли бы собой межнациональные лаборатории, работающие по единому плану, с единой целью, единым банком экологических данных — банком, доступным для всех участников подобной исследовательской кооперации. Именно кооперации, в которую каждая исследовательская группа вносит то, что она умеет делать.

В эту работу мы — тот коллектив Вычислительного центра АН СССР, который я представляю,— могли бы внести определенный весомый вклад.

Сейчас идет разработка более совершенной вычислительной системы и подготовка к новой серии экспериментов, которые мы предполагаем начать уже в нынешнем году. Прежде всего мы предполагаем продолжить изучение возможных последствий ядерной войны и уточнить проведенный анализ, опираясь на тот экспериментальный материал и исследования в области микрофизики ат-

мосферы и океана, которые были опубликованы в последние годы, но главное, на что будут ориентированы наши исследования,— это проблемы влияния загрязнения океана на энергообмен океан — атмосфера и испарение с его поверхности. Мы предполагаем оценить те изменения климатических параметров и структуры атмосферной циркуляции, которые могут произойти, и реакцию биоты на эти изменения...

Мне кажется, что сейчас жизненно необходима кооперация ученых вокруг этой проблемы и разработка сценариев возможных антропогенных воздействий на биосферу — мы обязаны уметь их предвидеть. Я хотел бы заметить, что разработка сценариев — это самостоятельная и очень непростая проблема. Вообще разработка возможных вариантов человеческой деятельности и прежде всего антропогенных нагрузок на окружающую среду мне представляется специальной и очень важной сегодня областью фундаментальных исследований.

Нас многому должен научить трагический пример Чернобыля. Не только атомные электростанции, но и крупные химические предприятия — горячие точки. Наконец, существуют некоторые уникальные объекты, такие, как озеро Байкал, Великие озера, водоемы Африки, которые являются мировым достоянием. Это абсолютные ценности планеты, и их значение для ее будущего выходит далеко за любые национальные рамки. Надо учиться предвидеть их судьбу так же, как и следствия крупномасштабных инженерных проектов, катастроф в горячих точках. Мы должны всеми возможными средствами сохранять то, что уже создано природой. Природоохранительные мероприятия, главная задача которых — сохранение биологического разнообразия, должны сделаться важнейшей составляющей большой международной программы «Изучение биологического и генетического разнообразия жизни и использование этого потенциала во благо Человека».

Совершенно особое место в международных научных программах должны занимать проблемы, связанные с будущими институтами согласия. Этим термином я называю соглашения кооперативного типа, объединяющие усилия и использующие ресурсы, принадлежащие различным самостоятельным субъектам — странам, регионам, отдельным лицам,— для достижения тех или иных общих целей.

Исследования природных систем, о которых говорилось выше, позволяют нам говорить о границах дозволенного. Но где гарантия того, что найденные учеными условия обеспечения экологической стабильности будут выполняться? Для этого необходимы коллективные решения, следуя которым люди действовали бы в допустимых природой рамках. А интересы у людей разные, и вовсе не очевидно, что рекомендации науки будут ими приняты и люди придут к необходимому согласию. Такое согласие особенно важно, когда речь идет о глобальных проблемах и когда разногласие грозит человечеству.

Надо оставаться реалистом и отдавать себе отчет в том, что на планете и в будущем будут существовать страны с разными политическими, экономическими структурами, с разными шкалами ценностей, обусловленных традицией, географическими условиями и, конечно, социальной организацией. Возможно ли в таком случае найти компромиссные соглашения, способные удовлетворить то противоречивое единство, каким представляется человечество сегодня и останется в будущем, выработать рациональное коллективное поведение, которому будут добровольно следовать все страны?

Я отвечаю на этот вопрос утвердительно, полностью отдавая себе отчет в том, что его решение тем не менее беспрецедентно сложно. Но основой моего оптимизма служат результаты той исследовательской программы, которую мы совместно с профессором Ю. Б. Гермейером наметили еще в конце шестидесятых годов. В ее основе лежало достаточно очевидное соображение: если коллективное решение оказывается выгодным всем участникам той или иной конфликтной ситуации, ситуации, в которой цели сторон не тождественны, если оно в некотором смысле оптимально, то есть его нельзя улучшить одновременно для всех участников, то оно имеет шанс не только быть принятым, но и с большим основанием мы можем ожидать, что оно будет соблюдаться. Значит, основная цель научной программы — описать и изучить особенности тех ситуаций, при которых коллективные решения существуют.

Отыскание взаимовыгодного компромисса могло быть результатом только специальным образом проведенного научного анализа. Это показывает, что институты согласия могут возникнуть только на современной научной основе, поэтому роль науки должна возрастать во всех сферах жизни. Но этот тезис, к сожалению, очень медленно внедряется в сознание. Чем сложнее вопрос, чем он менее понятен традиционному мышлению, чем большее влияние на судьбы людей будет оказывать его решение, тем более тщательному и глубокому анализу он должен быть подвергнут. Особенно важно научиться использовать научные подходы при выработке разнообразных межгосударственных решений, которые всегда являются компромиссами. Необходимо знать также и то, что наука уже способна оказаться надежным поводырем, что необходимые методы анализа компромиссов уже разрабатываются.

Полюби ближнего...

Автор этой статьи — представитель естественных наук. Даже скорее «технарь». Получив изначальное математическое образование, я всю жизнь занимался техникой, механикой и теми разделами физики, которые составляют фундамент современной техники. Вот почему, когда я оказался втянутым в сферу экологической проблематики, то, естественно, стал заниматься моделированием процессов, протекающих в неживой природе,— динамикой атмосферы, океана, геохимических циклов... В результате этих исследований и возникла концепция экологического императива. Мы старались добыть те знания о естественных процессах, протекающих в окружающей среде, которые помогут уберечь человека от возможных опасностей и катастроф.

Однако по мере «вживания» в проблемы экологии я все больше понимал, что главные трудности в будущем будут связаны не с умением понять ограничения, которые накладывает на наши действия биосфера, а с самим человеком, его способностью принять экологический императив. Я видел, как из-за горизонта постепенно поднимается главная проблема современности — проблема человека.

Да, наряду с императивом экологическим существует еще императив нравственный. Но здесь мы вступаем в сферу гуманитарной культуры. Тем не менее закончить эту статью, не сказав ничего о нравственном императиве, я не считаю себя вправе.

Для того чтобы обеспечить свое будущее, человечеству предстоит столь же глубокая смена нравственных принципов, какая произошла на заре становления общества, когда нормы поведения в стадах неоантропов сменились основами человеческой морали.

Однако в отличие от предков у нас нет времени, нет не только тысяч, но и десятков поколений. Экологический кризис надвигается стремительно, и в середине следующего века положение человечества может оказаться катастрофическим, даже если силовые приемы разрешения противоречий окажутся под запретом. Природа не дает нам времени для адаптации. По той же причине и «естественные» механизмы отбора оказываются заведомо непригодными. Но зато ныне у человека есть ясная цель, понимание обстановки и путей поиска решений.

Куда же идти?

Это труднейший вопрос, но каждый исследователь, во всяком случае, для себя, должен его решить. И в своих размышлениях на эту тему я, конечно, отправляюсь от позиции той науки, которой занимаюсь последние десятилетия,— информатики и теории управления.

Поговорим сначала о механизмах, с помощью которых можно влиять на утверждение тех или иных принципов нравственности. Думаю, что решающую роль здесь предстоит сыграть институту, который я называю «Учитель». Ведь именно ему, этому институту, наши далекие предки обязаны тем, что они стали людьми, всеми достижениями цивилизации, своей моралью и нравственностью, тем, что человечество еще существует.

Когда я пишу с большой буквы слово «Учитель», то имею в виду всю систему воздействия на человеческое сознание, психику, которые оказывают семья, школа, общественная среда и, конечно, характер трудовой деятельности. От совершенства этой системы, ее соответствия внешним условиям, характеру производительных сил и другим общественным структурам прямо зависели благополучие и прогресс обитателей пещеры, племени, нации, народа... И в будущем совершенство системы «Учитель», ее соответствие современным условиям, способность формировать нравственные принципы сделаются, по моему мнению, важнейшей задачей цивилизации — в эпоху ноосферы может вступить лишь по-настоящему интеллигентное общество, понимающее свои цели, отдающее отчет в трудностях, стоящих на пути своего развития, способное соизмерить свои потребности с теми возможностями, которые дает ему природа.

В эпоху ноосферы огромную роль будет играть личность учителя. Читателю может показаться преувеличением, но я убежден, что в том новом состоянии человечества, которое будет удовлетворять требованиям экологического и нравственного императива, учитель сделается центральной фигурой. Я даже думаю, что каждый человек, претендующий на роль руководителя в любой сфере деятельности — политической, хозяйственной, военной (военачальники, наверное, еще долго будут существовать на планете),— должен показать себя сначала талантливым учителем. Это своеобразный тест на право ответственности за судьбы других людей. Быть талантливым учителем, передавать другим свои знания, а особенно свои нравственные начала, преодолевать агрессивность и «сеять доброе», как говорилось в старину, куда труднее, чем быть конструктором, хозяйственником, политиком. Как этого люди не понимают до сих пор?!

Если это так, то первое, что необходимо для совершенствования системы «Учитель»,— привлечь к этой деятельности самых талантливых, умных людей, людей, способных мыслить самостоятельно. Проблема института «Учитель» общепланетарная. И в наступающем веке именно ей, я думаю, будут посвящены мысли, усилия ученых и государственных деятелей.

Мыслить по-новому — этот призыв XXVII съезда КПСС своевремен во всех сферах нашей деятельности, не только в хозяйственном управлении. Новая эпоха истории человечества, в которую мы вступаем, диктует свои требования. Это прежде всего требования экологического императива. Они постепенно все глубже и полнее понимаются учеными, и граница допустимого, «запретная черта», как я ее назвал, становится все более осязаемой. Разве трагедия Чернобыля нас мало чему научила? Значит, знания и понимание растущих трудностей все время накапливаются. Первая задача, которая встает перед системой «Учитель»,— довести эти знания до миллиардов людей. Эти знания общих опасностей будут рождать ощущение человеческой планетарной общности. Все мы должны почувствовать себя одной семьей, судьба которой зависит от всех ее членов,— вот, наверное, первый принцип нравственного императива. А для того, чтобы мы могли этого добиться, нужна широкая международная просветительская программа. Еще раз повторю: только по-настоящему интеллигентное общество будет способно переступить границу эпохи ноосферы. Распространение знаний, столь необходимых для выработки норм поведения, для осознанного принятия тех или иных ограничений, нуждается в использовании всех современных средств массовой информации. Среди них я особенно выделяю то, что теперь называется «телематика»,— симбиоз телевидения, космической связи и информатики. К примеру, телемосты, приобретающие все большее распространение.

В отличие от телевидения — одного из важнейших средств массовой информации — телематика позволяет вести активное обсуждение, проводить дискуссии между людьми, находящимися в данный момент в самых различных частях планеты. Я думаю, что со временем, когда средства телематики станут столь же дешевыми, как и современная персональная вычислительная техника, она сделается одним из важнейших способов просветительства и массового распространения необходимых знаний. Конечно, это порождает множество труднейших политических и организационных проблем. В самом деле, вся подобная деятельность должна иметь определенную направленность, может, более точно — некоторую общую составляющую. Здесь множество труднейших проблем, и не только организационных: монополизация средств массовой информации и просветительства столь же опасна, как и отсутствие любого контроля. Сочетание централизации и независимости средств массовой информации и просветительства, повышение роли международных организаций в этой сфере и их ответственности перед жителями планеты — это те вопросы, решение которых нельзя откладывать на следующий век!

Я давно сознаю необходимость нравственного императива, а пришло это вместе с понятием «роковой черты». Но что следует положить в его основу? Какова должна быть логика его развития и лаконичная формулировка основного принципа? Сегодня мне кажется, что этот основополагающий принцип уже тысячи лет бытует в человеческом сознании, по крайней мере произносится: «Полюби ближнего, как самого себя». Кто впервые произнес эти слова, не знаю. Во всяком случае, этот принцип взяло на вооружение христианство. Однако это не помешало ему жечь костры инквизиции, уничтожать альбигойцев, арабов — творить во имя великого принципа любви великую жестокость. Ислам тоже провозглашает нечто подобное, но любой человек, не исповедующий его, не только не достоин любви, но и может быть уничтожен во славу пророка. Ближний — это лишь тот, кто следует шариату, совершает нужное количество намазов. Значит, этому тезису должен быть придан иной смысл, отличный от канонизированных представлений. Наверное, принцип «полюби ближнего» еще потребует многочисленных комментариев и уточнений. Тем не менее я думаю, что ближе всего к тому смыслу, который должен лечь в основу нравственного императива, лежат представления русской мысли второй половины XIX века. Постарайтесь непредвзято задуматься над тем, о чем и как писали Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и многие другие, о том умонастроении, которое благодаря им возникло в русском обществе, и вы увидите ту глубину человечности, которую внесли наши соотечественники в мировую культуру.

Человек — отнюдь не идеальное создание по образу и подобию божьему. В нем много мерзостей. Это и агрессивность, унаследованная от его далеких предков, и трусость, и алчность, и вероломство, и страсть к стяжательству, и лживость, и многое, многое другое. Подчас становится страшно, когда осознаешь, что именно для существ, обремененных этими пороками, мы строим социализм, думаем об их будущности, тщимся их руками сделать что-то хорошее. И величие нашего классического искусства состоит как раз в том, что оно, обнажая присущие человеку пороки, показывает тем не менее, что человек, любой человек заслуживает любви и человеческого отношения.

Принятие принципа «полюби ближнего, как самого себя» — эта классическая русская традиция иногда с удивительной силой проявляется и в нашей современной литературе. Я внимательно слежу за творчеством Виктора Астафьева. Далеко не все, что он написал, мне по душе. Порой, по-моему, писатель теряет чувство меры, иногда ему недостает уважения к другому образу жизни и чужим мыслям, но в главном... Какая галерея персонажей проходит перед глазами его читателей, какое невероятное разнообразие характеров и человеческих особенностей мы встречаем в его книгах! Положительных героев, безупречных личностей я там не заметил. Но сколько любви у него к своим персонажам, боли за

их судьбы и великое желание исправить условия их жизни, сделать их такими, чтобы у каждого из них могли проявиться те потенциальные силы, которые таятся до поры до времени в каждом человеке. В каждом! Один будет способен на подвиг А. Матросова, другой станет нежным отцом или врачевателем.

Нет, не обеднела наша страна талантами, и, несмотря на все превратности судьбы, богатство мыслей и чувств, добытое поколениями наших соотечественников, живо и развивается. В Ленинграде живет и трудится замечательный художник Валентина Ивановна Гуркаленко. Она режиссер Леннаучфильма и делает почти неизвестные широкому экрану короткометражные картины. Мне довелось видеть ее фильм, посвященный И. С. Тургеневу, его музею в Спасском-Лутовинове. Вы слышите прекрасную музыку, бродите по аллеям старого парка, смотрите в окно, в которое смотрел писатель, и слышите всего лишь одну строчку: «Как хороши, как свежи были розы». Зритель выходит потрясенным. На вере в человека, извечно свойственной русской культурной традиции, в основном и зиждется система «Учитель».

Итак, будучи профессиональным «технарем», я не случайно заговорил об искусстве и гуманитарном или даже гуманистическом образовании. Чем больше я занимаюсь естественными науками, тем больше мне недостает гуманитарного образования, и чем шире становится мой общегуманитарный кругозор, тем лучше я начинаю понимать естественные науки и их место, роль в жизни людей. В средней школе я учился в те годы, когда, кроме тенденциозного обществоведения и куцего курса литературы, ничего не изучали, а знание русской истории считалось даже крамолой, великодержавным шовинизмом. Так что всем тем, что относится к гуманитарной сфере, пришлось заняться уже взрослым. Вначале мне казалось, что настоящее дело — это лишь технические науки и математика. Теперь, анализируя свой опыт многолетней не только научной, но и педагогической деятельности, я убежден в необходимости хорошего изначального гуманитарного образования. Надо заметить, что эти мысли разделяют все большее число физиков, математиков, естественников. Не зря же говорят о гуманитаризации науки.

Если первая половина XX века прошла под знаком развития технических наук и физики, если во второй половине нашего столетия на первый план стали выдвигаться науки о живом мире, то век XXI станет веком гуманитарных наук. Этот факт не умозрительный — это необходимость, диктуемая нравственным императивом. Вот почему мне кажется, что в системе «Учитель», как в содержании просветительской деятельности, так и в обучении подрастающих поколений, большую роль станут играть разнообразные знания, формирующие представления о прекрасном, о возможностях человеческого творчества.

В этом воспитательном цикле особую роль, по моему глубокому убеждению, должно сыграть искусство. То настоящее искусство, которое потрясает, открывает глаза. Эта великая сила, создающая новые ценности, перестраивающая человека, способна заставить его принять новый нравственный императив. Значит, не только знания, но и искусство в эпоху ноосферы, их единство должны стать основой системы «Учитель».

Нравственный императив потребует и нового мышления политиков, поскольку должны качественно измениться отношения между государствами, поскольку политикам придется признать невозможность использования силовых приемов для разрешения противоречий, и возможность существования общих целей сохранения экологической стабильности планеты, и, наконец, необходимость изменения моральных и нравственных принципов.

Мы вступили в такую эпоху, когда один человек может оказаться источником бедствий для всей планеты — в руках одного человека могут оказаться сосредоточенными невообразимые мощности, неосторожное, а тем более преступное использование которых нанесет непоправимый вред. Это сейчас уже многие понимают, но ассоциируют эти опасности только с пресловутой «красной кнопкой», нажатие которой отправит в путь смертоносные ракеты. На самом же деле все значительно более сложно, и человек, наделенный властью, способен, если он не обладает необходимыми нравственными качествами, нанести колоссальный ущерб развитию общества. Вот почему необходим тщательный отбор лиц, которым однажды может быть поручено управлять другими людьми, которым будут вручены права использовать во благо людей все обладаемое человечеством могущество. Людей, способных выполнять эту высокую миссию, в современных условиях называют «гармонителями».

Я во многом разделяю эти взгляды и тоже полагаю, что наступающий этап в развитии общества потребует выработки специальных требований, которым должен удовлетворять человек, предназначенный для выполнения командных функций. В эпоху ноосферы именно корпус учителей должен быть той базой и той жизненной школой, которая будет способна отбирать людей, годных для руководства, и тех, кому может быть доверено распоряжаться нашей планетой.

●

Евгений ДОБРЕНКО

Превратности метода

Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое.

Из письма А. С. Пушкина А. И. Тургеневу

I

Когда в литературном процессе стремительно нарастают качественные изменения, а уровень критики столь же стремительно отстает от их понимания, вывод следует сам собой: насущной необходимостью является переосмысление ряда фундаментальных понятий литературно-критического мышления.

В конце 70-х годов широко развернулась дискуссия о статусе критики, породившая немало статей, монографий и сборников. Не берусь судить, насколько важным был этот спор,— то ли проблем серьезнее не было, то ли спорить было не о чем больше... Одни говорили, что критика — это наука, другие — искусство, третьи — публицистика, четвертые утверждали, что это и то, и другое, и третье... Мнений было столько, сколько спорящих. А вспомнил я об этом эпизоде из жизни критики тех лет вот в какой связи: чем бы критика ни была — наукой, искусством или публицистикой,— нынешние ее беды (или, как модно сейчас говорить, «болевые точки») могут быть поняты, только если подходить к ним с научной точки зрения. Так вот, с точки зрения научной нынешнее удручающее состояние критики, а под ним я разумею весь комплекс дисциплин, связанных с изучением советской литературы, объясняется некоторой потерей социально-этических критериев и разрушением системы эстетических ценностей, на основании которых можно было бы объективно анализировать отечественную словесность.

Есть у нас краеугольное теоретическое понятие — метод социалистического реализма (онтологическое, сущностное, фундаментальное понятие) и есть история советской литературы (гносеология). Как онтологическая сторона вопроса связана с гносеологической, так же метод неотделим от истории литературы, и это обстоятельство (давно на практике преданное забвению) следует постоянно иметь в виду.

Не нужно проводить специальных исследований и подсчетов, как сделал это В. Лукьянин, чтобы убедиться: понятие «социалистический реализм» ушло из повседневной критики. В. Лукьянин объясняет это тем, что социалистический реализм-де ориентирует на о б щ е е, исторически обусловленное, коллективно завоеванное, а поскольку в литературе последних десятилетий наблюдается исключительное творческое многоголосие, то и критика сориентирована на неповторимое своеобразие писателей, и потому понятие метода ей ни к чему. Хочется возразить: в нашей критике много говорится и об общих чертах современной литературы, но «метод» все равно отсутствует в этих рассуждениях.

Почему же метод «ушел» из критики? Да потому, что в том виде, в каком он сегодня существует, им пользоваться в критической практике нельзя — это все равно, что пытаться подковать блоху подковой с конского копыта.

Вот уже по крайней мере три десятилетия серьезно больная теория метода находится на «излечении» в академической науке. Может быть, за эти годы наука излечила своего пациента и его можно «выписывать» в критическую практику? Нет, ничего подобного. Может быть, что-то прояснилось с диагнозом? Опять нет.

«Так что же делают с социалистическим реализмом в академической лечебнице наши литературоведы столько лет?» — изумится читатель. О, многое! Во-первых, они его з а щ и щ а ю т.

Началось с того, что защищали от модернизма. Сколько конференций, монографий, сборников научных статей было посвящено этим сопоставлениям! Что же доказывали и доказывают наши ученые мужи там? Оказывается, все шло по принципу: «Спорьте! Ответ готов». Все спорили о каких-то частностях, доказывая на тысячах страниц, что социалистический реализм лучше модернизма, поскольку у нас идеалы высокие, а у модернистов то ли их вообще нет, то ли они античеловечны.

Споры тех лет, как в 30-е, так и в 50-е годы, носили чисто *идеологический* характер. Какова же была подоплека этих споров на рубеже 60-х годов? Нужио было отказаться от узкого понимания реализма как изображения жизни только «в формах самой жизни» (считалось, что этим можно будет избавить теорию метода от догматизма). В результате этих многолетних споров «впустили» в социалистический реализм писателей, использовавших в своем творчестае условиость. Не более того.

Так появилась в 70-е годы теория социалистического реализма как исторически открытой эстетической системы, выдававшаяся за огромиое достижение нашего демократизма тех лет. Сколько было н ведется по сей день споров вокруг этой формулы между сторонниками Д. Маркова и Ю. Андреевым! «Что значит «открытая система»? Каким «веяниям»? Где «берега»? А как это «исторически»? А нет ли здесь покушения на «основы», «устои» и «душу живу»? — все волиовался Ю. Андреев. Вроде бы утвердилась эта теория открытой системы. Вошел метод в жнвую критическую практику? Нет. Почему? Да потому, что эта теория давно отстала от самой литературы; да потому, что теория эта половинчата и не касается главного, не «лечит» метод от догматизма; да потому, что многие вопросы в ней некорректны в научном отношении, то есть ставятся на середине пути и не идут в глубину проблемы, а наука требует такой глубины.

Еще наши теоретики исследовали форму. Да вот беда: вроде бы ясные понятия — структура повествования, композиция, сюжет, фабула — в соприкосновении с методом становились вдруг какими-то зыбкими, и главное — никак нельзя было взять в толк, чем же, собственно, отличаются композиция, сюжет или фабула произведения, например, критического реализма от композиции, сюжета и фабулы произведения социалистического реализма. Никакого *нового* качества формы почему-то отыскать было нельэя. Впрочем, это увлечение было, кажется, самым непродолжительным, и за призывами изучать поэтику социалистического реалнзма почти не последовало каких-то практических шагов (да и не могло: ведь, не определив саму суть этой системы, бесполезно исследовать зависимое от нее — форму художественного произведения).

Немало было споров о дефинициях. Напрнмер: социалистический реализм — это метод, или направление, или и то и другое вместе? Спорили друг с другом О. Лармин и М. Мясников, С. Петров и Л. Тимофеев, Я. Эльсберг и Ю. Суровцев, Д. Марков и Л. Якименко... Ю. Суровцев, например, писал: «Метод нельзя отрывать от направления. Метод — это *метод направления!*» — восклицал он. «Что дает нам постановка вопроса о социалистическом реализме как методе в неразрывной связи его с социалистическим реализмом как направлением? По крайней мере три *методологических* следствия. Во-первых, представление о многомерности анализа социалистического реализма... Во-вторых, проблема качествеиного своеобразия социалистического реализма по сравнению с другими методами и направлениями приобретает бо́льшую степень конкретности, вводит большее число «определителей»... В-третьих, «окуная» метод в направление, методом которого он является...» Вдумайтесь, уважаемый читатель, в этот «текст»! Все ясио? Многомерность, своеобразие, степень конкретности, метод направления, методом которого он является... Слова, слова, слова... Все запутывается, утопает в наукообразном потоке, ничего не дав реальной критической практике, не сдвинув с места историю литературы.

Еще в академических кругах занимались типологией социалистического реализма, то есть, не поняв, каковы действительио функции метода, не уяснив, что такое вообще типология, пытались аыяснить, что в метод входит. Одни говорили, что три типа изображения, другие — пять, третьи — огромное множестао (нельэя регламентировать, открытая система!). Арк. Эльяшевич, например, утверждает, что существует какое-то бесконечное множество «течений», «ручейков», «потоков», которые еще включают а себя какие-то бесчисленные, более дробные дефиниции. Все это море разливанное определений, однако, не помогает понять, что входит в социалистический реализм, а что — нет. Но это и неважно для нашего теоретика. Главное — вроде бы научное обосноаание исключительного многообразия социалистического реализма (уже и берегов не видать) в доказательство своих передовых взглядов — мы за широту! (Это тот Арк. Эльяшевич, который четыре десятилетия назад, руководствуясь лозунгом «Жить стало лучше, жить стало веселее», требовал: «Нам нужна праздничная литература!»)

Но самый опасный симптом заключается в том, что те, кто лечил вчера, берется лечить сегодня. И вот уже предлагается «новый» аспект изучения социалистического реализма: в его соотнесенни с реализмом критическим (как же любят у нас эти «соотнесения»!). Двадцать лет «соотносили» с модернизмом, теперь с критическим реализмом. И вот уже Ю. Андреев вндит панацею в различении «правды жизни и правды художественной», поскольку-де соблюдение только праады жизни ведет к «сухому протоколизму», а другая крайность — к «игре в эстетику». Что же это за правда художественная, существующая без правды жизии, а что это за правда жизни (в литературе, разумеется) без праады художественной? Игра в слова, игра в науку.

Симптомов такого рода немало, и существует серьезная опасность вновь заболтать важные проблемы.

Не пора ли наконец, руководствуясь ленинской мыслью о приоритете общечеловеческих ценностей над узкоклассовыми, поставить метод на то место, которое ему по праву надлежит занимать в теории и истории иашей литературы? Но даже сегодня, в период переосмысления и переоценки ценностей, эта мысль с трудом пробивает себе дорогу.

Очевидно, потому, что она напрочь устраняет ту «методологию превосходства» (выражение И. Золотусского), с которой не хочет расстаться наша «теория». Не хочет, поскольку возникнет необходимость в серьезной разработке настоящей иаучной методологии, а она готова только к защите «устоев», к поучениям, к начетничеству, неразлучна с амбициями 30—50-х годов — «направлять» литературный процесс, «влиять» на него (пусть не так, как В. Ермилов, но, как во времена оны, одергивать, поучать писателей).

Вообще-то, как видим, с наукой у наших теоретиков социалистического реализма большие трудности. Никак нельзя определить статус этого понятия, похожего скорее на неприкасаемую «священную корову» под идеологической броней, чем на научную категорию: от неосторожиого соприкосновения с научными понятиями, от слишком логических вопросов («*без веры!*») и незапланированных исторических параллелей теория эта начинает трещать и рушится, как карточный домик.

А с научной терминологией дело куда сложнее. Ведь свели ее к набору цитат, которые обновляются по мере надобности, а дальше — ни шагу. Как можно в этой мутной воде полунаучных категорий, бесконечных трюизмов что-то прояснить? Вот В. Гусев предлагает обратиться к работам Г. Поспелова 20-х годов, но зачем так далеко идти? В 70-е годы Г. Поспелов не раз напоминал совет Декарта: «Уточняйте значение слов, и вы избавите мир от половины заблуждений». Вспоминал эти слова Г. Поспелов, когда показыаал неимоверную путаницу понятий в работах В. Щербины, для которого «социалистический реализм», «социалистическое искусство» и «советская литература» — попросту нерасчленимые понятия. Примеров подобных аберраций в теоретических работах наших специалистов по проблеме метода — бесчисленное множество.

Совершенно ясно, что, пока не будет написана честная и трудная книга истории нашей литературы, у нас не будет теории метода, но без метода нам не поиять логики ее истории. Поэтому сейчас нет ничего более опасного, чем густо замешенные на идеологической демагогии спекуляции с методом социалистического реализма и историей нашей литературы.

Вот почему незачем сегодня, изощряясь в уничижительных эпитетах типа «свора», «беззастеичивые лгуны», «борзописцы», «отщепенцы» и т. п., поносить Струве и К° за то, что они приписывают нашему методу нормативиость, а асе не укладывающееся в нее объявляют не социалистическим реализмом, а оппозицией ему. Разве не В. Ермилов и К° придумывают и придумывали эти нормативы в былые времена и сегодня? Наши теоретики сами давали и дают к этому повод.

В шуме перебранки, которая уже давно подмеиила серьезный аргументированный спор с нашими идеологическими противниками, уже и не слышно голосов тех, кто действительно подходит к советской литературе догматично, истолковывает социалистический реализм нормативно. Они не за границей — они здесь, «лечат» метод, нанося своим ненаучным, догматическим подходом к нему, своими инвективами в адрес лучших наших писателей, своей охранительной позицией «держать и не пущать», своей перелицовкой истории отечественной литературы огромный *идеологический* вред.

«Споры вокруг реализма, а затем вокруг социалистического реализма давно уже стали одним из боевых участков идеологической борьбы между силами прогресса, опирающимися на мнр социализма, и буржуазиой реакцией. Современная буржуазная эстетика и критика видят в реализме своего главного врага, пытаясь противопоставить ему все новые и новые изощренно уродливые антиреалистические модернистские течения буржуазного Запада». Знакомая песня. Это трюизмы из книги С. Петрова, и нх нетрудно найти в любой другой. Так ведется спор о методе, и таковы методы этого спора. Все переведено на военное положение, все мыслится в категориях идеологической борьбы — самого «боевого», как говорит С. Петров, ее участка. Все это безмерно далеко от науки и научного спора. Прав Д. Лихачев: «Истина историка и литературоведа всегда патриотична; ложь и подтасовка патриотичными быть не могут». Между тем любой серьезный анализ проблемы наши лекари истолковывают как «покушение на устои», тогда как научный подход к проблемам теории и истории советской литературы есть лишь, прибегая к тендряковскому образу, «покушение на миражи», созданные самими лекарями.

Если бы я попытался процитировать эту «поэзию общих мест», обратившись к теории социалистического реализма, мне не хватило бы объема журнальной книжки. Призывы, лозунги, восклицания, заклинания... Мнстика какая-то, а не наука! Особый род идеологического оккультизма, «современной мифологии», по выражению М. Лнвшица.

Просматриваю книги, сборники, статьи о социалистическом реализме, и кажется

мие, что это бюллетени о состоянии здоровья больного за последние десятилетия: больному плохо. Худо. Еще хуже. Клиническая смерть...

II

Давайте все-таки попробуем разобраться и вернемся к истокам проблемы.

Как известно, термин «художественный, или творческий метод» ввели в нашу литературную теорию рапповцы на рубеже 30-х годов. Понятие закрепилось, но не потому, что было как-то обосновано и осознано в каких-то научных категориях, а потому, что сам факт появления такого понятия соответствовал стоявшей тогда задаче консолидации литературных сил. (Не нужно иметь специального филологического образования, чтобы понять: через некоторое время вместо консолидации под знаменем «метода» начался процесс унификации литературы, приведший к застою уже в конце 30-х годов и в послевоенное десятилетие, о чем разговор впереди.)

Это уже сейчас, в лоне академической науки, где метод пребывает последние десятилетия, он приобрел вид некоторой научной респектабельности. В середине же 30-х годов и в послевоенные годы метод был *жупелом*. Но как только научное понятие становится оценочным, оно перестает быть научным. Так оно и случилось в 30-е годы. Это теперь В. Лукьянину «как-то неловко» заниматься поиском принципов социалистического реализма в произведении конкретного собрата по творческому союзу — «вроде в чем-то его подозреваешь». А тогда это было абсолютно нормальным явлением, и в руках В. Ермилова, например, такой «анализ» легко становился формой политического обвинения. Все это, конечно, скомпрометировало метод, сделало его понятием одиозным.

Совершенно ясно, что метод в таком виде не мог существовать в новой общественно-литературной ситуации. Но вот вопрос: нужно ли отказываться от метода вообще? Одно дело — метод как теоретическое понятие, другое — то, что с этим понятием происходило.

Понятие «творческий метод» возникло из потребности обозначить своеобразие советской литературы, и при всем несовершенстве этого понятия, механически перенесенного из арсенала философских категорий, оно было нужно. Необходимо оно, очевидно, и сейчас — в новом качестве, разумеется.

Для того чтобы понять, что такое метод социалистического реализма, нужно представить себе, что такое творческий метод вообще, в принципе. Еще в начале 60-х годов, в период, когда догматические установки не успели вновь заполнить нашу научную литературу, В. Сквозников предложил такую общую трактовку метода: метод обнаруживается в том, как относится логика внутреннего развития и связи образов в произведении (характеров и обстоятельств) к объективной закономерности развития человеческой жизни в данных исторических и национальных условиях. Шире — метод обнаруживается в отношении мира художественного к реальному миру, причем имеются в виду не столько внешние формы тех или иных явлений, сколько самое существо жизненных закономерностей и связей. В. Сквозников говорил о методе как о принципе пересоздания художником познаваемой действительности, *принципе творческого отношения* к ней, ее *преломления* в творчестве.

Характеристика эта, на мой взгляд, верна. Когда мы говорим о реализме, то таким принципом творческого отношения, пересоздания, преломления является *правда*.

Правда жизни в марксистско-ленинском ее понимании есть такой взгляд на действительность, при котором она раскрывается как борьба противоречий, а развитие как разрешение их. Когда в основу метода кладется такое понимание правды, он неминуемо станет диалектически подвижным, способным к саморазвитию.

Этот момент принципиально важен: неизменность сути — правда жизни, правда противоречий — источник *развития*. Именно эта диалектика — неизменности ядра и развития, движения — не учитывается при догматическом подходе к методу (помните «теоретический» пассаж: «метод не есть понятие самодвижущееся, саморазвивающееся»?). Вспоминается великой глубины ленинская мысль: «Единство (совпадение, тождество, равнодействие) противоположностей условно, временно, преходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно движение, развитие» (Полн. собр. соч., т. 29, с. 317). Вот что *неизменно, абсолютно* для художественного метода нашей литературы — движение, развитие, борьба противоположностей, отражающие движение, борьбу, развитие, противоречия, драматизм реальной жизни.

Вот почему социалистический реализм может быть понят только как реализм, раскрывающий противоречивое поступательное развитие общества. А его «незыблемая суть» и «душа жива» — правда, которая всегда есть противоречие.

При таком подходе многие вещи станут здесь наконец с головы на ноги, ибо все другие признаки (в том числе и «героическое жизнеутверждение», и «герой-созидатель») лишь производное, лишь конкретные черты литературы того или иного периода. С изменением социальной практики меняются и они. Догматическое и внеисторическое толкование социалистического реализма основано на абсолютизации этих — преходящих, исторически изменчивых, зависящих от уровня исторического самосознания — черт. Иными словами, черты исторически изменчивые были объявлены раз и навсегда присущими самому методу. Естественно, метод перестал отвечать новым качествам самой литературы, превратился в свод нормативов, отражающих «навечно» состояние нашей литературы шестидесяти — пятидесятилетней давности. В конкретно-исторических чертах, в художественной концепции личности отражается историческая конкретика духовных исканий общества на данном этапе. Именно здесь метод получает свою окраску, свою жизнь и конкретно-историческое воплощение. Вот это конкретное выражение — явление, в котором предстает перед нами сущее. Догматический подход к методу принимает это явление (вернее даже, *часть* его) за само это сущее.

Общие закономерности получают то или иное конкретное наполнение на разных исторических этапах, поэтому черта, присущая определенному этапу историко-литературного развития, одному из периодов истории литературы, не является универсальной чертой, характеризующей саму природу метода. В ней отражены лишь отдельные признаки историко-литературного периода, но именно в чертах конкретного литературного периода воплощаются те или иные признаки художественного метода.

Поясню эту мысль на примере.

Именно правдивое исследование жизни — основополагающая черта социалистического реализма — в 20-е годы нашло воплощение в жизнеутверждающем пафосе и героической личности: свершилась революция, и бунтарь-преобразователь стал хозяином жизни, творил историю, что нашло правдивое отражение в литературе этого периода. Но это — героическое жизнеутверждение — лишь исторически изменчивая черта литературного развития, черта, присущая определенному его этапу: меняется жизнь, духовное самосознание общества, появляются новые проблемы — появляется и иной герой, иная тональность произведения. Наши же теоретики объявили эти приметы литературы 20-х годов сущностной чертой социалистического реализма вообще. И, естественно, стали в тупик уже перед героем Платонова, героем, задумывающимся над многими нелегкими вопросами и противоречиями личного и социального бытия 30-х годов и потому куда как далеким от «героического жизнеутверждения». Не укладывается этот герой в прокрустово ложе догматически истолкованного социалистического реализма!

Не менее далеки от «героического жизнеутверждения» герои повестей В. Тендрякова 50-х годов, которые оказались в наполненной новыми противоречиями реальности. Не говоря уже о герое, который пришел к нам с «новой волной» «военной прозы» в начале 60-х годов,— герое Бакланова и Быкова, герое «молодой прозы», герое «деревенской прозы» — будь то беловский Иван Африканович или распутинские старухи, будь то горожане — герои новой трифоновской прозы — или жители села Пекашино,— это уже литература 70-х годов. Сколько же было споров о «дегероизации», о «точке зрения»! Никак не хотели видеть наши теоретики, что все эти герои несли новую реальность, новые сложные противоречия жизни и уже поэтому не могли походить на своих предшественников.

В Зазеркалье догматических, окостенелых установок и взглядов на социалистический реализм эти герои воспринимались как какое-то его искажение.

Разумеется, все это носило не столько литературный, сколько идеологический характер, отражало идеологические господствующие установки. Скажем, «деревенская проза» — произведения Абрамова, Распутина, Белова — не могла быть *тоже* правдой жизни, когда правдой жизни села в 70-е годы считалось такое беспроблемное положение, при котором образовательный уровень и образ жизни современного крестьянина уже «...мало чем отличается от городских (Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. М., 1978, т. 6, с. 375).

Правдой может быть или то, или другое. В результате лучшие наши писатели (классики и современники) перестали укладываться в каноны *должного*, ибо правда жизни никак не была связана с этим «героическим жизнеутверждением» эпохи застоя.

Итак, в основе художественного метода нашей литературы лежит правда жизни. Это есть его *неизменная* суть и одновременно источник *развития* нашей литературы. Собственно, так оно всегда и было — советская литература в лучших своих образцах исследовала и отражала противоречия действительности, несмотря на то, что эта противоречивость правды далеко не всегда укладывалась в догматические установки 30-х годов. Если же подходить к проблеме метода с существующих позиций, то различие литературы 20-х, 50-х, 80-х годов просто необъяснимо в рамках единой теории. Из нее нужно выйти, как из порочного круга, радикально преобразовав ее, либо неизбежно возникнет потребность в уловках, умолчаниях, мифах.

Однако вся сложность проблемы состоит еще и в том, что изменчивость, противоречивость жизни раскрываются не только в историческом ракурсе, но и на каждом конкретном этапе социального развития. То, что увидели в действительности авторы «Цемента», «Гидроцентрали», «Время, вперед!»,— это была правда, но правда далеко не полная (именно при догматическом подходе *часть* правды принимается за *абсолютную* истину). То, что увидели

в этом времени Замятин, Платонов или Булгаков, было тоже частью этой правды. Их постижение правды было не менее исторически и художественно значимо, ибо они не столько отразили действительность, воспели реальное и должное, сколько проникли в глубину реальных и — что особенно важно — только нарождающихся противоречий социального и духовного бытия современника. Это не просто тоже реализм, который наконец можно поставить рядом с официально признанными достижениями нашей литературы. Это прорывы в художественном постижении жизни. Глубина его, художественная значимость позволяют говорить о нем как о вершинном явлении реализма.

Сегодня уже недостаточно сказать, что взгляд на гражданскую войну Фадеева или Серафимовича был далеко не единственным взглядом, что был еще взгляд на нее Бабеля и Пильняка. Сегодня историкам литературы предстоит еще, видимо, немало сделать для того, чтобы, отказавшись от предвзятости, понять, чей анализ противоречий реальной жизни «в ее минуты роковые» оказался глубже, увидеть перспективу.

Проблема эта обширна, но уже сейчас ясно, что несет больше правды о коллективизации: «Ювенильное море», «Котлован» Платонова, «По праву памяти» Твардовского или его же «Страна Муравия». Как, впрочем, ясно и то, кто глубже вскрыл сложный, драматичный, противоречивый путь интеллигенции в революцию — Булгаков или Фадеев, одним махом «снявший» все проблемы Мечика в «Разгроме», считавший (возможно, вполне искренне), что полезнее героя растоптать, чем попытаться проанализировать противоречивость его отношений с миром.

Это лишь некоторые стороны проблемы, но и эти примеры убедительно говорят о том, что истинный реализм всегда связан с глубиной социально-исторического анализа действительности, вскрытием реальных и только нарождающихся противоречий жизни, а не с насилием над ней во имя должного. Такое насилие не имеет ничего общего ни с социалистическим реализмом, ни с реализмом вообще. Это разные методы.

Правде жизни (основе социалистического реализма) противостоят не разные «правды» (факта и истории, «большая» и «малая»), а мифологизация жизни.

Если с этих позиций подходить к социалистическому реализму, то окажется, что в истории нашей литературы не только есть «белые пятна» и «лишние люди», но и многие явления, которые к социалистическому реализму отнесенными быть просто не могут.

Поставим так вопрос и постараемся ответить на него: послевоенный производственный роман, «Кавалер Золотой Звезды», например,— это социалистический реализм? Нет, ибо это не только искажение правды, но явление, которое вообще не может быть признано художественным. Нужно выбирать, ибо двух правд нет, как бы ни любили упражняться в этом наши «книжники». В одно время с «Кавалером Золотой Звезды» начал писать Абрамов «Братьев и сестер». Это две правды? Нет. Одно здесь правда, другое — ложь, и, следовательно, одно — социалистический реализм, другое — нечто явно ему противоположное.

Полемика с искажающими, мифологизирующими жизнь канонами 30—50-х годов, не имеющими ничего общего ни с социалистическим реализмом, ни с реализмом вообще, отчетливо видна в публикациях последнего времени. Эта полемика настолько важна и сильна, что вошла непосредственно в произведения, публикуемые сегодня.

Вспомним, как исполняет хор голодных, обездоленных детей песню об интернационализме из кинофильма «Свинарка и пастух» в повести Приставкина «Ночевала тучка золотая» или другую, там же: «В колхозные амбары пусть хлеб течет рекой, нам Сталин улыбнется победе трудовой...»

Сама повесть Приставкина — живая полемика с этими потемкинскими деревнями, хлебом рекой и интернационализмом по-сталински. Так что здесь правда и, следовательно, социалистический реализм — песни или повесть Приставкина?

Вспомним писания Гоши из повести Антонова «Васька»: что здесь социалистический реализм — создание Антонова или Гоши Успенского? Героиня-то одна, даже повести называются одинаково.

Вспомним упоминаемую Граниным в «Зубре» скульптурную композицию, выставленную в Третьяковке: Сталин и Лысенко с колосом в руках. Сам «Зубр» и «Белые одежды» —живая полемика с процветавшей в те годы сталинской лженаукой. Что здесь правда и, следовательно, социалистический реализм — скульптурная композиция или произведения Гранина и Дудинцева?

Наконец, «Страна Муравия» и «По праву памяти» в осмыслении одних и тех же событий нашей истории — это один и тот же метод? Нет, разные. Сегодня мы понимаем это отчетливо. Помогли нам в этом и можаевские «Мужики и бабы», и беловские «Кануны», и эти, например, строки из стихотворения Н. Тряпкина:

> Не искал ты, Никита, муравскую землю.
> Никогда ты не думал о ней.
> А хотел ты, Никита, спасти свою семью,
> Пожалеть своих бедных детей.

«Студенты» и «Дом на набережной» Трифонова — один метод? С точки зрения сегодняшних «неистовых ревнителей» — один. «Последняя домна» и «Новое назначение» Бека, «Водители» и «Дети Арбата» Рыбакова — тоже один метод?

Разные, совершенно разные перед нами методы. Один — правдивый, социалистический реализм, другой — ложноэпический монументализм. Два метода под одной крышей, рухнувшей еще в 60-е годы.

Не сегодня стало ясно, что крыша, которой хотят покрыть два дома, находящихся по разные стороны исторической реки, неминуемо рухнет. Это произошло и происходит по сей день с методом. Но из этого, конечно, вовсе не следует, что крыша совсем не нужна.

Несколько лет назад Ю. Кузьменко, осознавая опасность падения крыши, предложил видеть в социалистическом реализме два типа — эпический и социально-аналитический. Но, не ответив на вопрос о том, что такое метод социалистического реализма в принципе, он допустил серьезную ошибку: связав «эпический реализм» 20-х годов с литературой последующего десятилетия, разорвав 30-е годы и послевоенное десятилетие, он смешал «эпический реализм» с ложной эпичностью конца 30-х и потому неверно оценил не только 30-е годы, но и послевоенное десятилетие, видя в нем «переход» к «социально-аналитическому реализму».

Послевоенное десятилетие было не «переходом», а застоем, и социальный аналитизм не «вышел» из него, а возник как острая ответная реакция, как отказ от лжи и ортодоксии сталинских времен в острой полемике с литературной инерцией послевоенного десятилетия. По-разному затем сложились судьбы того нового поколения в литературе, рожденной XX партийным съездом, разными путями пошли писатели, но то, что отношение к послевоенной литературе было а те годы осознанно негативным и стимулировало рост в противоположном от нее направлении,— этот факт сомнений не вызывает.

Вот что пишет на сей счет В. Астафьев в «Зрячем посохе»: «Примерно к середине шестидесятых годов творческое братство писателей-фронтовиков, быть может, и не широкое, но стойкое, приобрело уже заметные очертания. Бывшие истинные солдаты, пришедшие в литературу почти все одинаково трудно, прорвали сопротивление окопавшегося в лакированной литературе «противника». «Окопавшийся противник». Какой уж тут «переход»! Нет, не из послевоенного десятилетия вышли К. Воробьев и В. Быков, А. Ананьев и В. Астафьев, Г. Бакланов и Ф. Абрамов, Ю. Трифонов и С. Залыгин, В. Тендряков и В. Овечкин, а из противостояния этому периоду. Вот откуда суровый реализм их прозы, демифологизация жизни, разрушение легенд и правда их творчества. А правда не умирает. Правда этих писателей была правдой вчера и остается ею сегодня, когда наше общество находится на качественно новом уровне исторического самосознания.

Внеисторический, догматический подход к проблеме метода не позволяет увидеть его в большом времени истории. Понять логику и закономерности литературного развития можно лишь при условии честного взгляда на историю советской литературы. Когда сглаживаются противоречия и динамика исторического пути, мы получаем неверную, иногда просто сфальсифицированную «историю» советской литературы.

Сегодня необходимо четко определиться в истории, понять, где, на каком историческом этапе находится наша литература. Между тем у нас нет достоверной периодизации советской литературы, поскольку нет понимания логики ее развития, нет научной теории.

Если бы читатель погрузился в споры наших специалистов о периодизации советской литературы, он изумился бы — не наличию множества точек зрения, а какому-то поразительному умению говорить и спорить о чем угодно, только не о главном. Спорят о том, какой год считать началом нового этапа в развитии советской литературы —1953-й или 1956-й (как будто период литературного развития начинается вот так, с первого января). Спорят о том, 20-е и 30-е годы — это один и тот же период или разные (и это при совершенно очевидном различии общественно-литературной ситуации). Чуть ли не каждые пять лет объявляется «новый этап» развития советской литературы. То объявили новый этап в начале 80-х годов, когда сказано было о «новой приливной волне», через пять лет о «приливе» забыли, обвиняя литературу тех лет во всех смертных грехах (как будто можно говорить обо всей литературе) и выдвигая новый тезис о начале нового этапа в середине 80-х годов.

Откуда такая «оперативность»? Она от легкости, необремененности наукой. Как можно говорить о начале нового этапа, не зная, что лежит в основе этапа вообще? Как можно рассуждать о периодизации, не поняв, что лежит в основе периодизации в принципе? Не имея четких научных ориентиров, каждый может перекраивать советскую литературу, ее прошлое и настоящее на свой лад.

В спорах о сегодняшнем дне нашей литературы нужно отчетливо осознавать, что несет она нового и каковы ее корни. «Новое» — это новый уровень правды, новые, закрытые ранее темы, новые подходы, новый уровень глубины социально-исторического анализа. Что же «старое»? Выработанная в 60—70-е годы художественная концепция личности, раскрывающаяся через проблемы выбора, ответственности, вины, самоопределения, социальной памяти, самосознания. Можно отказаться от этого «старого»? Изменилась концепция личности? Нет, не только не изменилась, но углубилась, получила новые стимулы к более сильным, серьезным, значительным проявле-

ниям. Так можно ли говорить о «новом этапе», когда прежняя концепция личности не изменяется, а, напротив, обогащается?

Современный период вытекает из предыдущего, преемственно с ним связан: уже в «Царь-рыбе» был заложен «Печальный детектив»; уже в «Последнем сроке» и «Прощании с Матерой» — «Пожар»; уже в «Старике» и «Доме на набережной» звучали мотивы «Исчезновения»; уже в «За далью — даль» зрела «По праву памяти»... Эти преемственные связи не разорвать, как не оторвать наше время от прошлого десятилетия в литературе. Шукшин — это вчерашний или сегодняшний период? А абрамовский «Дом»? А Вампилов? А публикуемые сегодня Бек, Рыбаков, Приставкин, Гроссман, Пастернак?

Негоже нам сегодня, посыпая голову пеплом, говорить, что не было у нас настоящей литературы в период застоя, и, подобно иванам, не помнящим родства, доказывая свою приверженность новому времени, вводить новое летосчисление с середины 80-х годов...

Итак, метод может быть понят только через историю. Он *логика* истории литературы (по крайней мере в этой функции он необходим). Вместо этого сближения метод оторвали от истории, а историю от метода. Они существуют как бы раздельно, хотя упоминаются сплошь и рядом друг возле друга. В результате у нас нет ни теории советской литературы (в нынешнем ее виде, оторванная от истории, она мертва; больше того, практика опрокидывает эту теорию, и только повышенной идеологической изощренностью ее защитников можно объяснить то обстоятельство, что загубленная нашими теоретиками теория метода еще напоминает грозное оружие былых времен, что этот «опрокинутый дом» еще держится), ни истории (поскольку в ней вместо логики развития существует дурная логика подгонки истории под ложно, догматично понятый метод: в опрокинутом доме все оказывается перевернутым с ног на голову).

Нужна *научная история советской* литературы — такая история, где вместо голого фактажа, тенденциозно подобранных фактов, эмпиризма, перечисления произведений и имен писателей, разного рода постановлений раскрывалась бы *логика развития* советской литературы, просматривались бы внутренние закономерности исторического развития литературы на всех уровнях — от метода до стиля, выявлялись бы связи и динамика направлений, идей, проблем, тем. Вот, казалось бы, огромное поле для исследований, где было бы полезно понятие метода. Оно между тем остается нераспаханным.

Нераспаханным, но не голым — заросшим сорняком.

III

Метод для литературы может существовать только как замок для дома. Не тот замок, которым запирают дверь, а тот, который смыкает крышу. Вначале метод и был выведен для объяснения истории литературы, но на него взвалили такой идеологический груз, обставили такой тяжестью нормативов, что произошло неизбежное: крыша не выдержала — рухнула. Обвалилась история советской литературы. (Может возникнуть настоящая — научная — история литературы, когда критерий, кладущийся в ее основание, постоянно и последовательно лишают научности в угоду идеологической конъюнктуре? Никогда.)

Любопытный факт: можно перечислить несколько десятков (!) солидных монографий, посвященных *формированию* социалистического реализма, и практически нет разработок по дальнейшему развитию метода, скажем, в литературе конца 30-х, в послевоенное десятилетие. Метод не «прикладывают» дальше 20-х годов, не «окунают» его, говоря словами Ю. Суровцева, в этот период. А почему, собственно?

Да потому, что еще в 20-е годы советская литература развивалась в относительно нормальных, демократических условиях: рядом законно существовали в ней Гладков и Булгаков, Фадеев и Грин, Серафимович и Бабель, Демьян Бедный и Пастернак, Маяковский и Ахматова: шла нормальная литературная борьба. Это был плодотворнейший период в развитии советской литературы, в его недрах и формировался социалистический реализм, который в 30-е годы был подменен догматической схемой и в таком виде стал монопольным хозяином в нашей литературе. И появились в советской литературе, говоря словами Г. Белой, «лишние люди» в лице крупнейших писателей, не умещавшихся в прокрустово ложе социологических схем». Сегодня абсолютно ясно: вульгарный социологизм не только не был преодолен в 30-е годы, как твердили и твердят в любом учебнике, но был загнан вглубь, став опасной болезнью, метастазы которой дают о себе знать и сегодня.

Не один раз за последние два года с самых высоких трибун повторяется ленинская мысль о приоритете общечеловеческих ценностей над узкоклассовыми, но вот на Всесоюзной творческой конференции в Ленинграде «Великий Октябрь: социалистический интернационализм, советский патриотизм и современная литература» выступает В. Боков: под предлогом интернационализма и приоритета общечеловеческого содержания литературы, заявляет поэт, идет подмена русской советской классики сочинениями Ходасевича и Набокова, нельзя, вспоминая одних, незаслуженно забытых, тут же забывать о других, и приводит в качестве примера «Поэтическую

антологию» в журнале «Огонек», где А. Ахматовой отведена целая страница, а Д. Бедному — уголок.

Воистину объективная логика борьбы сурова: иного историка литературы она напрочь лишает историзма, поэта — элементарного художественного вкуса, ибо трудно понять, чем должен руководствоваться *поэт*, чтобы не только сопоставлять Бедного и Ахматову, но и требовать привилегий для первого. Видимо, в искаженной ситуации, когда все было наоборот — Бедный занимал страницу, а Ахматова — уголок, кое-кто был спокоен за *свое* место в будущей истории литературы.

С изменением общественной ситуации иным литераторам изменил не только художественный вкус, но и чувство гражданской правды. Как назвать этот вид художественной и гражданской дальтонии? Ведь не только поэтический, но именно гражданский подвиг, глубина художественной правды А. Ахматовой несопоставимы — и это *объективный факт* (если не прибегать к демагогическим уловкам) — ни с масштабом поэтического дарования Бедного, ни с его частушечным воспеванием *любой* действительности — будь то 1917-й или 1937-й (кто помнит сейчас его «Диво-дивное коллективное»?).

В иных сегодняшних выступлениях наших «дозировщиков» вновь ощущаешь себя, как в былые времена, «в окружении самоочевидных несообразностей», о которых говорила М. Чудакова. Пользуясь ее мыслью, скажу: та очистительная работа, которая сегодня идет, все еще продолжается «под аккомпанемент априорным путем кем-то выведенных оценок». Но ситуация изменилась: те, кто вчера диктовал правила, сегодня находятся в глухой защите. И это лишь подтверждает уверенность не только в необходимости новых подходов, в неизбежности тех перемен в нашей историко-литературной науке, очевидность которых была ясна еще вчера, но и в том, что работа по созданию честной истории нашей литературы должна вестись с еще большей настойчивостью и последовательностью.

Читаем в газетах: «Сейчас мы яснее, чем раньше, видим суть ленинской концепции социализма: демократия, гуманизм, человек. Если исходить из этих высших критериев зрелости и социальной результативности общества, то мы находимся где-то в начале эффективной реализации преимуществ, заложенных в природе социализма. Очень многое здесь — что складывалось под влиянием жестоких, иногда просто безысходных обстоятельств, под влиянием серьезных ошибок, деформаций и заблуждений, а то и просто стихийно — до сих пор воспринимается как высшее достижение теории и практики, как незыблемые истины» (из выступления члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС А. Н. Яковлева).

Эти важные слова касаются историко-литературной науки так же, как и всех обществоведов, к которым они были обращены.

Суть *ленинской* концепции социализма в трех словах: демократия, гуманизм, человек. Но именно эти три фундаментальных понятия выпадают при догматическом подходе к социалистическому реализму.

Если видеть в нем *воспевание* и изображение должного, а не анализ и глубину постижения всегда противоречивой реальности, то, конечно, придется уходить от встречи с «неудобными» Платоновым, Булгаковым, Замятиным, Зощенко. Если же видеть в качестве основной задачи художника изображение и художественное постижение правды жизни, ее драматизма и противоречивости, то «Котлован», «Собачье сердце», «Мы» будут уже не «пасквилем на советскую действительность», а суровым предупреждением, предвидением, которому во многом суждено было, к сожалению, сбыться. И это прямо связано с художественным методом и его «душой живой».

Как сказал известный наш экономист, «всякая монополия неизбежно ведет к застою, абсолютная монополия — к абсолютному застою». Так и произошло с социалистическим реализмом в его вульгарно-социологической интерпретации. Поскольку же новой плодотворной концепции метода у нас нет, историки вынуждены стыдливо прикрывать то, что происходило в нашей литературе в конце 30-х и послевоенное десятилетие.

И беда не только в том, что появились «лишние люди» (их имена и произведения приходят, к сожалению, только сегодня к читателю, но все же приходят), а в том, что в этот период произошел *слом* многих талантливых писателей. Чтобы доказать, что «Похищение Европы» — это шаг вперед в творчестве К. Федина после романов «Братья» и «Города и годы», а эволюция Б. Лавренева к рубежу 40-х годов — это позитивный процесс, нужно начисто лишиться не только критериев, но и элементарного художественного вкуса.

Но на что не пойдешь во имя создания легенды, мифа о непрестанном поступательном движении советской литературы, во имя доказательства того, что социалистический реализм (даже в том виде, в каком существовало это понятие в тот период) — самый плодотворный метод в художественном развитии человечества! Вот уж воистину «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

Фальсификация отечественной истории, в том числе истории литературы, начавшаяся в 30-е годы, еще не завершилась — нет оснований для обольщения. Перестройка мышления — самая трудная вещь. Особенно опасно, когда фальсификация истории находится под покровом важнейших методологических понятий, соответственно искаженных.

Посмотрите, как *сегодня* интерпретируются иными критиками события, связанные с печально памятным постановлением «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Из многоговорения в конце концов вырастает утверждение, что, дескать, как ни жестки были его формулировки, а все-таки постановление нанесло решающий удар по ошибочным настроениям и тенденциям, проявившимся в художественной литературе сразу после войны, что, заостряя внимание общественности на коренных принципах социалистического реализма, оно нацеливало писателей на создание произведений, воспитывающих народ в духе бодрости (помните уже цитировавшийся призыв: «Нам нужна праздничная литература!»), и вообще имело, несомненно, положительное значение. Правильно, оказывается, шельмовались тогда Зощенко и Ахматова, только несколько жестки были формулировки.

С каким важным видом рассуждает сегодня такая критика о послевоенной литературе, во всех бедах ее виня недальновидных писателей, которые либо поддались в той или иной мере аполитичности, погрязнув в эстетическом снобизме, в бездумном развлекательстве, либо сосредоточились на недостатках, преувеличивая стойкость темных начал, будто бы разбуженных всюду войной. Схема, по существу, идущая от известного доклада А. Жданова.

Но ей-то, сегодняшней критике, уже известно *тогда* написанное и А. Твардовским, и А. Ахматовой, и А. Рыбаковым, и В. Гроссманом. Это ведь все *послевоенный* этап нашей литературы. В. Кондратьев, автор «Красных ворот», а интервью «Книжному обозрению», говоря о той поре, употребляет такое понятие, как «трудное время поисков», отмечает «чувство растерянности» у тех, кто только вернулся с фронта. «Переломным в судьбе нашего поколения стал сорок восьмой год. Это был период,— рассказывает писатель,— когда Сталин еще мог «заключить» с народом мир. Однако он этого не захотел. Началась новая волна репрессий. Если в тридцать седьмом году аресты охватили в основном поколение наших отцов, то в конце сороковых аресты коснулись уже и поколения выросших и отвоевавших детей». Вот вам два взгляда на историю, на одни и те же годы.

И они часто *объективно* сталкиваются в одной критической плоскости, когда рядом с раздумьями над произведениями Булгакова или Платонова сосуществуют как ни в чем не бывало безудержные восхваления «Белой березы» М. Бубеннова, «Счастья» П. Павленко! Оказывается, недостаток романа П. Павленко не в отсутствии правды как таковой, а только в идеализированном изображении Сталина. Главное, что роман «Счастье» жизнеутверждающий! Не в пример «Братьям и сестрам» Ф. Абрамова, писавшимся в это же время, не в пример «субъективным» ощущениям поколения В. Кондратьева или детей из повести Приставкина.

Как ни странно, именно сегодня плодятся образцы неслыханных натяжек, социальной демагогии, непонимания истинного исторического смысла явлений.

Выступая в декабре 1987 года перед руководителями центральных и республиканских средств массовой информации, работниками науки и культуры, член Политбюро, секретарь ЦК КПСС А. Н. Яковлев говорил о необходимости воспитания «культа ответственности», о том, что в начальный период перестройки «многие еще по привычке въехали на инерции готовности к любой кампании. И в этом смысле минувшие два с половиной года были очень поучительны, стали как бы фильтром времени, отделявшим инерцию говорильни от выстраданного, нелегкого пути к перестройке». Говорилось и о том, что «надо не поддаваться на внешне обманчивые, «перестроечные» заклинания».

Эти перестроечные заклинания! Эти ссылки на чье-то «ответственное мнение», на силу и давление «власть предержащих», на «реакцию официальных кругов», «душивших» нашу литературу в период застоя. Иной раз очень полезно посмотреть конкретно, кто выражал эту охранительную позицию, додумывал «ответственное мнение» и «реакцию официальных кругов». Не те ли, кто еще недавно занимался проработкой произведений «Перед восходом солнца» Зощенко и «Горький среди нас» Федина, приветствовал постановление по Зощенко и Ахматовой, а сегодня лицемерно льет слезы над «Реквиемом» той же А. Ахматовой, сказавшей о трагическом в нашей жизни как всегда голосом достоинства и чести, голосом народа.

Такой критик, такой литературовед готов в очередной раз (какой уже по счету?) проявить удивительную оперативность, великое искусство «перестройки»! Только что общего это имеет с наукой? Правильно ответил на иные «перестроечные» призывы к «полной правде» А. Нинов: «Время покаяния еще не закончилось, а после покаяния должно следовать не забвение, но — исследование».

Или еще одна вариация на знакомую тему: об историзме, который в послевоенной литературе «начал приобретать новый характер. Само движение истории давало писателю новую точку обзора, позволяло взглянуть на событие с высоты современности... Непосредственные ощущения и наблюдения, знание конкретных фактов сильнее связывались с исторической перспективой, приобретали еще большую конкретную обобщенность». Какую «конкретную обобщенность» увидел Вас. Новиков в послевоенной литературе о войне, не знаю, но в этой же книге «Художественная правда и диалектика творчества» (название-то какое!) он писал следующее о повести

В. Быкова «Мертвым не больно»: «В целом повесть лишена эпичности и широкого исторического дыхания... Вся повесть В. Быкова оказывается пессимистичной. В конечном счете предвзятый подбор фактов, односторонность трактовки сложных событий лишают повесть исторической правды». Примерно то же на другой странице о романе Г. Бакланова «Июль 1941 года».

Именно Вас. Новиков изобретал это множество правд (факта и истории, большая и какая-то «малая»). На основе этих казуистических уловок с «правдами» взросла целая армия охранителей-дозировщиков, которым, говоря словами М. Чудаковой, «доверено было вымерять дозы введения в общественный оборот «запятнанных имен», предостерегавших «от того, чтобы «новые» имена не изменили тех пропорций в освещении литературного процесса, которые вычислялись в ситуации *отсутствия* двух третей корпуса литературы». Перед нами в результате — искаженная картина литературного процесса. Скажем, в русской поэзии XX века возникла такая картина, при которой, как сказал С. Аверинцев, «Исаковский или Долматовский заполняют собой колоссальную пустоту, образованную искусственным отсутствием целого ряда других лиц».

Лекалом для всех этих «вычислений» и была догматическая трактовка социалистического реализма с ее множественностью «правд».

Вот что пишет Вас. Новиков о «Кончине» В. Тендрякова: «Читатель невольно ощущает, чувствует громадные потенциальные возможности колхозного строя. Но эта правда затушевывается сложным переплетением судеб людей». Очевидно, такое переплетение, с точки зрения Вас. Новикова, противоречит принципам социалистического реализма.

И в самом деле, как можно понять сложные, противоречивые явления современной литературы с таким подходом к ней: «Героическое жизнеутверждение, составляющее главный пафос в раскрытии новой художественной правды, обновляет само понятие реализма. Он приобретает концептуально героический характер». Нет у Трифонова, Распутина, Белова, Абрамова, Быкова, Шукшина, Вампилова «героического жизнеутверждения» — значит это, по логике Вас. Новикова, не социалистический реализм.

А если попытаться все-таки ответить на вопрос о том, что же было с социалистическим реализмом в конце 30-х годов и послевоенное десятилетие, каковой в действительности была «главная линия в развитии советской литературы» в этот период?

Отрыв слова о мире от самого мира явился нарушением первой предпосылки всякого реалистического искусства: верности реальности и вытекающей отсюда потребности в художественном анализе. Объективное начало было подменено субъективным — литература исходила не из объективной реальности, а из идеальной умозрительной модели, из *должного*. Естественно, что в этих условиях произошла подмена художественной правдивости оторванной от жизни схемой. Вместо исследования жизни процветала ее мифологизация. Такая ситуация объявлялась (и по наши дни объявляется) достоинством нового метода — видеть жизнь такой, какой она должна быть. С реализмом это не имеет ничего общего. Развивавшийся в литературе ложный синтез (помните «конкретную обобщенность», о которой с таким упоением говорит Вас. Новиков?), не имеющий аналитической базы, связывался с развитием толстовской традиции, хотя был от нее безмерно далек, так же как далека от «реальной критики» критика ермиловская, прикрывавшаяся именем Добролюбова (см. об этом статью Ю. Буртина «Реальная критика» вчера и сегодня» — Новый мир, 1987, № 6). Такое состояние литературы и искусства привело к тому, что они просто перестали выполнять присущие реалистическому искусству функции — и познавательную (оторванная от действительности литература на умозрительной основе познавать жизнь уже не могла), и воспитательную (вспомним ленинские мысли о том, что литература должна воспитывать правдой жизни). Бесспорно и то, что отрыв искусства от действительности привел к тому, что действительность перестала мыслиться конкретно-исторически, происходила фальсификация истории, нарушался принцип историзма в искусстве. Представления о самом человеке становились примитивными и схематичными. Восприятие человека как функции, «колесика и винтика», лишенной своего психологического, внутреннего мира, привело к резкому снижению гуманистического пафоса литературы. Определяющие тенденции развития литературы вступили, таким образом, в конфликт с марксистско-ленинским пониманием человека и общества, вульгаризировали эти представления, огрубив и выпрямив диалектически сложный процесс взаимодействия личности и общества. Это явилось предпосылкой искаженного понимания задач художника в обществе. Отсутствие верного и глубокого понимания хода и задач общественного развития и демократизма привело к нарушению принципа народности.

Вот так можно ответить на вопрос об «основной линии» в развитии нашей литературы тех лет, если отбросить игру в наукообразие. А если посмотреть на литературную ситуацию, скажем, конца 30-х годов глазами современника, то вот картина, изображенная соратником В. И. Ленина Ф. Раскольниковым в его открытом письме к Сталину: «Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», Вы лишили минимума внутрен-

ней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается и вымирает. Неистовства запуганной Вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься, драматург не может ставить свои пьесы на сцене театра, критик не может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом. Вы душите советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь Вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливым однообразием воспевает Вашу пресловутую набившую оскомину «гениальность». Бездарные графоманы славословят Вас, как полубога, рожденного от Луны и Солнца, а Вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести. Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично Вам неугодных писателей...»

Вот правда. Не берусь судить о том, какая — явления, факта, истории, жизни, художественная или нехудожественная, новая или старая... Для этого есть у нас «специалисты». Но только все эти излюбленные казуистические уловки с «правдами» служат одной цели — *нагромождению одной большой неправды* в объяснении истории нашей литературы. Опасный это симптом, когда служители науки превращаются в служителей культа, принося на алтарь ложно понятому «методу» историческую истину.

Общими усилиями наших теоретиков и историков создана огромная неверная картина истории и теории советской литературы. Картина эта очень напоминает холст из известной всем сказки. В убогой каморке папы Карло ничего не было, кроме красивого очага, но этот очаг, и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были нарисованы. Все было бы хорошо, если бы все мы не знали, что за этим холстом — дверь в большой, прекрасный мир литературы, с ее историей, борьбой, трагедиями, страстями, противоречиями, поисками правды и смысла жизни. Лучи из этого мира с трудом пробиваются к нам, но на страже двери прочно стоят «защитники», «священная дружина былых времен», убежденные, что социалистический реализм — это только нарисованный очаг. Я же подозреваю, что это нечто большее, ибо истинный смысл и значение социалистического реализма могут быть поняты только на фоне живой истории литературы. Нужен только золотой ключик — усилия добросовестных ученых и историков литературы, служителей науки, а не культа.

г. Одесса

Из истории советской литературы

Вячеслав САВАТЕЕВ

Два года в Сорренто

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. ГОРЬКОГО

Юрий Трифонов писал в свое время: «Горький по-настоящему еще не прочтен и не понят. Вульгарный социологизм нанес ему вред более, чем кому бы то ни было. Горький — как лес: там есть и зверь, и птица, и ягоды, и грибы. А мы несем из этого леса одни грибы». Бывает же, что нам порой лень ходить в этот лес и за грибами...

Сегодня есть настоятельная внутренняя потребность прикоснуться к миру А. М. Горького — глубокому и светлому. В этом мире-«лесу» мы найдем многие ответы на волнующие нас вопросы о жизни и искусстве.

60 лет назад Горький вернулся на Родину после длительного пребывания за границей на лечении. До этого он жил в Сорренто, но тысячи нитей связывали его с Союзом Советов, с людьми, строившими новое общество. Предшествующие возвращению два года — сравнительно небольшой период жизни художника, но это был период напряженнейшего творческого труда, работы над «главной книгой» (убежден, еще в полной мере не оцененной) — над романом «Жизнь Клима Самгина».

К лету 1926 года работа над первой частью романа была завершена, Горький подступался ко второй...

* * *

Это хорошо, что в последнее время наши писатели потянулись к историческому роману, до сей поры его не было у нас. А теперь вот вышли «Одеты камнем» Ольги Форш, «Кюхля» Тынянова, «Степан Разин» Чапыгина. Особенно хорош «Разин». Читать его — удовольствие неизъяснимое. Горький *очарован* этим романом, всем рекомендует читать его. Язык, герои — все как отлитое, все *на месте*.

«Клим Самгин» — тоже по-своему повествование историческое. Роман-хроника сорока лет русской жизни. Хочется показать все течения общественной мысли, все классы и направления — словом, всю *адову суматоху* предреволюционного времени.

Чертовски трудная это работа, выжимает все соки, коих и так уж немного осталось.

Он писал страницу за страницей и не мог остановиться, словно кто-то гнал, торопил, и эта горячка еще больше сжигала его. Он всегда был жаден до работы, дорожил тем особым, радостно возбуждающим состоянием, когда пишется... Но это состояние опасно, оно сродни опьянению, которое испытывает ныряльщик, погружаясь в глубину. И он знает, что слишком спешить, торопиться в его деле нельзя. Надо многое вспомнить, взвесить, отобрать из всего обилия жизненного, исторического материала самое важное, характерное — как отбирают золотые крупинки из груды песка. Роман настолько захватил его, что ни о чем другом он просто не мог думать, ничем другим не мог заниматься...

Литературу он всегда любил до самозабвения, самоотречения. И литераторов соответственно. Слышал он, правда, что упрекают его в непомерном расточении похвал в адрес многих братьев своих единокровных. Пожалуй, есть у него эта слабость. Да так ли уж вправду велик сей грех? Ведь хвалит-то он с единственной и вполне добропорядочной, вполне гуманной целью — поддержать талантливого человека, раздуть в нем, так сказать, искру божью, не дать ей погаснуть. А там, глядишь, разгорится из нее жаркое пламя... Возможно, сие и наивно, но что поделать, он в этом неисправим, в нем неисчезаемо живет надежда на чудо. Так и кажется, что вот-вот появится гений — не может не появиться! — и было бы непростительно и грешно не заметить, просмотреть его.

Есть сейчас на Руси, считает он, три *первоклассных* литератора, это Сергеев-Ценский, Михаил Пришвин и Алексей Чапыгин. Быть в вышепоименованном ряду пускай даже четвертым — честь немалая, дело вполне достойное. Да, да, это он без лукавства какого-либо, искренне так полагает.

В эти дни он никуда не ходил, даже не гулял — был занят романом, который разгорался, как *хороший сызранский пожар*.

Отказывался от всего, что могло помешать его работе, отвлечь. А соблазнов

всяческих вокруг было немало. Звали сотрудничать в альманахах «ЗИФа», в журнале «Красная новь». Немало и других просьб, предложений... Нет, нет, не может он, пусть на него не обижаются. Занят он своим романом и, возможно, проработает над ним еще лет шестьдесят. Шутка, конечно, но что в ближайшие годы он человек конченый, бесполезный — это точно. Можно сказать, добровольно обрек себя на заточение.

...Незаметно промелькнули лето и осень, уж и новый год, считай, на дворе. А конца-краю его работе над «Самгиным» не видно. Сдается, что конец не только не приблизился, а еще более отдалился. Роман растет, словно дерево,— и вширь, и ввысь. Все новые побеги появляются, новые ветви вырастают. И все больше одолевают сомнения, точат, не дают покоя: справится ли с задуманным, хватит ли сил?

И все же от просьбы написать воспоминания о Сергее Есенине не мог отказаться (сборник задумало выпустить берлинское издательство). Словно у него был какой-то долг перед этим человеком. С полгода назад с подобной просьбой обращалась к нему вдова поэта — София Андреевна Толстая-Есенина. Она тогда писала, что вокруг имени Есенина в последнее время, особенно после его гибели, скопилось много всякой мерзости и спекуляции. Вот она издаст книгу, и пусть все увидят, какое горячее сердце было у него, какая светлая душа. Он тогда согласился написать о Есенине, но сказал, что сделает это не ранее осени. А теперь вон уже и декабрь...

Конечно, о нем надо было большую статью писать, он заслуживает этого, сначала так и думалось. Но для статьи нужно время, немало времени, а где его взять?

Написалось о том, что больше всего запомнилось,—о двух встречах.

Первая состоялась давно, еще, помнится, году в 914-м в Петербурге. Тогда Сергей показался ему совсем юным — со светлыми кудряшками, в голубенькой рубашке, сапогах.

Иной была их вторая встреча, через несколько лет, в Берлине, на квартире Алексея Толстого. Кудрявый, игрушечный юноша —куда он девался? От того, прежнего Есенина теперь остались разве что одни глаза— да и те, казалось, выцвели от времени.

И вот три года спустя — всего лишь три года! — после той, второй и последней, их встречи — самоубийство Есенина. Нелепое и страшное. Словно ушел из жизни не просто знакомый, собрат по литературе, а близкий, родной человек. Говоря откровенно, у него и раньше было какое-то необъяснимое, но отчетливо тревожившее его предчувствие, что Сергей Есенин непременно плохо кончит,— то ли убьют его, пырнут ножом в пьяной драке, то ли он сам на себя руки наложит. Так оно и вышло. Жалко до слез. Литература наша потеряла великого поэта — да, да, именно так, и пусть опять упрекают его в преувеличенных оценках и похвалах. Только на этот раз он убежден: никаких преувеличений здесь нет.

Работа над романом так крепко приковала к столу, что из-за нее приходилось откладывать свое возвращение на Родину. Только в мыслях да в письмах к своим друзьям-литераторам уносился он, бывало, туда, куда тянуло его неотступно...

Он знал, как много интересного, любопытного, крайне важного происходило сейчас там, и ему так хотелось все это увидеть, потрогать собственными руками. Но вот — увяз в романе и, пока не кончит, не может, не имеет права...

Ко всему прочему и здоровьишко его хилое подводит. В январе опять привязалась было к нему хворь. Отделался бронхитом, хотя опасался воспаления легких. Ужасно надоели и мешают ему жить и работать эти бесконечные бронхиты и воспаления.

А тут еще огорчение — Госиздат задумал выпустить в специальной серии том его избранных сочинений. Спасибо, конечно, за доброе намерение. Но почему бы на сей счет не спросить мнения самого автора? Включать же его в число покойных писателей явно преждевременно — так-то. Пришлось даже письмо по этому поводу написать.

Явно не благоприятствуют хорошему настроению и некоторые события, происходящие в мире, неразумное поведение людей. Взять хотя бы англичан. Ведь то, что они послали свой флот в китайские воды,— это иначе, чем интервенцией, не назовешь. А сие означает начало новых бед, в которые могут быть вовлечены тысячи людей...

А вот письмо от Пришвина — это всегда радость. Читаешь — и словно с мудрым человеком беседуешь. Михаил Михайлович рассказывает о своих впечатлениях от Питера, который посетил недавно. Очень душевно, с восхищением пишет об Ольге Дмитриевне Форш. Вспоминает и о Марсовом поле, где они с ним десять лет назад побывали вместе. Да, чудесный город Питер, с этим нельзя не согласиться. Впрочем, сам-то Пришвин предпочитает другой городишко — Сергиев, где ныне и обретается. Кончайте роман, заключает свое письмо Михаил Михайлович, и приезжайте к нам. Ах, как он и сам хотел бы этого!

Светло вспоминается о воспитанниках колонии в Куряже. Недавно написал им письмо, в котором признался, что высоко ценит тех, кому жизнь с ранних лет нащелкала по лбу да по затылку. Народ говорит: за одного битого двух небитых дают. Битые да «нащелканные», если они не поддались, не сломались,— народ стойкий, надежный. К этому же роду-племени, он убежден, принадлежат и те двое, что написали книгу «Республика Шкид» — интереснейшее, надо сказать, сочинение. Для него оно настоящий праздник, потому что убедительнее, красноречивее многого другого свидетельствует: человек — самое необычное, самое великое чудо, которое только может быть на свете. Так он и написал — не удержался, расчувствовался...

Да, и куряжане просят его приехать, приглашают к себе. И опять ему приходится объяснять свой отказ.

Вон уже и март пришел. Вчера получил письмо от Артемия Багратовича Халатова из Госиздата. Надо, пишет тот, чтобы его, Горького, высказывания о Льве Толстом не могли быть истолкованы как поддержка взглядов и учения «великого старца». «Непротивленцы» и прочие сектанты, писал далее Халатов, занимаются пропагандой своих идей, прикрываясь авторитетом Льва Толстого.

Вот уж все это сейчас совсем ни к чему. С Толстым ему больше делать нечего, все сказал о нем, да и статьи этой у него нет.

И все же, пожалуй, придется ему перечитать очерк о Толстом, кое-что выправить.

...Самая первая его встреча с Львом Николаевичем — в Москве, в Хамовниках, в январе 1900 года. Она хорошо запомнилась ему. После этого они обменялись письмами, поблагодарили, как водится, друг друга за знакомство.

Уже тогда Толстой вызывал у него двойственное, противоречивое чувство. С одной стороны, этого человека, конечно, нельзя было не уважать, не восхищаться его колоритной, могучей личностью. С другой — трудно, невозможно было полностью согласиться, принять без оговорок, и довольно существенных, взгляды «великого старца» на мир, на пути и способы его преобразования. Со временем это двойственное чувство к Толстому так и не изменилось, а лишь еще более укрепилось.

Хорошо памятна и зима 901—902 годов. Он приехал тогда в Крым, поселился в Олеизе. Так вышло, что в ту же пору в Гаспре, в имении Паниной, жил Лев Николаевич — от Олеиза это было рукой подать. И уже через день после приезда в Крым — в ноябре месяце, четырнадцатого числа (это запомнилось) — он навестил Льва Николаевича. С тех пор они не раз бывали друг у друга...

И вот теперь, более четверти века спустя, он вновь возвратился к своему очерку, и перед ним опять предстал этот человек — во всей гениальной простоте и сложности, цельности и противоречивости его натуры.

Ему постоянно и неотступно думалось о Толстом — думалось в тревожные, мятежные 905—907-е годы, и потом, когда совершился его уход из Ясной Поляны, из мира, в котором он устал жить. Но с особой обостренностью думал об этом Художнике после его кончины.

Смерть Льва Николаевича пережил как свою личную утрату. Он послал письма Амфитеатрову, Коцюбинскому, Екатерине Павловне Пешковой. Но почему-то ему показалось, что лучше других поймет его состояние Владимир Галактионович Короленко — написал письмо и ему. Но не отослал...

К непосредственной работе над книгой о Толстом ему удалось приступить лишь спустя несколько лет.

Многообразен, сложен был материал, сам «объект» изображения, требовавший нестандартных подходов, решений, даже приемов работы необычных. Он помнит, как рассказывал, словно проговаривал те или иные сцены, суждения о Льве Николаевиче различным людям, прежде чем воспоминания ложились на бумагу. Да и сама рукопись в последующем складывалась необычным способом — из кусочков и отрывков, которые были большей частью написаны в 901—902 годах, потом затерялись где-то, но все-таки нашлись. В единое целое все это складывалось очень трудно.

Первое издание его воспоминаний о Толстом вышло в 920 году. Их прочитал Владимир Ильич в тот же день, когда ему принесли книгу, точнее — ночью. Оценил высоко: «Толстой у Горького как живой получился. Пожалуй, так честно и смело о Толстом никто не писал». Щедро сказано! Слова эти дорого стоят еще и потому, что Владимир Ильич, как известно, и сам немало размышлял и писал о Толстом...

Тоненькая книжица, почти брошюра — а вот не затерялась в том мятежном, неуютном девятнадцатом году. Большинство писавших отзывались о ней лестно — отмечали искренность и правдивость наблюдений. Были, впрочем, и такие, кому книга не понравилась, и среди них — «толстовцы». Упрекали в том, что образ Толстого односторонен, что он, Горький, не понимает и искажает самую сущность религиозного учения Льва Николаевича.

Он потом еще дополнял написанное, вносил изменения и уточнения. И вот это письмо от Халатова, его просьба... Ну, что ж, это, пожалуй, в последний раз, больше он не будет возвращаться к этим воспоминаниям: все, что знал о Толстом и хотел сказать, он сказал.

Письмо Сергееву-Ценскому. Как рассказать о здешней своей жизни? Живет не в самом Сорренто, а минутах в пятнадцати ходьбы, в доме герцога, один из предков которого был послом в России, где и женился на княгине. Так что в жилах его домовладельца, надо полагать, течет и капелька русской крови. Хозяин чудит, мечтает завести бизонов, да только где их тут пасти — все заняли виноградники, сады...

Ну, а март в этих краях, дорогой Сергей Николаевич, верно называют «безумным». Погода меняется на дню по нескольку раз. То дует ветер, напропалую хлещет дождь, а то, смотришь, уже из-за туч проглянуло солнце, парит земля, пах-

нет всеми ароматами — как в раю! Однако ненадолго: через какой-нибудь час опять разверзлись хляби небесные, дождь льет, вокруг ад кромешный, и кажется, что никогда уже этому не будет конца. И снова по какому-то невидимому сценарию быстро — в который раз! — все оживает, преображается, благоухает... Воздух здесь, как принято писать в сентиментальных романах, напоен ароматом. Радоваться бы да наслаждаться жизнью, полной грудью вдыхать ароматы... но у него астма, и от всех этих благоуханий кружится голова, он задыхается. Ну, да ничего, главное, что работает, сочиняет свой длинный роман, пишет письма, как вот сейчас, например.

Снова и снова думается о Родине.

Братья-литераторы пишут, что ждут его приезда в Россию, хотя бы на будущий год, ко дню его шестидесятилетия. Константин Федин вон отписал, что приезд его будет радостью для молодой советской литературы. Это Федин, понятно, от деликатности, от желания приободрить, сказать приятное.

А вот другой, Федор Гладков, тот правду-матку в глаза так и режет. З а т р и д е в я т ь з е м е л ь, мол, уважаемый Алексей Максимович, спрятались, оторвались от новой жизни, недостижимым призраком стали — и тому подобное. Этот не спрашивает, не уговаривает, а настаивает, нажимает, требует.

Спасибо, друзья, что зовете, ждете. Излишние похвалы и воскурения в его адрес ни к чему, да и несправедливы. Каких-то особых заслуг он за собой не ведает. Ей-же-ей, не от скромности он это утверждает, а лишь справедливости ради. Он уже говорил и опять готов повторить: Сергеев-Ценский или Пришвин, к примеру, куда более талантливы, чем он, у них более тонкий литературный вкус. Да и разве не видно, насколько они в последнее время выросли как художники?

Ну, а у него свой крест, и он готов нести его смиренно и безропотно. Да, его и самого так тянет на Родину, в Россию — пусть хотя бы и к дню своего рождения. В конце концов — был бы повод. Но прежде он должен закончить роман.

Как всегда, придают силы письма друзей, в них отклики на только что вышедшую первую книгу «Самгина».

Александр Константинович Воронский, хоть и прочитал «Самгина» пока наспех, однако сообщает, что, мол, ему очень понравилось.

Лучшей считает пятую главу — о Ходынке. Грозится написать статью. Утверждает, что роман требует пояснения, что нынешний читатель может многое не понять. Мысль романа ему представляется важной, значительной, но, похоже, что эту мысль он понимает не совсем верно, односторонне. Надо будет написать ему, разъяснить, что лейтмотив Самгина — «может, мальчика-то не было» — не единственный, да, пожалуй, и не самый главный в романе. Не менее важен и другой — «да что вы озорничаете?». Так сейчас думают многие в эмиграции — те, кто не понял и не принял революцию.

После жарких, иссушающих дней пролил, наконец, хороший, спорый дождь — и всё будто очнулось от сна, зацвело, заблагоухало в этот первый день пасхи. По саду гуляет его в н у к а Марфа — существо довольно-таки непоседливое и своенравное, но от этого еще более желанное и любимое. Скоро у него и еще будет внучка или внук — одним словом, прибавление семейства. На душе от всего этого светлее и радостнее, кажется, отступают заботы и хвори.

Вообще же здесь, в Е в р о п а х, чувствуется какая-то усталость, упадок жизненных сил. Раздаются голоса о «сумерках» мужчины, о его «банкротстве», о гинекократии — новом значении женщины в современном обществе, в культуре. Похоже, есть в этом что-то горькое, но справедливое.

В мае «Правде» исполнялось пятнадцать лет, и Мария Ильинична Ульянова — ответственный секретарь газеты — просила дать что-нибудь для юбилейного номера.

Решил написать очерк о Вилонове.

Давно хранил он память об этом большевике-ленинце, человеке редчайшего мужества, умнице, сознательно избравшем трудную судьбу профессионального революционера. Всякого лиха пришлось ему хлебнуть: подполье, аресты, тюрьма. Неудачный побег. Его поймали, страшно измордовали — били прикладами. С тех пор он тяжело заболел туберкулезом, который и свел его в могилу...

Душевно он тянулся к таким людям, как Вилонов. Михаил — это была одна из партийных кличек Вилонова — принимал активное участие в организации партийной школы на Капри. В 909-м, когда в школе стали брать верх отзовисты и богостроители, Михаил порвал с ними и уехал к Ленину в Париж. В ноябре того же года Алексей Максимович получил письмо от Владимира Ильича. Памятное ему письмо, в котором были добрые слова о Михаиле. И о нем, многогрешном литераторе. Слова одобрения его художнического труда, слова доброй веры в общее дело, которые поддерживали в минуты усталости, сомнений.

Вилонов умер весной 910 года. И тогда же были сделаны первые наброски о нем. «Человек редких способностей, выдающегося ума и больших знаний» — одна из записей того времени.

И вот теперь, спустя семнадцать лет, он возвращается к своим воспоминаниям о Михаиле Вилонове. Да, это был Человек с большой буквы, хотя сам он возражал против того, чтобы его так называли, не любил этого. Был он строен, даже красив, от рождения у него было крепкое здоровье — до того, пока не избили до полусмерти. Здоровье, конечно, отняли, но дух остался несломленным.

Вспоминается, как они подолгу философствовали, горячо спорили. Вилонов не любил ж а л о с т н о й литературы, считал, что единственно достойное революционера — это чувство ненависти. «Одна только правда есть — правда ненависти к старому миру»,— повторял Михаил. Старался говорить сдержанно, внешне даже бесстрастно, но болезнь не спрячешь — на платке оставались темные пятна крови.

Да, это был один из когорты истинных героев, и Мария Ильинична, конечно же, права, когда говорит, что такие люди, как Вилонов, немало сделали для строительства и партии, и большевистской «Правды».

Скоро месяц без дождя, стоит жара, духотища — нечем дышать. Устал — дальше некуда.

Душно и м е р т в о здесь не только от погоды, но и от окружающей его эмиграции. Жалкое зрелище! Все они измельчали, изолгались, озлобились, исхулиганились, разодрались друг с другом. Большинство из этих людей — теперь он особенно хорошо это видит — эмигрировали от самой жизни, а не от России. А их радость — убит в Варшаве советский посол Войков — подла и омерзительна. Хотите одолеть Союз Советов? Поздно, господа хорошие!

Здесь, в Италии, он встречается с разными людьми, приезжающими из России. Они рассказывают ему о том, что происходит там, на его Родине, и он испытывает нескрываемую грусть и зависть.

С президентом Академии художественных наук Петром Семеновичем Коганом он начал переписываться еще в 1924 году. А познакомился с ним здесь, в Сорренто, недавно, в мае 1927-го — Коган приехал в Милан в качестве генерального комиссара советского павильона на Международной выставке декоративного искусства. Прекрасный человек!

Петр Семенович пишет, что в Советском Союзе готовится к открытию большая выставка искусства народов СССР, посвященная десятой годовщине Октябрьской революции. Предполагается, что на ней будут представлены не только произведения индивидуального творчества, но и народное искусство — вышивки, игрушки, музыкальные записи, инструменты,— словом, все, чем богат наш народ. Бесспорно, нужное, полезное дело эта выставка. Она еще нагляднее, зримее покажет ум и талант народа, которым помогла развернуться революция. Как не порадоваться этому, как не погордиться?

Уже который день не забывается, щемит занозой письмо Федора Гладкова. Написано оно, пожалуй, излишне пылко, несдержанно. Но нельзя не оценить, что при этом — искренне, открыто, прямо. А что принимать из сказанного, что отвергнуть — это, как говорится, дело хозяйское.

Так-то оно так, да все же...

В чем только не упрекает его Гладков! В том, например, что он не любит людей, презирает их. Якобы он, Горький, в последнее время в своих произведениях отошел от самого себя — автора «Буревестника» и «Матери». Теперь его, мол, по преимуществу интересуют мелкие, никчемные люди с их унылым, пассивным существованием.

Нда-а, не впервой ему слышать подобные упреки — в разной форме и по разным поводам. Но так прямо, жестко, почти наотмашь... А что, может быть, Гладков прав? И зря он столько возится с этими в ы д у м ы в а ю щ и м и с е б я людишками, ведь в самом деле не они настоящие герои, хозяева жизни. Но кто же расскажет о них так, как может рассказать только он? Нет, нет, здесь какая-то неполная, односторонняя правота.

В письме это объяснять сложно и долго. Да и писать надо, как Гладков,— с такой же страстью, исчерпывающей ясностью и откровенностью. А ему сейчас не до этого, приходится беречь, экономить силы и время на главное — на роман...

Все же, видимо, придется ответить Гладкову, а то он уже и второе письмо прислал. Боится, что обидел его своей горячей, резкой отповедью. Нет, не обиделся он, просто времени нет. Да в общем-то в гладковской оценке «Самгина» нет ничего особенно обидного, тем более оскорбительного. Самоуверенностью же особой он, Горький, ни в кои времена не страдал и к сонму непогрешимых себя никогда не причислял. Более того, мнение литератора, работника одного с ним ц е х а, полагал для себя не токмо интересным, но и весьма полезным.

Кстати сказать, Федор Гладков вовсе не первый и не единственный, кто высказывается о его «Самгине» неодобрительно, так что не привыкать. Вот недавно в газете «Руль» довелось прочитать:

Я книгу взял, восстав от сна,
И — погрузился в сон.
Роман «Жизнь Клима Самгина»
На 800 персон!
Что Достоевский? Что Бальзак?
Что книги прежних дней?
Бывали лучше — точно так,
Но не было скучней.

Вот такие стишки... Особым остроумием автор, конечно, не блещет, но надо признать, что «на 800 персон» сказано неплохо.

Впрочем, он готов согласиться — и пусть Гладков это знает,— что книга его действительно получается несколько скучноватой, с этими уж ничего не поделаешь. Впрочем, возможно, она и должна быть такой, ведь она и замыслена им как п а н и х и д а по определенной части русской интеллигенции. Об этом и напишет Федору Гладкову. Пускай не думает, что он на него обиделся.

...Все лето стоит необычная жара —

говорят, такого не упомнят старожилы. Середина августа, поздний вечер, а он сидит при открытых настежь дверях — и хоть бы маленький ветерок подул, освежил немного. И все-таки так красиво здесь, любит он эту землю и ее людей. Но еще больше он любит Россию, русских людей, которых ему так не хватает.

В начале сентября он получил письмо от Сергеева-Ценского. Оно порадовало его, согрело душу. Полыхнуло не по-осеннему щедрым теплом, живым участием в деле его жизни. Впрочем, оценка «Самгина» — слишком лестная. Пусть бы уж лучше указал на недостатки — их не может не видеть этот строгий и требовательный художник.

Следом — второе письмо от Сергея Николаевича. И опять добрые, ласковые слова о романе. Построен он, по его словам, оригинально, без нажимов и подъездов — ну, и так далее. Ах, если бы знал Сергей Николаевич, как дорог ему сейчас каждый добрый совет, каждое дельное замечание — здание-то его романа еще стоит в лесах, работа продолжается. Ему и самому пока не все ясно в его постройке...

Надо будет Сергею Николаевичу ответить, поблагодарить. А вот с некоторыми оценками нынешних молодых готов с ним поспорить. Думается, что Олешу он недооценивает, писатель это даровитый. И Фадеев — тоже из интересных, серьезных писателей, это видно.

Рад, конечно, несказанно, что не забывают его братья-литераторы, приезжающие с Родины. Навещают, рассказывают обо всем, что происходит в Стране Советов.

Был вот Леонид Леонов. Человек он, бесспорно, талантливый, многообещающий. Но ему, как и всем молодым, многому еще надо учиться, много работать — без этого настоящего художника не может быть.

Побывал у него и еще один молодой, лет тридцати от роду,— Валентин Катаев. Тут он с предсказаниями спешить не будет — время покажет.

Обещали вскорости приехать к нему и Всеволод Иванов, и Никулин, и Ольга Форш, и Полонский. Вот уж поговорит он с ними всласть, повыведает обо всем.

Такие встречи и беседы — это, конечно, праздники. Но они все же довольно редки. Чаще приходится довольствоваться письмами — он и сам пишет их много и получает немало.

Вот и еще одно — от литератора, критика Далмата Александровича Лутохина. Они с ним встречались и уже несколько лет — в переписке. Хорошо видит и многое правильно понимает. И это письмо — хорошее, дельное. Но Самгина он както все же не совсем верно толкует. Считает, например, что этот герой показан слишком вялым, безвольным. А он, дескать, к сорока годам, вероятнее всего, будет... товарищем министра в кабинете Керенского. Соображение, конечно, оригинальное, но едва ли оправданное. Для этого у Самгина, думается, недостаточно самолюбия. Нет, нет, так судить о его герое явно преждевременно — ведь роман только начат.

Есть еще один пункт несогласия с Лутохиным. Многие его пожелания и замечания, возможно, были бы более уместными, если бы он, Горький, писал историю, документальное повествование. Но ведь у него-то цель во многом иная — изобразить историю пустой души. Это и больше и меньше, но главное — совсем другое. К слову сказать, вторая часть романа, возможно, многое прояснит для читателя, но вот что она будет менее скучной — это уж как выйдет. Тут обещать да загадывать не приходится; загад, как известно, не бывает богат.

Осенью отмечали тридцатипятилетие его литературной деятельности.

Да, юбилей — это, если угодно, стихийное бедствие. Только и знай, что отвечай на приветствия, строчи письма, благодари за поздравления. Можно, правда, в кругосветное путешествие отправиться или, скажем, нарочно в тюрьму угодить. Впрочем, и там едва ли спрячешься. Очень даже просто вытащат на непродолжительное время, почествуют и опять посадят...

Ладно, пошутили и довольно, пора и честь знать. Работа стоит, дело ждет.

Письма, письма... Нервущаяся связь с Родиной — как глоток живой родниковой воды. Всегдашнее чувство нежданной, нечаянной радости и — чуть ощутимый укол, привкус горечи от сознания, что он на чужбине, вдалеке от своих.

Прочитал первую часть «Самгина» и спешит откликнуться, поделиться своими мыслями Михаил Михайлович Пришвин. Несказанно ценно и дорого мнение этого замечательного мастера литературы. Да, он правильно почувствовал, разгадал, что первый том — лишь начало большой эпопеи, что самое главное — еще впереди.

Михаил Михайлович деликатен и осторожен, он не хочет мешать советами, толкать под руку, навязывать свое мнение, но все же несколько замечаний высказывает. Замечания умные, тонкие, с ними нельзя не согласиться. Вот хотя бы одно — о том, что в романе слишком много афоризмов, они утяжеляют, затрудняют чтение. Он и сам поначалу думал так, да, помнится, уговорил себя в обратном. И напрасно, надо бы прислушаться к внутреннему голосу. Чаще всего этот голос бывает прав...

Михаил Михайлович и на похвалы не скупится. Многое ему в романе нравится. Считает, например, что в «Самгине» удались многие диалоги, особенно те, в которых чувствуется стихия русской народной жизни, мудрости. На этих высоких волнах, советует он, и следует продолжать роман. Спасибо, дорогой Михаил Михайлович, за любовь да совет!

Книга подвигается туго — скорее все-

го еще и оттого, что чувствует он себя неважно. Ну, легкие нездоровы — это дело для него почти привычное; а тут еще в правом плече боль привязалась,— похоже, нервы расходились. Вот уж, действительно, одно к одному.

В марте казалось — работа близка к завершению. Но уже и лето миновало — а было оно жарким, душным, работалось трудно,— вон и осень придвинулась, наступил сентябрь, а конец по-прежнему еще не скоро.

Закончив одну редакцию, он тут же принимался за вторую. Тяжелая, изнурительная, нескончаемая работа. Как каторжный, прикован к столу. Из-за этого ему приходится откладывать свое возвращение на Родину. Он не сможет приехать даже на празднование Октября. А так хотелось бы...

Пишет Борис Леонидович Пастернак. Он знает, сколько людей обращается к нему, Горькому, со своими делами и просьбами. И не хочет быть навязчивым, мешать писателю в его работе. Он лишь высказывает свою читательскую благодарность автору «Артамоновых» — книгу эту он проглотил за два вечера, не отрываясь. И еще: в нем, Горьком, он видит некое историческое олицетворение. «Я не знаю, что бы для меня осталось от революции и где была бы ее правда, если бы в русской истории не было Вас». Незаслуженно высокая, конечно, оценка его скромной персоны, но дорого, что, кажется, искренне сказанные слова. А книгу недавно Борис Леонидович прислал ему отличную — из тех, что оценят, возможно, не сразу, но у нее будет долгая жизнь. Да, Пастернак поэт настоящий, социальный, что особенно важно.

В ноябре получил письмо от Ильи Александровича Груздева. Пишет, что вначале он не понял и не оценил замысла «Самгина» — да и читал он его тогда бегло, в отрывках. Теперь вот прочитал не торопясь, обстоятельно. Высказывает интересные суждения о главном герое романа. О том, в частности, что Самгин — это серый бес пошлости, упроститель жизни, лакей жизни. Спасибо за понимание, за поддержку.

Ах, как больно ранит непонимание! Надо делать все для того, чтобы тебя поняли,— без этого, как без воздуха, нельзя дышать, жить. Ну, сам он боец закаленный, выдержит все, не отступит от своего. А вот как предостеречь других — молодых, тонкокожих?..

Именно об этом он и напишет Пастернаку, посылая ему первый том «Самгина»... Вообще в поэзии его много хорошего, хотелось бы пожелать ей лишь одного — большей простоты. Хаос мира как бы одолевает его творчество, не преображаясь в гармонию. Впрочем, может быть, он и ошибается, пусть тогда Борис Леонидович простит его. Во всяком случае, он искренне желает ему всего самого лучшего.

Только что он прочитал в «Известиях» сообщение о создании комитета по празднованию 60-летия со дня его рождения... Ради бога, пощадите, не делайте из него жертву всеобщего внимания! Он собирается приехать в Россию, посмотреть, пощупать все своими руками, а столь шумно организованное чествование может только помешать сделать это. Не то, чего доброго, придется ему отращивать себе бороду, перекрашивать в какой-нибудь невообразимый цвет усы, менять форму носа...

Вообще-то жить он собирается еще долго и предлагает провести его юбилей... ну, скажем, через десять лет. Длинные романы он к тому времени писать перестанет да и посвободнее будет: вот тогда, пожалуйста.

Ну, или хотя бы перенести на полгодика все эти юбилейные речи и торжества, а до того времени он побывал бы везде, где ему хочется. Вот о чем он, незаслуженно и безвинно приговоренный к юбилейному чествованию, убедительно, коленопреклоненно просит ответственного редактора «Известий» Ивана Ивановича Скворцова-Степанова, коему и отписал слезно по вышеуказанному поводу.

В конце года он опять простудился, и вот результат — воспаление правого легкого. Самочувствие скверное, мучит одышка.

Сейчас-то он уже здоров. Вот сидит и пишет письмо Леониду Леонову. Теперь можно и пошутить над своей хворью. А тогда дело было худо. Хотите верьте, хотите нет, дорогой Леонид Максимович, только в ту пору уж и черти — самые обыкновенные, с хвостами,— навестили. Склонились, ехидничают...

«Ну, что — готов?» — «Нет, — говорю,— у меня роман не кончен».— «Ну,— говорят,— ладно, нам не к спеху, а от романа — тошно не будет, мы — не читатаем...» — «Неграмотные?» — «Нет, грамотные, рецензии пишем, а читать — времени не хватает, да и к чему оно — читать, ежели сами пишем?»

Такой вот разговор, дословно. Ну, черти постояли, постояли и исчезли, кое-что с собой прихватили. Он же после этого пошел на поправку.

А если всерьез говорить, то нелегко ему здесь. Порой так тоскливо да скучно бывает, что хоть волком вой.

А на дворе уже новый, 1928-й год — каким-то он будет?

В январе к нему приехала Мария Игнатьевна Будберг и сразу же занялась перепечаткой рукописи. Перепечатанное тут же отсылала в издательство. Работал он на всех парах, но все казалось, что работа идет медленно. Приходилось много править, переписывать, прежде чем отдавать на перепечатку. К тому же у Марии Игнатьевны постоянно ломалась машинка.

И все же наперекор всему конец близок, совсем рядом. К двадцатым числам февраля он во что бы то ни стало отпра-

вит всю вторую часть — и после этого возликует от радости. Только уж побыстрее бы.

За тридцать пять лет работы в литературе он всякого повидал. И эта рецензия Поляковой в журнале «Печать к революция» на первую часть «Самгина» для него новостью и неожиданностью особой тоже не показалась. Разумеется, писать о нем каждый имеет право, как считает нужным, в том числе и резко критически. И он не задет этой рецензией, хотя есть в ней вещи обидные и, как ему кажется, вовсе не обоснованные. Например, рецензент, неизвестно на каком основании, приписывает ему, автору, «равнодушие», «холодность», «объективизм» и тому подобное. Да как же можно говорить такое, когда написано только самое начало произведения и даже автору еще неизвестно полностью, что представляет собой его герой? Нет такого права ни у рецензента, ни у журнала, уважаемый редактор! Это он и написал Вячеславу Павловичу Полонскому, пусть знает.

Дело, конечно, не в обиде, он и вообще-то человек не очень обидчивый. А если и обижается, то обычно на себя, ибо считает, что глупо и бессмысленно обижаться на других.

Впрочем, что это он все об обиде? Вот и Михаилу Михайловичу Пришвину о том же... Нет, лучше он поговорит о чем-нибудь другом. Да вот хотя бы о собаках — братьях наших меньших. Говорят, лучше многих других понимают этих животин англичане. Будто бы даже специальные собачьи клубы организовали... Кстати, и его собаченцию вписали в какую-то особую книгу. Тоже почет и уважение!

Вот, пожалуй, еще о чем следует сообщить Михаилу Михайловичу. Стыдно сказать, но это факт: пропадают здесь иногда книги, посылки. Бывает так, что пошлешь коробочку с неким содержимым,— так коробочка до места назначения, само собой, доходит, а вот содержимое далеко не всегда. Случаются и другие подобные чудеса.

Впрочем, что это он разворчался? Разве мало приятного в жизни, радующего? Вот, скажем, недавно прочитал книгу Арсеньева «В дебрях Уссурийского края». Замечательная вещь — и не только по научной ценности, которая бесспорна, но и по изобразительной части. Нужное, полезное чтение для молодежи. Побольше бы таких книг! Талантливы наши люди! И сам Пришвин, которому он пишет обо всем этом,— замечательно талантлив. Истинно так!

Недавно приехал к нему Василий Евдокимович Дровянников. Наш человек — так Алексей Максимович напишет о нем немного позже. Крупная, большая фигура, умный взгляд. Чувствуешь себя с ним легко, просто.

Биография у Василия Евдокимовича богатая, и рассказывает он о себе спокойно, в шутливом тоне, будто о ком-то постороннем. Искренне, откровенно, без похвальбы и фальши.

В годы гражданской войны организовывал красные партизанские отряды, попал к белым, был нещадно избит, но все же остался жив.

В мирное время занимался хозяйственной работой. Однако обнаружилось, что призвание у него другое: он обладал прекрасным, редким басом. Немало помогла жена, которая была так же истово предана музыке, как он сам.

И вот Дровянников поет уже в Большом театре, выезжает на гастроли за границу. Там его восторженно принимают, называют «вторым Шаляпиным», против чего, кстати, он, считая это сравнение нескромным, энергично возражает.

С большим успехом проходили гастроли Дровянникова в Италии, Риме. Но живет он трудно, в кармане пусто. Назначенной стипендии ему не хватает, тесится с женой в небольшой комнате, питаются скудно. Бывает, даже не на что сходить в музей, театр, у обоих нет приличных костюмов. Но обо всем этом Василий Евдокимович говорит без желчи и раздражения. Рядом с такими людьми и сам чувствуешь себя увереннее, бодрее.

Свое обещание Алексей Максимович все же выполнил — в феврале окончил-таки второй том романа. Рад, конечно. Вот только будут ли так же рады читатели? — спрашивает он себя. Не успел произвести на свет свое детище, а уже не дают покоя сомнения.

Да, устал отчаянно. А сколько еще хлопот неизбежных с печатанием. Надо вести переписку с издательством, править гранки, отсылать их. Сорренто — Берлин, издательство «Книга» — Москва. Расстояния неблизкие. К тому же превратности почты, порой приходится ждать ответа неделю, а то и другую...

Типография Шпамера, печатающая его книгу, не спешит, тянет. Крючков же в Москве, наоборот, торопит. Редакторы советских журналов хотят побыстрее напечатать «Клима Самгина», но сделать это они смогут только после выхода тома в издательстве «Книга» — таков договор. И идет переписка, а это всё — время, нервы. Затерялся один кусок корректуры, еле отыскался. Была надежда, что Бергман выпустит книгу в марте этого года, однако надежде не суждено было сбыться. Печатание тома в издательстве завершилось лишь в последней декаде апреля. Теперь и советские журналы получили право напечатать отрывки из его романа. Затем «Самгина» полностью издадут в Союзе Советов — переговоры между издательством «Книга» и Московским акционерным обществом «Международная книга» уже начались...

А теперь, кажется, наконец-то он может облегченно вздохнуть. И главное — больше ничто не помешает ему поехать на Родину.

Дом над пропастью

•

Фазиль Искандер. Путь. Стихи. М., Советский писатель. 1987. **Кролики и удавы.** Сказка. «Юность», 1987, № 9. **Старый дом под кипарисом.** Повесть. «Знамя», 1987, № 7.

•

Образ писателя Фазиля Искандера в читательском представлении настолько ясен и привлекателен, что, кажется, достаточно произнести имя и уже ничего можно не объяснять. Все знают: жизнеутверждающий талант, благородный, по-доброму насмешливый мастер. В нынешние, мягко говоря, нервные времена большой писатель, с таким постоянством сохраняющий высоту духовного настроя, внушает особенно почтительное чувство.

Завидная писательская судьба, заслуженное признание... Только почему-то мы куда чаще и азартнее толкуем о других авторах, чьи творческие достижения не столь безусловны. В спорах о них кроется искусительная надежда родить обещанную пословицей истину, а Искандер — это, видимо, тот, кто истиной уже владеет.

На вопросы, обращенные к писателям, отвечают их книги. В частности, последние публикации Искандера — сборник стихов, повесть, философская сказка — говорят о многом и разном, но среди прочего, как мне кажется, и о том, что их создателю невозмутимая классическая поза чужда и на пьедестале неуютно.

Кстати, поэзия домашности, уюта, очажного тепла для него не просто мила, но исключительно важна мировоззренчески.

Многие, должно быть, помнят опубликованную в одном из мартовских номеров «Литгазеты» за прошлый год статью Искандера «В чем тайна?», где автор, рассуждая о судьбах романа, уверял, что есть «Литература дома и бездомья. Литература достигнутой гармонии и литература тоски по гармонии». Так что у него самого? Скажем: конечно же, дом, разумеется, гармония! Достаточно хотя бы только полистать книгу стихов: дружба и любовь, радость труда и веселье пира,— все доброе здесь немыслимо без надежного приюта, доверчивого согласия души с обжитым, очеловеченным миром. А в злой час ничто так не утешит, как память о доме, крыша которого когда-то «не от неба — от бед оградила», да и теперь можно воззвать, словно к некоей высшей силе: «Милый дедушкин дом, помоги!» Человек XX столетия склонен размышлять о космосе, напрягая фантазию, бессильную перед огромностью Вселенной, а лирическому герою «Пути» в мечтах видится синий купол мощного и все же уютного храма, построенного добрым богом, чтобы семье человечества было где укрыться от пронизывающего холода беспредельности («Рассуждение блаженного Августина»).

Заметим: он умеет быть у себя дома и среди диких скал («Хочу я в горы»), и на морском берегу («Лето»), и «в сутолоке улицы московской» («Свиданье»). А четыре-то стены как раз способны обернуться ловушкой, откуда неба не видать. Так происходит, когда герой, к кому, бывало, сама гора Ушба не ленилась пожаловать на дружеское застолье («В Сванетии»), осознает, что одинок: «Мне некого в дом пригласить»...

Итак, в понимании поэта дом не жилплощадь, даже не семья, а часть мирового пространства, где обитает человечность. Нет этого — и дом гибнет. Остаются мертвые стены, за которыми тлеет тоска и прячется злодейство. Сюда приходит дурной гость — вор и оскорбитель очага («Баллада об украденном козле»), под личиной друга проникает убийца («Моцарт и Сальери»), любимая становится врагом («Ушедшей женщины тиранство»)... Да, Искандер — певец гармонии, только вот его лирический герой, будь он в обличье абхазского пастуха или Моцарта, обречен снова и снова срываться в хаос, во мрак и отчаяние. И добро бы он, подобно другому пушкинскому персонажу, был одержим соблазном темного упоения, что таится для иных «в бою и бездны мрачной на краю». Но нет же, напротив: герой Искандера по натуре — строитель, с отвагой и упорством горца умеющий строить и там, где, кажется, не устоять человечьему жилью. Коли лучшего места не дано, он все равно соорудит дом и у края пропасти, чтобы дети греЛись у огня, и манила радушно распахнутая дверь, и ничто не угрожало достоинству, дружбе, любви. Что до мрачной бездны, он презирает ее. Его бы воля, не то что заглядывать с пьянящим головокружением — смотреть не стал бы в сторону этого зловредного провала. Но герой Искандера — человек своей эпохи, он не может не чувствовать, что земля готова разверзнуться у самого порога, а приветливая твердь — обрушиться на головы рода людского.

Трагедия строителя, на чьих глазах погибает его великим трудом воплощенная мечта, повторяется во многих стихах сборника. Суть ее неизменна, хотя герой всякий раз переживает беду поразному. Горец смывает бесчестье кровью гостя-обидчика; Моцарт, угадав замысел Сальери, выпивает отраву, ибо стыд за низость друга горше смерти; гениальному живописцу, с любовной

щедростью разукрасившему множество стен, негде укрыться от непогоды и людской злобы («Пиросман»):

Художник камни родины целует,
Что ж камни родины в художника летят?!

Выходит, и родина порой оказывается вероломной. Она — это ведь прежде всего люди, сограждане, а предать, как известно, может только свой. Враг, даже убивая, не покушается на заветное существо души. Искандера же пуще всех зол тревожит именно такое покушение, его природа, возможность... Или даже неотвратимость?

Это самый страшный, а потому и самый неотступный вопрос, буквально преследующий писателя. Его герой любит, мыслит, творит, а предательство крадется за ним, словно брат Каин за Авелем, и развязка в который раз предрешена... А разве в прозаических вещах Искандера не так же? Повесть «Старый дом под кипарисом», богатая юмором и солнечными картинами детства, не раз омрачается тенью взрослых и ребячьих предательств. Вроде бы они не так уж серьезны, и эта скверная мелькающая тень, кажется, вот-вот растворится в густой, прохладной тени чудесного дерева, осенившего дом мальчика. Но когда, как подлые удары в спину, семью маленького героя настигают арест дяди Ризы и ссылка отца, сердце сжимается от догадки о родстве тех малых вероломств с этим — смертельным. А уж в «Кроликах и удавах» только и делают, что предают: из корысти и от страха, по недомыслию и на всякий случай, в прозе и в стихах; предают злорадно, рассудительно, с сожалением — на все лады. И когда Задумавшийся кролик, единственный симпатичный персонаж этой мрачной истории, осознав смысл происходящего, добровольно идет на смерть, его поступок не рождает благодетельного просветления ни в кроличьих, ни тем паче в удавьих мозгах.

Все это плохо вяжется с устоявшимся представлением об Искандере, его светлом даре и знаменитой улыбке, «почти зримый образ» которой создают творения писателя. Но правда — создают же! Другое дело, что и десять с лишним лет назад трудно было согласиться с автором тогдашней новомирской рецензии А. Лебедевым, будто улыбка эта «чуть ироничная, немножко благодушная и очень теплая». Все куда сложнее, и я бы нипочем не взялась дать этому «почти зримому образу» исчерпывающее определение. Здесь множество смыслов и оттенков — от перехлестывающей через край растроганности цикла «Малыш, или Поэма света» до саркастической гримасы философской сказки. Но вот благодушия, хотя бы и «немножко»,— нет, не вижу. Оно ведь немыслимо без пресловутой тысячекратно хваленой, а на самом-то деле слепой веры в предрешенное торжество добра.

Нет ее у Искандера. И, похоже, никогда не было. Он уже многие годы, как поэт и прозаик, лирик и сатирик, твердит нам, что добро не подрядилось побеждать,— ни история, ни людская природа подобных гарантий не дают. А вот надежда есть, ее Искандер отстаивает, без устали тратя на это жар души, художнический талант. Если вернуться к любимой метафоре писателя, в его книгах не дом и не бездомье, а надежда, что дом вопреки всему устоит.

Отсюда тепло и свет, за которые любят Искандера. Отсюда и неотпускающая тревога, ощущение соседства бездны. Не в пример благостной вере надежда беспокойна даже тогда, когда ей дарован приют в мужественной душе. Да и сама эта душа — не крепость, не из камня же: как всему живому, ей необходимо развитие. Бурное становление такого характера отразилось в «Старом доме под кипарисом» — тем только и светла повесть, рассказывающая о событиях, с которыми не мирится сознание. Если бы не это, как можно любоваться причудливым многоязычным Мухусом, вникать в детские драмы его маленького жителя, находить забавными родню и соседей героя, посмеиваться над страстями местных футбольных болельщиков и т. п.? Ведь этот чудесный, по-южному шумный городок доживает последние дни перед бедой. Мальчику суждено стать свидетелем высылки персов, греков, турок, живших на Черноморском побережье «с незапамятных времен». Рассказчик запомнит проводы, перрон, заплаканные лица близких, чьи-то жалобы и проклятия, но о том, что он никогда больше не увидит отца, герой догадается лишь годы спустя. Зато тихоня-квартирант проявит большую смекалку: тут же решит не церемониться с семьей высланного и попытается прибрать комнату к рукам, начнется «эпоха судебных войн».

В развитии действия повести есть что-то от тихо, но неотвратимо нарастающего землетрясения. Под натиском безликого зла шатается все: и веселый Мухус, общий дом давно сжившихся народов, и тот самый родной, что под кипарисом. Кажется, в этом зыбком мире душа подростка вот-вот потеряет нравственное равновесие. Но она сохраняет его, оступаясь и мучась, все же крепко держится за отброшенные столь многими спасительные чувства стыда и сострадания.

В сущности, она невероятна, улыбка рассказчика, вспоминающего то время. Но и мы улыбаемся. Мы вместе празднуем победу духа. Она во всем — в полноте и точности памяти, умной зоркости авторского взгляда, чарующей пластичности слова, музыке фразы. Повесть стала домом надежды. И не потому, что в ее финале кипарис спасли от топора, а козни стервеца-квартиранта не имели успеха. Важнее другое: «еретическая жалость к поверженному врагу», которую чувствует мальчик, когда веселый милиционер выволакивает из дома квартирантский скарб и весь двор любуется торжеством справедливости. Рассказчик вспоминает, как он тогда ушел, не в силах разделять ликование родни. Оказалось, ему не дано наслаждаться унижением человека, сколь угодно неправого. Внезапная боль, испытанная героем в эти минуты, знак того, что чувство общечеловеческого братства, столько раз попранное, живо еще. Наперекор всему.

Но ведь что получается: герой переживает боль, ужас, стыд, ведет жестокую борьбу с самим собой, а мы торжествуем победу. Мы гости на этом празднике (недаром дружеское гостеванье — один из повторяющихся мотивов поэзии Искандера). И вот смакуем вкусное искандеровское слово, упиваемся тонкой, искрящейся шуткой, восклицаем: «Великолепная мысль!» Нам эту мысль, стоившую огромных страданий, подносят с улыбкой, и мы (мы, а не автор!) благодушно ухмыляемся в ответ...

Этому нашему благодушеству немало лет. «Когда какие-то частности прочитанной книги Искандера уже начинают уходить из памяти,— сказано в той же давней рецензии А. Лебедева,— происходит маленькое чудо: улыбка остается». За сим, между прочим, следует разбор рассказа «Мой дядя самых честных правил...» — истории, которая могла бы стать одной из тревожнейших глав повести «Старый дом под кипарисом». Те же время, место, персонажи, причем изображаемая коллизия в нравственном отношении чудовищна. Мальчишка, очумев от повальной в ту пору шпиономании, нападает на след... собственного помешанного дядюшки. Изловить «врага» в недрах своего же семейства — такой подвиг представляется герою верхом пионерской бдительности. Он ищет и с восторгом находит преступную логику в действиях безумца. Перипетии рассказа, где бдительный племянник выглядит куда более сумасшедшим, нежели дядя, заставляют вспомнить чью-то угрюмую остроту: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Впервые читая рассказ, поневоле хохочешь. Но странно думать, что воспоминание об этом кошмаре у кого-то может вызвать улыбку.

Николай Васильевич Гоголь грустил, предвидя, что его горьким словам посмеются — и только. Многие поколения потомков сочувствуют этой печали великого сатирика. Так, может, нам, современникам, спросить себя: не надоела ли Фазилю Абдуловичу Искандеру наша готовность веселиться да похваливать его юмор, доброту, гармоничность? Кстати, в стихах сборника «Путь» в этом отношении изрядные перебои. Там есть прелестные гармоничные стихотворения, но часто музыка стиха словно бы захлебывается на полуслове, строфа теряет стать, а мысль и чувство высказываются с запальчивой прямолинейностью. Значит ли это, что мастерство Искандера в поэзии не так совершенно, как в прозе, или автор нарочно не прячет от нас изъяны незавершенной постройки, умышленно вынуждает следовать за собой по ухабистому и тернистому пути?

Насчет стихов — это только предположение, но что касается «Кроликов и удавов», здесь-то нельзя не заметить, что нас не на праздник пригласили. Сказка подводит читателя к самому краю той предательской бездны, велит вглядеться в копошащийся мир зла. Картина неожиданна: нет в ней ни веселой сказочной жути, ни живописности, обычно свойственной прозе Искандера, ни всегдашней сострадательности его взгляда. События, происходящие на общей территории некоторого кроличьего царства и государства удавов, освещены резким, без полутеней светом анализа, авторские комментарии к ним жестки и по видимости беспристрастны.

На первый взгляд нравы и обычаи героев, принадлежащих к исконно враждующим племенам, противоположны решительно во всем. Удавами тиранически правит Великий Питон, любитель казней и железной дисциплины. Кролики, наоборот, имеют сладкоречивого Короля-вегетарианца, выбираемого затем, чтобы было кому печься о защите от удавов и способствовать неким засекреченным опытам по выведению Цветной Капусты — райского овоща, призванного осчастливить кроличий род. Молодцеватые удавы воспринимают деспотизм как идеал твердого правления, подобающего «Потомкам Дракона». Впечатлительные кролики терпят неравенство как прискорбную необходимость, которая отпадет, едва лишь Цветная Капуста (которой, впрочем, никто не видел) напитает всех, а не только избранных, допущенных к королевскому Столу. Стоит кому из удавов проштрафиться, и его приятель прямиком ползет к Питону с доносом. Среди кроликов такие поступки не в чести, поэтому Королю приходится содержать штат соглядатаев во главе с прытким начальником Королевской Охраны.

Вскоре, однако, обнаруживается, что удавов с кроликами курьезным образом сближают этакая бесшабашная умственная лень и одновременно чопорное пристрастие к условностям. Удавы пожирают кроликов, но сие действие принято именовать «обработкой». Кролики грабят огороды туземцев, но считается более приличным говорить об «отбирании излишков». Склонность к казенным выражениям подчас изрядно затуманивает смысл речей и поступков персонажей сказки. Взять хотя бы «право на отглот» — что бы это значило?

А значит это, что Король кроликов, желая избавиться от кого-либо из подданных, тайком оповещает удавов, где им надлежит искать намеченную жертву. Для этого доверенный Королевский Глашатай прогуливается по так называемой Нейтральной тропе, распевая песенку на слова придворного поэта. Ее текст, вроде бы невинный — об отглоте ни

звука! — содержит, однако, вполне вразумительную для удавов информацию.

Через множество сюжетных поворотов, наблюдений, деталей автор ведет читателя к пониманию причин, помешавших герою сказки избавить «родных кроликов» от страха перед удавами и власти коварного Короля. Задумавшийся ценой жизни доказывает истину, спасительную для сородичей, а они так и остаются в плену опровергнутой им погибельной лжи.

Увы, корень зла не в Короле, не в мифах об удавьем гипнозе и Цветной Капусте, а в тайном желании самих кроликов быть обманутыми. Правда Задумавшегося оказывается неудобной, она обязывает отвергнуть прежнее житье, где, помимо тягот, есть и свои приятности. Прогонишь Короля — значит конец извечному стремлению быть «Допущенными к Столу», нужно искать иные идеалы, более высокие и далеко не каждому кролику понятные. И главное, если жить по правде, так, стало быть, и туземцев не моги обкрадывать, учись работать? — «У-у-у!» — завыли кролики хором.— Как неинтересно...».

На наших глазах автор по винтику разбирает нехитрый механизм корыстного и трусливого самообмана, способного бесконечно порождать зло. Персонажи сказки все как один владеют поистине роковым искусством верить в то, во что кажется выгодным верить, и не додумывать того, что додумать неприятно. Так, сын главного героя, ища возмездия за смерть отца, ополчается на мартышку — случайную, не посмевшую вмешаться свидетельницу драмы. Гнев на мартышкино малодушие так ослепляет юного мстителя, что ему уж не разглядеть истинных, могущественных виновников своего горя. Поэт, витая в облаках, якобы не знает, для чего Королю его песенки. Он даже мнит себя бунтарем, поскольку любой его опус содержит намек на некую очистительную бурю, которая «все равно грядет». Большего Поэт никак не может себе позволить, ведь он стар и давно привык быть «Допущенным к Столу». У Глашатая, кролика по прозвищу «Находчивый», резоны прямо противоположные: вся беда в том, что он молод и только что добрался до вожделенного Стола. Как после этого ослушаться королевского приказа? Предавая давнего друга, Находчивый, бедняга, почти завидует своей жертве: ему хорошо, он никогда не стремился стать Допущенным...

Примечательно, что образ Стола — привилегий, оплаченных ценой бесчестья,— полностью вытесняет из мира сказки дорогие автору образы очага и дома. У кроликов норы, там можно запасать съестное, растить крольчат, но не более того. Недаром Задумавшийся покидает нору ради любимого зеленого холмика: отсюда далеко видно, здесь хорошо размышлять. В сущности, холмик становится домом героя сказки — первым и единственным среди диких джунглей. Но предательство настигает его и здесь.

Дух мертвящей лжи, равно пронизывающей жизнь удавов и кроликов, ощущается в повествовании почти физически. Мутные казенные обороты, излюбленные персонажами, словно метастазы, прорастают сквозь живую, пластичную ткань прозы Искандера. По-моему, это поражает едва ли не больше, чем описанные в сказке злодейства. Что до авторского юмора, от него на сердце еще тяжелей, так он горек. Да писатель и сам признается, что предпочитает «слушателя несколько помрачневшего». Искандеру, назвавшему улыбку «струением света», умеющему шутить и над самой бедственной реальностью, на сей раз понадобилось рассказать такую сказку, чтобы смех застревал в горле. Суровое предостережение должно быть услышано. Авось, помрачневший гость сообразит, что хорошо бы не только веселиться на пиршестве духа, но и помочь строить дом.

Ирина ВАСЮЧЕНКО

С упорством этнографа

•

Андрей Яхонтов. Ловцы троллейбусов. Повести и рассказы. М., Советский писатель, 1986; **Зимнее марево.** М., Московский рабочий, 1987.

•

Опытный и въедливый читатель скажет: создавать писательские биографии бессмысленно, они всегда прочитываются в текстах. Писательское дело предполагает самообнажение, здесь трудно что-либо скрыть: мир автора, его пристрастия и заботы всегда на ладони, обычно не надо даже специфического психоанализа, достаточно наблюдательности. В этом смысле две книжки Андрея Яхонтова «Ловцы троллейбусов» и «Зимнее марево» — не исключение, и, может быть, самое интересное в них — автор. Впрочем, его портрет тут же; по традиции «Советский писатель» публикует на обороте книжной обложки авторское фото: эдакий усатый бонвиван в щегольской полосатой кепочке. Вот только взгляд немножко смущает, чуть тепловат для современного — под сорок — преуспевающего молодого человека. Вот за взгляд и зацепимся. О чем думаем, молодец? А может быть, вопрос надо поставить так: о чем пишем, добрый молодец?

Честно говоря, за книжку Андрея Яхонтова взялся я как за старую знакомую, потому что несколько лет назад,

когда я имел честь состоять в редколлегии журнала «Юность», пришлось мне в верстке прочесть повесть «Ловцы троллейбусов», давшую название одной из книжек. Отношение тогда к ней у меня было двойственное. С одной стороны, сочинение это представлялось мне довольно претенциозным — не без параллелей с модным Маркесом и латиноамериканской школой эдакая доморощенная, эдакая чуть выспренняя фантазия, где герои бродят по крышам, умыкают троллейбусы и пируют по вечерам на просторе,— но вот с другой!.. Мне показалось занятным, что и тогда, в годы, как сейчас принято называть, застоя, взгляд — простите за старомодность — и перо Андрея Яхонтова как-то очень уж въедливо обходились с директорами магазинов, участвовавших в писательских фантасмагориях, с редакторами, добивающимися немыслимой точности и самобезопасности, с водителями персональных автомашин, со всем этим хамьем, бюрократами и отребьем жизни. В общем, все это мне было чрезвычайно симпатично, хотя, признаюсь, в прозе фантасмагорию люблю только высшего качества. Так что взялся, как за смутно знакомое, и, к счастью, не ошибся, потому что и другие некоторые идеи и образы прозы Андрея Яхонтова показались мне близкими.

«На второй перемене — это из «детской» повести — зашуршали пакеты с бутербродами, на партах появились яблоки, груши, сливы. Некоторые обменивались: бутерброд — на грушу, яблоко — на три сливы. Антон не менялся. Он старался побыстрее проглотить свой завтрак. Нехорошо, когда все едят разное: одним кусок торта положили, а другим сладкого не дали». Неплохо? Так за что все-таки радеет перо Яхонтова?

Истории Яхонтов рассказывает почти традиционные, привычные. О мальчике Антоне, постигающем мир и взрослых,— «Дождь в крапинку»; о неких полулишних людях, проигравших свои жизни и жестоко балующихся сейчас чужими,— «Потяни за веревочку»; об архитекторах, одни из которых хотят строить, а другие жить и прожигать — «Хищонка»; о студенте Сереже, влюбившемся в некую лаборантку Тамару, о проектировщиках, молодых ребятах, стоящих каждый день с девяти до шести за кульманами, ездящих на картошку, разочаровывающихся, влюбляющихся, думающих о кесаре и божьем, живущих в неустрое, на перепутье,— «Светофор. Цвет желтый!». Обо всем этом. «Автобус все стоял и стоял на перекрестке. Светофор забарахлил. Дает красный, потом желтый — мотор, предвкушая рывок, урчит,— но нет, опять на красный перескакивает». О временах, когда создавались эти повести, уже было сказано, слово «перепутье» тоже произнесено, остается добавить, что в повестях Яхонтова действуют в основном народ молодой или те, кого сейчас еще называют молодыми — до сорока. Каким там у нас светом горел на перекрестке светофор?

А еще в двух яхонтовских книжках опубликовано по нескольку рассказов. Жанр этот более ограничен, нежели повесть, площадка потеснее, героев поменьше, а посему все здесь и поопределеннее. Бабушка получила новую квартиру, далеко от центра, где она привыкла, в новом районе, у черта на куличках. Сколько же жизненных проблем возникает, когда переезжает бабушка! И сын занят, и дочка не может, и перевозит бабушку внук. А у бабушки вещи, скатерки, стулья. «Бабушкин комод» (так и называется рассказ), да и каждая вещь— это сложившийся стереотип, хотя и старой, но самостоятельной и по-своему яркой жизни, это уклад, это память и напоминание. Бог ты мой, а комод так тяжел и, кажется, не пройдет в стандартные двери новостройки!..В общем, в этом рассказе для меня сконцентрировалось то у Яхонтова, ради чего я и согласился написать несколько слов о его прозе,— живое и трепетное чувство по отношению к поколениям уходящим, боль за них, за их молодость, за невозвратное, грусть молодости, предчувствующей в будущем свои проблемы, и, если хотите, горькое понимание быстротечности жизни.

Яхонтов пишет в основном молодого героя, интеллигента, горожанина. Пишет с точностью и упорством натуралиста-естествоиспытателя и этнографа его быт, привычки, предметы материальной культуры, окружающие его, песни, любимые словечки, сленг, моды, пишет своеобразную экологию молодого служивого интеллигента 70-х, но всегда рядом, в памяти ли, в настоящей ли жизни пишет Яхонтов возвышенные и прекрасные образы людей предыдущих. И здесь, в этой благородной настойчивости, не только традиция русской памятливой литературы, но и пристрастия самого автора. Спасибо ему.

Это свойство писателя вглядываться в мир сегодняшний, видеть мир вчерашний и замечательный мир будущего подметил и художник Андрей Сальников, оформивший «Ловцов троллейбусов». В книжке всего две иллюстрации, и одна из них примечательна. Малыш в ванной комнате перед зеркалом моет руки, а из зеркала на него глядит в такой же пестрой маечке уже взрослый и даже зрелый человек: тот же лоб, те же глаза. И вечно молодая на пороге ванной комнаты глядит на своего маленького и взрослого сына мать. Может быть, этот рисунок говорит больше, чем все пересказы мотивов прозы Яхонтова!

Как чудесны, индивидуальны и благоуханны эти дедушки и бабушки, отцы, матери, старшие сослуживцы! Сколько, оказывается, в них жертвенной любви и терпения! И как жаль, при всей удачливости здесь автора, что в современной городской прозе еще нет безвозвратно уходящих замечательных старух, носительниц городского благородства, интел-

лигентности и культуры, сравнимых по силе художественией убедительности, скажем, с деревенскими старухами Валентина Распутина. Горожанки, революционерки, интеллигентки, до самой смерти свято исполняющие свой жиэненный долг и жизненный подвиг честности и терпения. И вот здесь, колн уж зашла о дедушках и бабушках речь, порадуемся за детство и юность писателя — в прозе ведь все видно: славные окружали его старики.

Ну, а что же молодежь, что же думает, так сказать, поросль, молодое поколение? Разные они и, как и деды и отцы, ищут свободу, размышляют о жизни. Размышляют нестандартио, но размышления их — это размышления детей своего времени с его ориентированностью, как это обычно у русского интеллигента, на служение, на общественную пользу. «Тот, кто нашел свое дело,— несвободен. Свободен, как ветер, тот, кому все равно чем заниматься. Такой человек всегда в вынгрыше, потому что ему ничего не стоит сказать сегодня так, а завтра иначе. Построить и сломать. Видоизменить до иеузнаваемости. Человеку, которому все равно чем заниматься, не может быть плохо, он всегда устроится. Не тем, так этим».

На этой социально-оптимнстической ноте можно было бы и закончнть эти заметки о прозе последних лет Андрея Яхонтога, но всегда меня волновало: зачем пишутся кннги, в которых уже есть какой-то художественно отраженный в других произведениях искусства материал? И сам я этим грешил, но писал. Вот и Яхонтов, что ои, не читал повестей о детстве, повестей, где часто нужно проводить определенное хирургическое вмешательство. чтобы, как в свое время сиамских близнецов, разделить героя и прототипа, автора?! Да, да, знаю: лирический герой и автор — это разные людн, в школе и в универснтете это проходил. И все же... И о строителях писали, и о влюбившихся студеитах, и об их несчастной любви. О чем же не было написано? Да, другая оранжировка, иные слова, мыслн... Не сюжеты определяют литературу, а эти самые слова, мысли...

Вот в «Хищонке» — трое друзей, одного из ннх зовут Гамлет. Сидят, беседуют. Как-то разошлись у них пути и понятия о чести, о долге, о «можно» и «нельзя», о «моем» и «нашем», стали после студенчества, после их студенческой самодеятельности другими. «— Да, мы разные, и все-таки мы вместе,— говорил Федул.— Сидим вот, сумерничаем, беседуем... Никто из нас ничего в жизни не сделал. Не успел. Не сумел. Не дали. Где наши мечты? Страшно. Но надежда есть. Мы еще сыграем свою пьесу. Своего Гамлета. Как в студенчестве, а?

— Думаешь? — воодушевился Гамлет.

— Да, я верю в тебя. И в наш театр. Кто знает, какими ниточками сцена связана с жизнью? Вокруг говорят о дубленках — и со сцены о дубленках. На сцене задумываются о вечном — и в жизнн, глядишь, тоже. Мы думаем, это игра, а это серьезно».

У Андрея Яхонтова — это серьезно. О сегодняшнем, о прошлом, о вечном. Поэтому и интересно.

И вдогонку: комплиментарные рецензии вроде нынче писать не положено, хотя: а если это не комплимент, а наблюдения? Куда все же дальше двинется Андрей Яхонтов? Чуть многовато у него в прозе иронни, чуть великоват у прозы разбег, ужиматься надо, покороче, скорее к цели. Конечио, «...устроился на изящном металлическом стульчике. Сидел на нем, как тесто, которое через край кастрюли переваливается»,— действительно, пассаж изящный, но в обеих книгах сходных пассажей перебор. «Австралийский тушкан» — а ведь этот мех («тушкан») навеки из мехового магазина Ильфа и Петрова. Как говорят англичане «on!y». «Ловцов троллейбусов» — эту повесть я так до конца и не понял, слишком изящио, слишком много пузырьков и газу, как в теплом шампанском, серьезный Андрей Яхонтов других повестей мие нравится больше. Вот и теперь прочел в газете, что вышла у Яхонтова повесть «Предвестие» о революции 1905 года, о студенчестве. Прочту. Интерес и любовь к писателю начинаются с доверия.

Сергей ЕСИН

О драме и комедиях Николая Эрдмана

•

Нинолай Эрдман. Мандат. Три акта. «Театр», 1967, № 10; **Самоубийца.** Комедия в четырех действиях. «Современная драматургия», 1987, № 2.

•

«Я считаю, что основная линия русской драматургии — Гоголь, Сухово-Кобылин — найдет свое блестящее продолжение в творчестве Николая Эрдмана, который стоит на прочном и верном пути в деле создания советской комедии»,— так в 1925 году утверждал Мейерхольд в ответе иа анкету «Вечерней Москвы». Столь высокая оценка объясняется не только заинтересованностью режиссера в «рекламе» своей постановки (комедия Эрдмана «Мандат», о которой идет речь, была с оглушительным успехом поставлена нменно в ГосТиМе, а главная роль Гулячкина стала первой большой работой замечательного актера Э. Гарнна), Николай Робертович

Эрдман (1902—1970) действительно является классиком советской комедии, и если это удивляет современного читателя, то только потому, что, так сказать, по не зависящим от драматурга обстоятельствам он в 30-е годы сошел с «прочного и верного пути» глубокой социально-психологической (с прямыми выходами в политику) сатиры. Эрдман пережил «неслыханную», по выражению Л. Рудневой, травлю, ссылку в Енисейск. На этом фоне Государственная премия за сценарий фильма «Смелые люди» (1950) служит жалким утешением — *утраты зияют*.

Рецензенты хвалили «Мандат» как превосходную бытовую комедию, что не вполне верно; «Самоубийца» же, вещь вовсе не бытовая, открыто тяготеет к широким социальным обобщениям. Сюжетный узел «Самоубийцы», как мне представляется, возник (со стороны драматурга, может быть, невольно) из той сцены романа Достоевского «Бесы», когда Петруша Верховенский обращается к Кириллову, готовому покончить с собой: вам, дескать, все равно умирать, так уж, будьте любезны, напишите бумажку, что это вы Шатова убили... Трагедийная ситуация повторяется как фарс: к новейшему самоубийце «из-за ливерной колбасы» Подсекальникову стекаются просители: дескать, вы все равно стреляетесь, так, будьте любезны, иапишите бумажку, что вы стреляетесь из-за... Чего? А кому что нужно: из-за «ее» тела, из-за униженной ннтеллигенцни, из-за положения церкви... Подсекальникова соблазияют: вы станете героем, лозунгом, символом (сами соблазнители этой перспективой не соблазняются); но все заканчивается скандалом — Подсекальников расхотел умирать: он по-иастоящему никогда умирать и не хотел — «ни за вас, ни за них, ни за класс, ни за человечество, ни за Марию Лукьяновну». Он не хочет быть «героем»: «Разве такие, как я, делают что-нибудь против вашего... нашего строя? С первого дня революции мы ничего не делаем! Мы только ходим друг к другу в гостн и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим. что нам трудно жить. Ради бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию, разрешите нам говорить, что нам трудно жить! Ну, хотя бы вот так вот, шепотом: «Нам трудно жить!» Товарищи! Вы за стройкою даже не услышите. Уверяю вас. Я всю свою жизнь шепотом проживу. (...) В чем мое преступление? Только в том, что я живу? Я живу и другкм не мешаю, товарищи. Ннкому я на свете вреда не принес...» Легче легкого посчитать этот проникновенный монолог за обывательское брюзжанне по поводу «временных» трудностей советского строительства; тем более что монолог прерывается вестью о самоубийстве некоего Феди Пнтунина, который всерьез принял авантюрное «начинание» Подсекальникова,— такой фииал пьесы как бы дезавуирует слова, что он «никому на свете вреда не принес». Но жить-то действительно *трудно*. Это чистая правда. Вспомним, что, хотя время действия точно не обозначено, пьеса была закончена после «великого перелома» — в 1930-м; в тот год застрелнлся Маяковский, в тот год Булгаков пишет свое отчаянное пнсьмо правительству, а уж этих двух никак не причислишь к брюзжащим обывателям. И просьба человека (уж каким бы он ни был) оставить ему одну возможность — шепотом говорить, что ему трудно жить,— звучит совсем не комически. На «пороге новых дней» в комедии Эрдмаиа *сказалось* гораздо больше, чем он, вероятно, собирался сказать.

Драматург, конечно, полностью принадлежал своему времени; ему не видио, что там, впереди, за перевалом (точнее, за «переломом»). Вот характерный пример. Подсекальников пребывает в трансе от неожиданно открывшейся ему «последней» предсмертной свободы: «...Что бы сделать такое со своей сумасшедшей властью, товарищи! Что бы сделать такое... для всего человечества?.. (...) Я сейчас, дорогие товарищи, в Кремль позвоню. Прямо в Кремль. Позвоню... И кого-нибудь там... изругаю. Что вы скажете? А? (Идет к автомату.) (...) Цыц! (Снимает трубку.) Все молчат, когда *колосс разговаривает с колоссом* (разрядка моя.— **А. В.**). Давайте Кремль. Вы не бойтесь, не бойтесь, давайте, барышня. Кремль? Говорнт Подсекальников Под-се-каль-ни-ков. Индивндуум. Ин-ди-ви-дуум. Позовите кого-иибудь. Все равно, позовите кого-нибудь *самого главиого* (разрядка моя.— **А. В.**). Нет у вас? Ну, тогда передайте ему от меня, что я Маркса прочел и мне Маркс не понравился. Цыц! Не перебивайте меня. Боже мой. (Остолбенел, выронил трубку.) (...) Трубку повесили. Испугались. Меня испугались. Вы чувствуете, постигаете ситуацию?» Да, мы-то чувствуем: с *этим* в 30-м году еще пытались шутить; неужели еще можно было надеяться, что *это* «пройдет»?

«Тяжко и нудно среди непуганых идиотов»,— вздохнет Илья Ильф в середине 30-х годов (конечно же, *шепотом* — см. его знаменнтые ныне «Записные кннжки»); в обеих пьесах Эрдмана «ндиоты» как раз пуганые. Сюжетные ходы кажутся невероятнымн, чрезмерно уж гротесковымн, пока не поймем: персонажн обезумели от страха (собственно, «идиоты» и есть бывшие люди, напуганные до «идиотизма»). Онн принимают мнимость за реальность, а реальность за мнимость, обманываясь по той же причнне, что и гоголевские чиновники в «Ревнзоре» (кстати, подобно гоголевскому мнимому ревизору, у Эрдмана Гулячкин — мнимый партиец, а Подсекальников — мнимый самоубийца). Один из персонажей вылезает из сундука и говорит: соблюдайте спокойствие, товарищи, ие расходитесь, сейчас вас вешать будут. Все в ужасе — верят. По-

тому что человеческая жизнь обесценена донельзя (еще с 14-го года, не говоря уже о гражданской войне, белом и красном терроре...). Но страшное не только позади, но и впереди. Жалкие, растерянные, суетливые люди мечутся между грозным прошлым и грозным надвигающимся будущим (этим комедии Эрдмана резко отличаются от пьес Маяковского, в которых на «мещанский» мирок грозно наступает... «светлое будущее»). Что надвигается — неизвестно. Ах, уцелеть, уцелеть бы!.. (Нечто похожее в булгаковской «Зойкиной квартире», тот же мотив — бежать, бежать; торопливый пир, а за сценой — шаги незримого «ревизора».) Бывает, что персонажи оказываются прозорливее своего создателя (если только Эрдман и в самом деле находил их маету смешной).

А мы? Как нам относиться к персонажам Эрдмана? Ненавидеть их не за что. Презирать? Ох, не будем так высокомерны... Пожалеть? Не приучены мы таких жалеть, а зря... Скажут: это все гримасы нэпа, пена, мелкобуржуазная стихия. Но мы и нэп-то сегодня понимаем иначе; по иронии судьбы мы комедии Эрдмана читаем одновременно со статьями Николая Шмелева и Анатолия Стреляного (а в «Самоубийце» как раз косвенно, в неожиданном, своеобразном ракурсе отразилась насильственная смерть новой экономической политики). Как должны мы по замыслу драматурга относиться к торговцу мясом: «Уважаемые, до чего я люблю красоту, даже страшно становится. Свиной окорок — красиво! Баранья нога — красотища!..» Смешно? Но сегодняшний зритель сглотнет слюнку и внутренне согласится, что баранья нога — красотища. «Не могу торговать я в такую эпоху. Сил моих нету. Я уж клялся, божился и фактуры показывал. Нет мне веры, товарищи. За кусок мяса съесть готовы! Вот народ и стреляется (речь все о том же «самоубийце». — **А. В.**)...» А ведь и вправду не может он торговать в такую эпоху. И уже не сможет. Кто такой частный торговец мясом в 30-м году? Никто. Его уже нет. Не будет больше торговцев. Зато через несколько лет будет страшный голод. Эрдман об этом не знает, его персонаж не знает, а мы знаем. И не смешно. А это:

«Входит Иван Иванович, садится на стул и рыдает.

Олимп Валерьянович. Что? Что?

Иван Иванович. Отказываются.

Олимп Валерьянович. Арестовывать вас отказываются.

Павел Сергеевич. Мамаша, если нас даже арестовывать не хотят, то чем же нам жить, мамаша? Чем же нам жить?»

Это — финал «Мандата». Не знаю, смеялись ли на этом месте зрители 25-го года (есть свидетельства, что на премьере смех в зале раздавался более 350 раз), а у меня смех комком застревает в горле, потому что мы знаем, как еще будут арестовывать. Да, что-то навсегда сломалось в нашем восприятии эрдмановских комедий.

Парадоксальна судьба «Самоубийцы». Два лучших театра того времени — Художественный и ГосТиМ — ждали пьесу. Увы, напрасно. Как пишет А. Свободин, на генеральную репетицию к Мейерхольду приехала комиссия во главе с Л. Кагановичем, пьеса была запрещена. И вот сегодня комедия Эрдмана сразу входит в ранг классики советской драматургии, минуя необходимую стадию «текущей литературы». Хорошо? Думаю, что все должно идти своим естественным чередом. Посмотрим на дело трезво: обе пьесы не для нас написаны, не к нам обращены. Судьба булгаковского романа, органично вошедшего в литературный процесс конца 60-х годов, уникальна; тут случай закрыл проблему — и на это справедливо обращает внимание Ю. Буртин («Октябрь», 1987, № 8). Да, рукописи не горят, но «правда этих слов превращается в кощунственную неправду, стоит лишь придать той же максиме этакую примирительную, умиротворенную интонацию (какой никогда не придаст ей сам художник): ну что ж, дескать, ничего страшного, не напечатали вчера — напечатают сегодня или завтра...» Обе пьесы Эрдмана написаны для людей 20-х годов — им они были нужны. А нужны ли они нам? Вопрос не такой уж странный. Мы поставим их на сцене, напечатаем (уже напечатали), включим их в учебные курсы, монографии — словом, в полной мере отдадим им должное. Но чего, увы, не будет? Не будет ощущения ожога, социально-психологического открытия, радости узнавания. Никто и никогда уже не будет смотреть их так, как смотрели бы их современники (в большинстве своем сгинувшие на исторических поворотах). Звездный час эрдмановских комедий пропущен. В этом — несомненная драма их автора. Кто за это ответит? Что за праздный вопрос: да, конечно же, никто. Не помню точно, кому принадлежит мысль: никогда не надо говорить, что справедливость восстановлена, в самом лучшем случае восстанавливается истина, а справедливость вовсе не восстановима, ибо время необратимо. Убитых можно реабилитировать, но не оживить; заключенным и ссыльным можно вернуть свободу, оклеветанным — доброе имя, но невозможно вернуть людям украденные годы их единственной, необратимой жизни; можно задним числом публично признать ошибки прежнего руководства, но никто уже не вернет стране десятилетия, пропавшие для экономической реформы... А истина, она восстанавливается. Только вот радости нет.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ

«ПОИСК ИСТИНЫ» НАЗВАЛ А. РОДОССКИЙ СВОИ ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ в «Молодом литераторе», приложении к газете «Тихоокеанский комсомолец» за 12 декабря 1987 г. (г. Владивосток), но чего здесь нет, так это как раз истины и поиска. Обратившись к такому благодатному материалу, как «По праву памяти» Твардовского, «Особое назначение» Бека, «Зубр» Гранина, «Дети Арбата» Рыбакова, «Белые одежды» Дудинцева, А. Родосский отнюдь не намерен как-то обогатить наше представление о замалчиваемых или искаженных страницах недавнего прошлого, поразмыслить вместе с авторами этих произведений над тем, что же с нами было, что с нами происходит (как это сделали критики Л. Аннинский, А. Бочаров, Ю. Буртин, Г. Гачев, В. Каверин, О. Лацис), он, по сути, возвращает нас к прежним стереотипам сталинского «Краткого курса», стереотипам, с которыми на основании документов, свидетельств эпохи как раз и полемизируют эти писатели. Приговаривая: факты-де — упрямая вещь,— Родосский безжалостно искажает эти самые факты. Вот несколько образчиков его критики. О романе А. Рыбакова «Дети Арбата» (действие которого, кстати, начинается с 1933, а не с 1928 года, как пишет А. Родосский):

«Предположение о причастности Сталина к убийству Кирова, которого придерживается А. Рыбаков, впервые было высказано на XXII съезде КПСС. Нам, во всяком случае, кажется более правдоподобной официальная версия, согласно которой убийство С. М. Кирова было инспирировано Зиновьевым и прочими оппозиционерами из мести за то, что Киров... разгромил так называемую «рабочую оппозицию», окопавшуюся в Ленинграде».

Во-первых, Киров боролся не с «рабочей», а с «новой» оппозицией. Разница между ними известна каждому студенту. Во-вторых, не знаю, почему Родосскому более правдоподобной представляется «официальная версия», но только «официальной» она после XXII съезда КПСС никак не является: ни в одной книге, ни в одном учебнике убийство С. М. Кирова не связывается с именем Зиновьева. Так что на сегодняшний день это личная версия Родосского.

В романах «Зубр» Гранина и «Белые одежды» Дудинцева (который Родосский называет повестью; видимо, не читал, иначе подобная ошибка была бы невозможна) нашего рецензента очень обеспокоил напрашивающийся из прочитанного вывод: «вмешательство Сталина в науку оказалось пагубным и для науки, и для всего общества». Родосский с этим решительно не согласен! И в укор писателям ставит то, что ни один из них не отразил такого события в нашей научной жизни, как идейный разгром «нового учения о языке» академика Марра, «этого Лысенко от филологии». «Вряд ли кто-нибудь осмелится отрицать,— пишет наш автор,— что важную роль в преодолении «марровщины» сыграла книга И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».

Печальная участь генетики, кибернетики, общественных наук, ракетостроения и т. д. и т. п. в сталинское время, трагические судьбы ученых с мировым именем — Н. Вавилова, А. Чижевского, П. Флоренского, А. Лосева, М. Бахтина (горестный список можно продолжить) — Родосского не убеждают. Оставим это на его совести. Обратимся к Н. Я. Марру. Действительно, жаль, что пока нет книги о нем. Тогда А. Родосский не называл бы известного лингвиста «Лысенко от филологии», не умилялся бы вмешательству Сталина в малознакомую ему область науки (что породило новые ошибки в языкознании — сталинские, которые выдавались за откровения) и, может быть, понял порочность тех методов научного спора, когда неодобрение вождя исключало всякую возможность дальнейших исследований даже в смежных с раскритикованными областях науки. Так, после дискуссии о языке надолго была прекращена работа над такими проблемами, как язык и мышление, социолингвистика, типология языков.

Грустно читать сегодня под видом литературной критики такие «заметки», да еще адресованные молодежи.

Н. ЛОШКАРЕВА

«ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ПТИЦЕЙ» ЮРИЯ КУРАНОВА — ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН, первая часть которого опубликована в десятом номере «Октября» за прошлый год. Понимаю, это публицистика, но читаешь ее и в самом деле как хороший роман,— вообще сейчас боевую публицистику многие предпочитают иным прекраснодушным романам. Видели бы вы, как читаются статьи Стреляного, Черниченко, Шмелева!.. И вот Куранов. Вещь еще будет продолжаться (хотя то, что уже напечатано, взывает к серьезной и требовательной мысли),— коснусь в своем письме всего лишь одного, казалось бы, частного момента из «Путешествия за птицей». Прочла насчет «того унизительного, бросающегося в глаза и режущего их порою до слез отличия, которое вы встречаете, переезжая из Ленинградской области в Новгородскую или Псковскую или въезжая в те же земли из любой прибалтийской республики. Руководители этих приграничных с Прибалтикой областей очень болезненно воспринимают сравнение их дорог да и всего быта с тем, что мы видим в Литве либо в Эстонии...». Прочла, и встало перед глазами наше автомобильное путешествие прошедшего года, совсем «свежее»! Эти непролазно грязные дороги Псковщины, повалившиеся заборы, безысходное чувство заброшенности. И дальше — великолепные дороги Литвы, гостеприимный «общепит», в Тракае в вечерний час хозяева **мыли** чистенький асфальт перед домом!.. А еще дальше — опять наши российские нравы, дорога на Калининград. Одна фраза вертелась в голове: как будто Мамай прошел!.. Какие-то темные бараки, из автобуса, идущего впереди, вдруг вылетает пустая бутылка... вторая, третья... Семь бутылок кто-то выбросил на асфальт, под колеса движущемуся транспорту... И сам Калининград, городской музей, центр культуры. Вместо вывески — какая-то фанерка, прислоненная к стене, рядом что-то рыли — засыпать забыли. Стыдно и горько. Как вы можете, отцы города, так относиться к земле, где каждый метр полит кровью наших солдат? Кто знает, может, и до отцов наших городов дойдет то, что написано на этот счет Юрием Курановым...

И. ИВАНОВА,
преподаватель истории и литературы

Истринский район,
Московская область.

Адрес редакции: 125872, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Сдано в набор 27.01.88. Подписано к печати 02.03.88. А 01380. Формат 70×108[1]/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 250 000 экз. Заказ № 1942.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.